Пол Уиткавер

ВСЛЕД КУВЫРКОМ

«Иногда реальность Игры превосходит реальность повседневности...»

АЛЬТЕРНАТИВА ФАНТАСТИКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Два уровня восприятия… Две линии сюжета…

Два мира, в которых действуют близнецы Джек и Джилл. Первый — виртуальный мир Игры, в котором идет бесконечная война между обычными людьми и их извечными противниками — мутантами, способными управлять стихиями и виртуальным пространством.

Второй — реальный мир, в котором Джек и Джилл проводят лето в странном доме со своим дядей — создателем игры… Эти два мира не могут пересекаться. Игра есть игра, а реальность есть реальность. Но иногда случается невозможное. И тогда Игра и реальность переплетаются. И реальность Игры превосходит реальность повседневности…

- Пол Уиткавер
  - Джек и Джил
  - В гору бегом
  - Падение
  - Совсем пропал
  - Вслед кувырком
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Пол Уиткавер
Вслед кувырком

Джек и Джил, не жалея сил,
В гору неслись бегом.
Джек упал и совсем пропал,
А Джилли — вслед кувырком.

Джек и Джил

Я поймал ее! — думает он. *Я ее вправду поймал!*

Под ним вздувается волна, и Джек смотрит на исхлестанный ветром пустынный берег (где стоит его сестра Джилли размером с куколку), и отдается на волю той смеси восторга и ужаса, из-за которой нельзя устоять от искушения покачаться в прибое. С его губ срывается первобытный крик океана: бессмысленный, свирепый, гордый. Джека возносит вверх, ему видны гребни дюн, дома за ними — и даже его дом, где муравьями возятся отец — Билл, старшая сестра Эллен и дядя Джимми, прилаживая к веранде щиты. И кажется, ничего нет проще, чем вот так взять и полететь к ним по воздуху, взмыть в стаю чаек, виляя среди кинжальных порывов ветра, несущихся перед Белль, словно дозорные перед наступающей армией.

Эй, глядите, что там, в небе? Это птица — нет, это самолет — нет, это Супер-Джек!

Мечется океан. И вот — Джек падает. И прибой где-то в миле внизу. Джек вскрикивает, отчаянно пытаясь выправиться — или выправить мир, и успевает поймать взглядом Джилли. Она стоит по пояс в прибое, крепко прижав руки к бокам, и глядит на Джека с восторгом и ужасом, и рот у нее раскрыт, будто она кричит что-то во все горло. Но он не слышит. А потом и видеть ее перестает, потому что волна позади закручивается и бьет в спину, и нет времени замечать боль от ударов о дно, когда волна несет его к берегу, вертя, словно палку. Его мотает, как кроссовок в стиральной машине, снова и снова колотит о дно, и тело уже немеет, и чувство направления исчезает полностью. Грудь сжигает жажда воздуха. И рев, рев со всех сторон окружает его.

Он борется с течением, но набегающий прибой плавно передает его отступающей волне, и его тянет обратно — или все-таки туда, он уже не понимает. В конце концов Джек отдается на волю стихии, решив экономить силы. И как он сейчас жалеет, что они с Джилли пришли к морю посмотреть на штормовой прибой, а еще больше жалеет, что поддался на подначку — проехаться на огромной волне. «Иди, а не то…» — дразнилась она.

Когда он уже поумнеет? Почему ей каждый раз удается его на что-то такое подбить? Билл его убьет… если океан этого не сделает раньше. Джек все на свете отдал бы, чтоб только вернуться в ту секунду — теперь он не стал бы срывать с себя рубашку и бросаться в воду с головой. Это была совсем другая жизнь, сотни лет назад.

Вспыхивают и гаснут световые пятна перед внутренним

зрением, освещая какие-то предметы, которых Джек видеть не хочет, — огромные, неподвижные, и они тоже его как-то замечают, словно вспышки, при которых они становятся видны, освещают и его, выхватывают, как мерцающее привидение, переносят через невидимый порог в сферу их восприятия. Он чувствует ленивое шевеление в глубинах, ему мерещится чешуйчатая лапа или щупальце, оно тянется к нему, как он бы тянулся прихлопнуть муху. И Джек отбивается вслепую.

Течение уходит, будто игра ему надоела. Собрав остаток сил, Джек бьет руками и ногами, стремясь — как он надеется — к поверхности.

И вот снова воздух, которым можно дышать… если это называется дышать. Отплевываясь, полуослепленный пеной и брызгами, он барахтается, взбивая ногами воду, хлопая руками. Осколки свинцового неба летят перед глазами, но нигде не видно берега, даже намека нет на то, где море переходит в сушу. Наверное, его унесло на много миль. Он вытягивает ноги, но дна не нащупывает, и когда поворачивается, поджидающая волна лупит прямо в лицо. Он хочет дать сдачи, взрывается злостью, эта злость нарастает, как волна, которую он поймал — или она его поймала, — и рушится, как та же волна. Она выплескивается из него, и пустую оболочку швыряет теперь, словно пробку. Только и удается, что держать голову над водой.

Оглушенный, наполовину утонувший, Джек вдруг ловит себя на воспоминании о лице Джилли, о неприкрытой жадности, с которой она, запустив эту череду событий, ловила взглядом их ход; ненасытимые глаза впивали все, будто сгорая от жажды, и эта память, а не то положение, в котором он оказался, распахивает шире обычного ворота, шлюзы страха — самого глубокого, тайного, самого страшного страха. Не страха смерти — страха потерять ее.

Но этого не может быть. Он не допустит!

Джек открывает рот — позвать Джилли, и туда влетает вода. Он проглатывает ее, как камень. Океан мощным презрительным шлепком хлопает его по голове, закрывая небо. И Джек, утопая в этих глубинах, где нет его сестры, чувствует, как разваливается на части, и эти кусочки Джека Дуна прыскают во все стороны, словно мальки, спасающиеся от хищной тьмы.

* * *

Чеглок просыпается со стоном. Он лежит неподвижно на скомканных простынях, и мысли его полощутся илистой водой. В

комнате — вонь прокисшего пива и въевшийся запах сигарет. Тусклый свет, пробивающийся сквозь шторы, выделяет тенеподобный мрак, волной нависший перед красными полуоткрытыми глазами. Он с отстраненным интересом наблюдает, как выступают из этой массы пивные бутылки, окурки, огрызки пиццы, рассыпанные перья и грязная одежда, но все это никак не связывается с событиями вчерашнего вечера. Изо всех сил он старается игнорировать повелительный призыв помочиться. Болят все мышцы и все кости. И зубы болят. Даже ресницы — и те болят. Может, стало бы лучше, если пролежать так неподвижно лет хотя бы тысячу?

— Дербник? — хрипит он. — Кобчик?

Ответа нет. Друзья все еще спят, лентяи никчемные. А ему жжение в пузыре не даст вернуться в это завидное состояние.

Застонав еще раз, громче и с большей жалостью к себе — не просто выражая страдание, а декларируя его, — Чеглок скатывается на пол. Полет на несколько дюймов: в какой-то момент и по какой-то причине (когда и почему — уже забыто) он или кто-то другой стащил тощий матрац с кровати. А это, соображает Чеглок, объясняет, почему так странно смотрятся пивные бутылки. И все же, когда он поднимается на ноги и бросается в туалет, его сопровождает какая-то назойливая недомысль, будто чего-то он забыл. Он проводит рукой по люмену в туалете, тут же его отключает — все чувства вопят от возмущения после светового удара, — и выполняет свое дело в темноте. И только вывалившись обратно в комнату, Чеглок замечает, что остальные кровати пусты.

Он тут же застывает, переваривая следствия из этого открытия. Сообразив, бросается к окну и отдергивает шторы, отшатнувшись от солнечного света и вспугнутых голубей на подоконнике. С ужасом щурится на ослепительный день. Двумя этажами ниже кишит экипажами и пешеходами Бейбери-стрит. Ощущение такое, будто его подхватил опасный нисходящий поток, мощный порыв — нет, обрыв — ветра.

Бормоча ругательства, он оборачивается к комнате и видит на одной из кроватей записку. Он вихрем переносится к ней и читает каракули Дербника: «Чег! Мы пытались тебя разбудить. Приходи к Вратам, там увидимся!»

Скомкав бумажку, Чеглок роняет ее на пол. «Разбудить пытались! Шанс вас побери, не очень-то напряглись! Неужто трудно разбудить одного спящего?» Но если подумать, что-то такое вспоминается, какие-то обрывки сна, как его пинали, матрас стягивали на пол, а он грозился сделать с ними что-то ужасное, если не отстанут… но это не важно. Важно то, что

лучшие друзья его предали. Ходики на стене показывают двадцать минут одиннадцатого: назначения пентад почти наверняка уже произведены.

Но, может, еще не поздно. Может, случилась задержка, и он успеет поймать самый конец церемонии. Едва задержавшись возле зеркала в ванной — поправить перышки, облизывая руки и приглаживая мокрыми пальцами самые встрепанные, чтобы не казалось, будто он только что пролетел сквозь ураган, — Чеглок наспех надевает чистую одежду, пристегивает к поясу сумку с игральными костями, закидывает на плечо полупустой мех для воды и быстро-быстро сбегает в прихожую «Голубятни»… где сталкивается с тем, чье имя носит гостиница: с похожим на мертвеца, более-чем-среднего-возраста эйром, обладателем покрытого рубцами высохшего крыла, которое цветная одежда не может ни вылечить, ни скрыть.

— Долго изволили спать сегодня, юный Чеглок?

Ничего приятного в его сдержанной улыбке, как и в блеске инея серых глаз под кустистыми оловянными бровями. Когда он говорит, сочные красные перья гребня раскрываются веером — корона языков пламени в лучах яркого солнца, бьющего в окна фасада.

Чеглок краснеет, внезапно вспомнив, как издевался над Голубем и швырялся корками от пиццы, когда он в третий раз пришел к ним в номер с жалобой на шум. Это уже когда общий зал закрылся, и они перешли наверх.

— Я… гм… вчера вечером… — начинает он. — Я здорово паршиво себя чувствую…

— И выглядите соответственно, — удовлетворенно хмыкает Голубь, развертывая жесткий гребень полностью. Остроконечные уши насторожились, приподнятые тонкой серебряной цепочкой, спадающей с головы на обе стороны к ряду колечек и шипов в ушных раковинах. Такая тщательная система украшений, напоминающая оснастку парусных судов или подъемных мостов, считалась модной у эйров поколения Голубя, но Чеглок и его друзья избегают столь кричащей декоративности. У него самого единственная драгоценность — тонкая цепочка из трех сплетенных прядей: две золотые, одна серебряная, — и эта цепочка, обернутая вокруг левого уха, болтается на дюйм ниже мочки. У него есть привычка указательным пальцем теребить свободный конец, когда он нервничает — как вот сейчас.

— Я прошу прощения за шум, ну, и… вообще, — храбро прет он вперед, все же понизив голос так, чтобы клерк у конторки (шахт в темных очках, стоящий неподвижно возле груды камней, на которую он очень похож) не подслушал этих унизительных

извинений. И еще потому, что не может сегодня слышать громкие голоса, в том числе и свой. По десятибалльной шкале похмелья у него сегодня одиннадцать.

— Значит, какие-то манеры у вас все-таки есть.

Голова Голубя покачивается вверх-вниз, как у одноименных птиц, которых Чеглок никогда не встречал раньше в таких количествах, как здесь, в Мутатис-Мутандис, расхаживающих по мостовым столицы Содружества, будто она им принадлежит. Небольшая популяция голубей далекого Вафтинга, его родного гнездилища, держится тише воды ниже травы из-за множества хищных видов, что живут в Фезерстонских горах.

— Чего о ваших облезлых дружках никак не могу сказать, — продолжает ворчливо хозяин гостиницы. — Вывалились сегодня утром отсюда, даже не пискнули. Вчера ночью я был на перышко от того, чтобы вышвырнуть вас на улицу. И еще не совсем передумал.

Изо всех сил стремясь оказаться где-нибудь подальше, Чеглок все же испытывает стыд за свое поведение и не хочет еще больше позориться, спеша прочь. Ходили слухи, что сухое крыло Голубя — последствие его паломничества, но, как бы то ни было, а увечье мешает ему летать. Да, он может призвать достаточно ветра, чтобы его подняло в воздух, но это же не значит по-настоящему *летать*. Для эйра по крайней мере — ни точности, ни изящества. Честно говоря, Чеглок с приятелями так с ним злобно обращались, поскольку это увечье возбуждало в них не жалость, а страх — темный страх, что с ними случится то же самое. Но это не оправдание. Чеглок благодарит Шанс, что его родители остановились у приятелей-тельпов в другой части города. Отец его, Сапсан, предостерегал его в долгом полете из Вафтинга не забывать, что он представляет на Испытании родное гнездовье и должен держать себя соответственно. Почему-то Чеглок уверен, что швыряться крошками пиццы в увечного хозяина гостиницы, при этом распевая во всю глотку похабные лимерики, — не то, что имел в виду отец.

— Мы благодарны вам, что вы этого не сделали, — говорит он. — И мы заплатим за ущерб и за беспокойство.

Улыбка Голубя становится чуть теплее, гребень на голове опадает, становится менее воинственным.

— Как ни трудно теперь себе это представить, я тоже когда-то был молодым. Сам устроил не слабый тарарам вечером после Испытания. У меня три попытки ушло — ну, да и задания были потруднее в наше время, спросите кого угодно. Так что у меня уж был повод праздновать. — Он присвистывает, смеясь, и цепочки поблескивают среди перьев, а на той стороне вестибюля шахт за

конторкой поворачивается к ним лицом, грубым и непроницаемым, как гранит. — Нет, я не против шума или веселья, — говорит Голубь. — Я с грубостью не могу мириться. Как бы там ни было, мастер Чеглок, но мы же эйры?

— Да, сэр.

Чеглок сглатывает слюну, гадая тем временем, крашеные у Голубя перья, или это у них такой натуральный «вырвиглаз» оттенок красного. Похмелье вступило с органами чувств в садистский сговор: шумы с Бейбери-стрит, бессчетное количество синяков, оставленных на теле и на крыльях Испытанием, все мышцы ноют, плюс запахи общего зала — жареная колбаса, яйца, лук, смешивающиеся с дымом табака или марихуаны, — все это становится совершенно уже невыносимым. Он ощущает каждое перо на своем теле, и каждое перо болит по-своему неповторимо.

— Я ожидал бы такого поведения, от… гм… *низших рас,* — продолжает Голубь, понизив голос на одно деление и бросая взгляд на Чеглока, произнося этот эвфемизм для прикованных к земле братских рас, — но мы, эйры, должны быть выше подобного. Вы же знаете, на нас смотрят. С нас берут пример.

— Да, сэр, — повторяет Чеглок, у которого нетерпение и дискомфорт перевесили чувство вины и вот-вот перевесят вежливость. Как будто он снова слушает бесконечные нотации Сапсана. — Это больше не повторится.

Тем временем в гостиницу входит тройка темнокожих салмандеров: две женщины и мужчина. Воздух дрожит, нагреваясь от их едва прикрытых тел, и кажутся они какими-то нереальными, как ходячие миражи.

— Минутку, господа! — радушно объявляет Голубь, жестом показывая клерку, чтобы оставался на месте, хотя шахт никаких намерений уйти не проявлял.

Салмандеры с вежливыми кивками входят в общий зал рядом с вестибюлем.

Голубь с театральным вздохом надувает впалые щеки.

— Ну, вы меня извините — долг зовет. Как ни хороши они для нашего дела — никто не пьет так, как салмандер, — я всегда боюсь, что они спалят дом, а служанка моя, благослови ее Шанс, создание пугливое, так с ними нервничает, что пролитое мне в целое состояние обходится. Позавтракать желаете, мастер Чеглок?

При мысли о еде Чеглок вздрагивает, и желудок скручивается винтом.

— К сожалению, я уже опаздываю.

— Тогда желаю вам удачи. Да будет ваша пентада столь же верна и храбра, а ваше паломничество столь же прибыльно, как

было у меня.

Улыбка у Чеглока примерзает к лицу при мысли, что благословение Голубя может на самом деле оказаться проклятием: в отместку за корки пиццы и жестокие насмешки Чеглоку пожелали насладиться прибылью увечья.

Но хозяин уже повернулся и спешит прочь.

* * *

— Джек? Да очнись же ты, черт побери! Ты мне что устраиваешь?

Сколько времени он уже слышит этот голос? Еще когда он не мог разобрать слов или вспомнить, что это за штука такая — слова, голос уже был, заметная нить, вплетающаяся в сознание, целеустремленно прошивающая себе путь в мешанине других безымянных звуков, то она есть, то ее нет, но всегда она возвращается. И в этом уходе и возвращении какой-то порядок — сначала ощущаешь, потом воспринимаешь, потом предугадываешь, и наконец, всплывают шипение песка под ветром, рокот прибоя, сварливые крики чаек, и все это пронизывает и держит вместе тревожный, настойчивый голос Джилли.

— Джек, смотри у меня…

А он лежит тихо. Он будто достиг конца долгого пути, сожравшего мили и годы, истощившего силы и память. Но он вернулся. Он дома.

— Притворяешься, я же вижу!

Его берут за плечи и трясут, затылок соскальзывает с чего-то мягкого — Джек не замечал этой мягкости под головой, пока не стукнулся обо что-то твердое, но проседающее: песок. Глаза открываются неуверенно, скорее от удара, чем от ощущения, обремененные каким-то дежа-вю падения кувырком с большой высоты.

— Я так и знала! — кричит размытое изображение сестры, с торжеством победы и облегчением.

А потом она обхватывает его руками, осыпает поцелуями — бабочки мгновение пляшут по коже и снова улетают.

Моргая и глядя мимо нее в небо, откуда будто исчезло солнце, чувствуя, как наворачиваются на глаза слезы, вопреки преждевременной темноте под тучами — серыми и зловещими, как осиное гнездо, Джек вдруг вспоминает все сразу: как вздувается и рассыпается гребень волны, как он сам летит головой вперед, пробивается на поверхность и тут же тонет, будто

его тянет невидимая рука.

Резко повернув голову, он блюет на песок.

— Эй, осторожней! О Боже!

Он чувствует, как его отталкивают. В нем взметнулось возмущение, но проходит еще мгновение, пока он может подняться на локте и глянуть на нее негодующим взглядом: тощая девчонка с прямыми черными волосами, заброшенными ветром вперед, словно крылья вокруг узкого лица, бронзовая от солнца кожа блестит на фоне неба, непрозрачного, как дверь душевой.

— Как ты там?

Джилли, одетая в джинсовые шорты и промокшую футболку с надписью I♥NY (подарок надень рождения от дяди Джимми), стоит перед ним в песке на коленях. Она смотрит на него настороженно, держась чуть на расстоянии, будто опасаясь, что он снова начнет рыгать. Глаза у нее — морской синевы анютины глазки, а в середине — темные, размытые сердечки. У Джека синева глаз не столь интенсивна — скорее небо, чем море: выцветшая под солнцем синева августовского дня в Мидлсекс-бич, штат Делавэр; такого дня, когда ни единое дуновение не шевелит застоявшийся воздух и время бессильно поникло, словно белье, прищепленное к провисшим веревкам. Не такого дня, как сейчас.

Все тело у Джека слилось в большой пульсирующий ушиб. Он сплевывает кислое послевкусие рвоты и вытирает рот тыльной стороной ладони, размазывая по губам зернистый песок. И снова сплевывает, ворча:

— Ага, а то ты переживала, да. Чистое везение, что я не потонул.

— Ага, везение! А кто тебя вытащил, а? Супермен, что ли?

— Ты меня вытащила?

— Кто-то должен был. Ты бы мне лучше спасибо сказал.

— Если бы не ты, я бы вообще туда не полез. Ты меня подначила.

— Ты первый начал, я только ответила.

Джек садится на песке, чуть дернувшись от боли, обнимает собственные колени. Он дрожит на ветру, который несет не только холод, морось и брызги пены, но еще и песчинки, жалящие, словно стрелы. Она правду говорит? Он первый начал? Что-то он не помнит, чтобы ее подначивал.

— Все равно, — упрямо твердит он. — Ты должна была меня не пустить. Должна была знать.

В семейных анналах Дунов хранились случаи, когда один из близнецов без видимых причин вдруг дергался, или кричал, или

разражался слезами, и только потом выяснялось, что второй, на расстоянии, недоступном человеческим чувствам, споткнулся, или уколол палец, и реакция была так точно дозирована, так четко откалибрована, будто у них одна нервная система на двоих. И это еще только вершина айсберга. Было больше, куда больше такого, что Джек и Джилли держали про себя — чтобы их не сочли уродами, а еще потому, что это касалось только их, и никого больше. Например, они видели одни и те же сны, подслушивали случайно обрывки мысли друг друга и чуяли, когда с другим что-то должно случиться (как ни странно, о себе у них предчувствий не было) перед тем, как действительно что-то случалось. Иногда настолько отчетливо и точно, что могли предупредить друг друга и избежать той судьбы, которая поджидала… или могла поджидать, или могла *бы* поджидать (очень уж тонкие различия, сбивающие с толку!) за ближайшим углом. Такие вещи не происходили регулярно или предсказуемо, но происходили.

Джилли пожимает плечами, обхватывая себя руками на леденящем ветру — Белль приближается быстро.

— Я же тебе говорила, будет что-то нехорошее. И предупреждала, чтобы не ходил. Ты меня обозвал трусихой и все равно попер. Так что мне было делать — дать тебе по голове?

— А я все-таки сумел, — говорит он. — Я прокатился на волне.

Она закатывает глаза к небу.

— Ага, если это так называется.

— И еще как прокатился!

— Джек, ты даже по пояс не зашел, когда тебя сбило и понесло. И как еще понесло! Раз — и все. Я думала, тебе уже кранты!

Нижняя губа у нее дрожит не только от холода, и Джек понимает, что она готова расплакаться из-за него, из-за того, что чуть было его не потеряла, точно как он больше всего страдал в мгновения, которые счел своими последними, из-за неизбежности, неминуемости окончательного расставания с ней, расставания, которого говорил он себе можно было бы избежать простым остережением в прошлом быстро уходящем и все же таком же близким как быстро надвигающееся будущее которое казалось можно было бы удержать как открытую могилу в которую он не мог уже удержаться и не свалиться в удушливую пустоту воды… Только он не утонул. Джилли его спасла. Учитывая этот факт, не так уж важно было настоять, что он все же на волне прокатился. Как мог он сомневаться в ее словах? Горе ее было благостным напоминанием о том, как глубоко они связаны.

И вихри счастья и страдания, что кружат сейчас ее сердце, свой источник имеют в нем, как и его сердце, сжимающееся от боли и благодарности, бьется в такт ее ритму.

Она встает с песка.

— Ладно, Джек, пошли домой.

Она протягивает руку, они сцепляют пальцы — зеркальные отражения, — и она, ухнув, поднимает его на ноги. Но руку не отпускает, стискивает сильнее, и впивается ногтями так, что он морщится и чуть не вскрикивает, и вскрикнул бы, если бы не ее запрещающий взгляд, фиксирующий его с расстояния в несколько дюймов, и взгляд этот так его пронизывает, что он ни шевельнуться, ни заговорить не может. Будто под гипнозом, и сердце колотится в пустой груди.

— В следующий раз я тебя таки двину по голове, сопляк! — говорит она тоном, подчеркивающим угрозу во взгляде. — Вот увидишь!

И она убегает прочь по песку к травянистым дюнам (длинные серебристо-зеленые стебли, почти горизонтально положенные порывами ветра), где выветренные деревянные ступени громоздятся обломками древнего кораблекрушения, вынесенными на поверхность медленными течениями песка. Пара чаек взлетает, неуклюже горбясь, с ее дороги, расправляя крылья; их подхватывает буря и уносит прочь, как шурикены, брошенные рукой ниндзя. Доносится обрывок пронзительной жалобы птиц — и их уже не видно. И все это время ветер завывает в заржавевших фермах наблюдательной вышки времен Второй мировой, стоящей одиноко посреди домов Мидлсекса и далеких домов Бетани-бич в миле отсюда, — голые кости строения, поднятые на сотню футов над дюнами, уже никем не используемого, кроме птиц и ребятишек, плюющих на табличку «вход воспрещен» и лазающих по ржавым железным лесенкам на покореженную площадку с решетчатым полом, откуда видно далеко, до самых небоскребов Оушен-сити. Джеку и Джилли знакомы и подъем на эту башню, и следующее за этим наказание, потому что там не спрятаться — у всех на виду. Интересно, думает Джек, каково оно там сейчас?

Он ковыляет к своей брошенной футболке (как и у Джилли, подарок дяди Джимми); футболка валяется, смятая, на песке. Нагибаясь, он видит мазок крови на предплечье и левой кисти. Джека охватывает приступ слабости, от которой едва не подгибаются колени, но тут же проходит. На неуклюжих ногах, как чайка по склону вниз, он бредет среди слипшихся комьев песка и разбрызганной пены, несущихся, как перекати-поле, и по щиколотку заходит в прибой. Присев, он смывает кровь и песок с руки, поцарапанной то ли ногтями Джилли, то ли шероховатым

дном океана. Порезы неглубокие, и кровь уже остановилась. На минуту Джек останавливается выгрести песок из складок и карманов джинсовых шортов, но это трудно сделать, не раздеваясь. Он встает, обхватывает себя руками и смотрит на океан.

Прибой усилился, что ли? Волны живыми горами борются друг с другом, схватка без правил и без судьи до самого горизонта… хотя горизонта толком и нету, лишь туманная зона непрозрачности, тусклый металл, испещренный белыми гребнями, да иногда мелькнет бледное крыло чайки там, где смешиваются море и небо. Он что, на самом деле там был? Как-то не верится, чтобы он оказался настолько смел — или глуп, — чтобы туда полезть, и уж тем более настолько удачлив, чтобы вылезти.

Джек передергивается, вспомнив ощущение смыкающейся над головой воды. Ощущение конца. И еще что-то другое, не столько присутствие, сколько зловредную сущность одновременно с ним в воде и — он это чувствовал — оставшуюся с ним и на суше: холодный, невозможный ужас, как тот, что липнет к знакомым предметам после кошмара, превращая их в чужие, но по-прежнему знакомые.

Он отходит от океана, ставшего таким же чужим — прежний друг, которому больше нельзя доверять. Повернуться спиной страшновато, будто он схватит его и снова затянет. Но Джек заставляет себя повернуться и пойти размеренным шагом туда, где лежит футболка. Он ее поднимает, энергично встряхивает и натягивает на себя (шипя от резкого укола боли в левой руке). Футболка вывернута наизнанку, и надпись видна через промокшую белую ткань: YИ♥I.

Все еще не оглядываясь, он пускается вдогонку за Джилли, бежит по лестнице, по узкой тропе между домами Скелсов и Кардисов (опустевших и закрытых щитами), ороговелые подошвы шаркают по истертым доскам, а над головой трясутся сучья сосен, и трос на флагштоке без флага у Кардисов выдувается пузом на ветру, щелкает о металл снова и снова, звуча отчаянным набатом.

Когда Джек входит во двор, дядя Джимми, Эллен и Билл уже стащили вниз щиты для террасы и борются с фанерными досками, — прилаживая их к большим нижним окнам. Дом Дунов стоит на А-образной опоре, как и все соседние на океанской стороне шоссе № 1 — футов девять-десять над землей на деревянных столбах, очень похожих на телефонные — это они и есть, кстати, только загнанные в песчаную почву так, что меньше трети торчит над землей.

— Переодень мокрые шмотки и давай помогай! — ревет Билл, перекрикивая вой ветра, когда Джек бежит по мощеной дорожке вдоль подъездной гравийной дороги — коричневая с белым галька. Бордовая «Тойота-королла» с номерами федерального округа Колумбия и стакером «Вашингтон Редскинз» стоит неподалеку, забрызганная дождем, наполовину под прикрытием навеса. Рядом потрепанный «жук» дяди Билла, выходец из шестидесятых годов с закрашенными разной краской пятнами, будто какая-то автомобильная «варенка», пухлые красные игральные кости болтаются у зеркала заднего вида зрелыми яблоками. Номера нью-йоркские, а стакеры на бампере такие: «ролевики пускают в ход воображение» и *«МОЯ* вселенная *ИГРАЕТ* со мной в кости».

— Есть, сэр! — кричит Джек, поднимаясь по лестнице в дом.

— А куда ты собрался?

Он останавливается на этот перехватывающий возглас, одна рука на перилах, нога на нижней ступеньке, поднимает глаза и видит суровое лицо отца и заинтересованное — семнадцатилетней Эллен, полузлорадное в растрепанном гнезде светлых волос. Они оба на него смотрят.

«Ой-ой», — думает Джек.

— Как ты мне сказал, переодеться в сухое.

— Сначала песок смой. Сколько раз повторять, чтобы вы песок в дом не наносили?

— Но я думал…

Билл перебивает, будто Джек — сегодняшний гость-жертва передачи «Внутри Пояса».[1]

— Вот этого ты, Джек, не делал. Ты на себя посмотри! Ты обещал, что в воду не полезешь. Просто глянешь, как ты говорил.

— Но Джилли…

— Мне все равно, кто из вас кому что сделал.

Джек чувствует, как сворачивается в животе ком. Ох, как Эллен радуется! Она едва сдерживается — ничего она так не любит, как когда кому-то влетает. Особенно ежели этот кто-то — ее маленький братик или сестричка. Джек призывает на ее голову все проклятия. Молнией по этой пустой крашеной башке, бомбу из птичьего дерьма, рухнувший дом — лишь бы ухмылка сползла с наглой рожи. Естественно, проклятия тщетны.

— Вы оба будете наказаны, — продолжает Билл. — Но сейчас надо заставить окна, пока Белль не усилилась. Ты вернешься, готовый помогать, через пять минут. Ясно?

Он кивает.

— Так чего ты ждешь? Приглашения?

С пылающим лицом Джек отворачивается под лающий хохот

Эллен.

— Эл, смотри, а то я тебе найду, над чем посмеяться, — предупреждает ее отец.

— Ноя же не…

— Эй, Джим! Держи!

— Черт! — доносится голос дяди Джимми. — Чуть эта хреновина у меня из рук не вырвалась!

— Сейчас, держу…

Джек пригибается за лестницей, встает на доски, ведущие под крыльцо к уличному душу, занятому парой костлявых лодыжек.

— Джилли, давай быстрее. Мне тоже надо!

— Так заходи, не заперто.

Он открывает дверь и входит, спасаясь от мерзкого ветра, который захлопывает за ним дверь невидимой ладонью. Джилли сверкает улыбкой ему навстречу, да не только улыбкой: вытираясь темно-малиновым с золотом пляжным полотенцем, усыпанным изображениями футбольных шлемов размером с кулак, она сверкает из-под ткани бронзой и слоновой костью кожи. Но ничего такого, чего Джек раньше не видел: жилистое тело Джилли ему знакомо почти как собственное. Это не значит, что он не осознает различий или что они его не интересуют, особенно сейчас, когда половое созревание начинает лепить тело, как скульптор, работающий изнутри. Но это же не какая-то там девчонка, это *Джилли.* Его сестра-близнец, с которой у него общие мысли, ощущения… даже, кажется иногда, и кожа. Между ними нет секретов, и нет нужды соблюдать условности.

Футболка и джинсы Джилли свисают с деревянной жерди душа, капают на блестящие мокрые доски пола. Чистое полотенце висит на крюке у нее за спиной, защищенное от брызг душа, который она не выключила, тонкой фанеркой, разделяющей кабинку пополам. Паукам углы кажутся уютными, и их оттуда не выжить; разорванную днем паутину они восстанавливают за ночь, как Пенелопа. И никого это не волнует, кроме матери, а Пегги в этом месяце в доме не будет.

— Па злится, — говорит Джек, пытаясь не замечать укол боли в левой руке, и снимает футболку, выворачивая ее при этом изнанкой внутрь, I♥NY.

Потом он становится под бьющую, жалящую горячую струю, и на миг это ощущение напоминает, как песчинки скребли кожу.

— Па-а-думаешь, — пожимает плечами Джилли, закатывая глаза к небу. — Ну, запрет нас опять.

Пляжный дом Билл и Пегги делят между собой. По условиям развода здесь неделю живет он, неделю она. Но поскольку они оба должны зарабатывать себе на жизнь — Пегги помощником

адвоката, а Билл политическим репортером в «Вашингтон стар» и ведущим «Внутри Пояса» (остром местном телевизионном ток-шоу), — то они в лучшем случае приезжают на уикэнды, если не считать отпусков. В основном в летнее время они дом сдают, но дядя Джимми в августе берет отпуск на своей работе («если ее можно так назвать», — говорит Билл) гейм-дизайнера в Нью-Йорке и поселяется здесь in loco parentis[2] («вот именно, что loco», — провозглашает Билл) для Джека, Джилли и Эллен. Билл и Пегги заезжают по очереди (если заезжают) через выходные в течение месяца, иногда в одиночку, иногда с другом или любовницей. За четыре года после развода никто из них серьезных отношений не завел, тем более не вступил в брак, поэтому Эллен все еще надеется на примирение, но Джек слишком хорошо помнит напряженное мрачное молчание и визгливые перебранки, чтобы лелеять надежду на лучшее будущее.

Соглашение с дядей Джимми, как всякое другое соглашение, вызвало к жизни свой набор невысказанных правил и подразумеваемых пунктов, один из которых состоит в том, что наказание, наложенное Биллом или Пегги, исчезает вместе с ними. Роль тюремщика своих племянников дядя Джимми не выполняет. В девяноста девяти процентах случаев он на их стороне. Человек двадцати шести лет, живущий сочинением игр, по возрасту и чувствам ближе к детям, чем к своему сводному брату и его бывшей жене, он может сойти за классного старшего брата Эллен. Но эта неофициальная политика амнистий должна остаться их маленькой тайной. Если бы Билл и Пегги узнали, что делается — и что *не* делается — в их отсутствие… В общем, береженного бог бережет. Вот это тот пункт, где Джек, Джилли и Эллен друг с другом согласны. Пожалуй, единственный.

— Ух ты, посмотри, сколько песка! — восхищается Джек, вылезая из шортов — другой одежды на нем уже нет. — Странно как-то, что в океане такая чертова туча песка.

Выворачивая карманы, он высыпает кучки песка на дощатый пол, и душ все смывает.

На Джилли это впечатления не производит:

— Ха, странно, если бы его не было. Что такое океан, если не куча песка, а сверху — тонны воды? — И она начинает петь голосом, напоминающим скрип несмазанной двери: — «The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise aboooove…»[3]

Джек слишком занят смыванием песчаных пирамид в море, чтобы прислушиваться. Обсидиановые храмы размером с горы громоздятся перед его мысленным взором, и контуры их размыты

мерцающим фосфоресцирующим светом. Он видел где-то такую картинку, в каком-то комиксе, в опытном образце игры дяди Джимми, а может, в кино, или во сне. Ощущения расплываются, и он протягивает руку, чтобы за что-нибудь ухватиться.

— Эй! — Возглас Джилли выхватывает его из забытья. Она стоит перед ним в душе, голая, поддерживая его, не давая упасть. — Что с тобой?

Он не может найти слов. В голове шумит, как шумит призрак моря в пустой раковине.

— Черт, а ну-ка давай ты сядешь. Давай.

Она выводит его из душа, за загородку, на узкую скамейку за кабинкой.

— Джек, а ну-ка скажи чего-нибудь. Ты меня пугаешь!

Он встряхивает головой, пока она ведет его к скамье. Прикосновение к заднице твердого дерева успокаивает — как обещание, что мир не даст ему упасть. Он сутулится, ставит локти на колени, лоб упирает в ладони и медленно, глубоко дышит.

— Джек? Джилли? — гремит сверху голос Билла, и они оба вздрагивают. — Вы чего там делаете?

— Ничего, — отвечает Джилли.

— Вы что, подрались?

— Нет!

— Это хорошо, что нет. Вы мне здесь нужны. Оба, и живо!

— Уже идем! — Она приседает перед Джеком и шепчет: — Джек?

— Ничего, все в порядке, — с трудом говорит он, все еще не открывая глаз, не поднимая головы. Шипение в ушах стало тише, головокружение ослабло. А пульсирующая боль в руке теперь как ритм прибоя на далеком берегу. — Мне только посидеть минутку надо.

Она разжимает пальцы, выпускает его.

— Боже мой, ты едва не отрубился. Что с тобой такое? Заболел, что ли?

— Не знаю.

— Может, это у тебя сотрясение или что-то вроде? Ты головой о дно не стукнулся, когда тебя с ног сбило? Может, тебе к доктору стоит…

— Нет. Ты никому не говори, Джилли. Все в порядке.

— Мне-то ты лапшу на уши не вешай, Джек Дун! Забыл, с кем разговариваешь? Я же тоже это почувствовала. Хоть немного.

Он поднимает глаза:

— Что ты почувствовала?

Синие глаза на лице, настолько скрытом в тени и от этого

кажущимся каким-то старым — несколько мгновений он видит глядящее на него юное лицо Джилли, а на это лицо наложена прозрачная маска, как при двойной экспозиции кадра: нечеткая, не наведенная на резкость.

— У тебя кровь, — говорят обе Джилли одновременно. Иллюзия дрожит, словно мираж, и исчезает, лицо постарше уходит, впитывается в юношеское.

— Чего?

— Из носа.

Она протягивает руку, но он успевает раньше.

— Черт!

То, что блестит на тыльной стороне пальцев, непохоже на кровь. Скорее какая-то жидкая форма темноты.

— Больно?

— Нет.

— Папа увидит, точно решит, что мы подрались.

— Помоги мне залезть в душ.

Он ни минуты не может больше на себе это терпеть, будто эта штука может полезть вверх по руке, обернуть его, проглотить…

Джилли ведет его под душ. Он вздрагивает, с резким вдохом отшатывается от внезапного холода. Она деловито включает горячую воду, и облегчение, скользя, пробегает по всей коже, когда вода согревается, снимая в теле напряжение и боль.

— Спасибо.

— Мне побыть с тобой?

— Нет, иди давай. Папе скажи, что я сейчас.

Она смотрит недоверчиво.

— Говорю же, все путем. И перестань на меня так смотреть!

— Дубина, — бросает она, но отворачивается, плавно приседает, чтобы поднять со скамейки полотенце, и в песке остается отпечаток изгиба ее ляжки. Она закутывается в полотенце. — Только ты побыстрее, хорошо?

— Хорошо, хорошо.

И она выходит, а он остается на ватных ногах в покалывающем тепле душа. Порывы мощного ветра сотрясают кабину, будто какая-то гигантская птица хочет ворваться внутрь. Зажмурившись, Джек подставляет лицо под струи. Горячая вода лупит по векам, расплываясь цветными пятнами во внутренней темноте. Он освобождается от жжения в пузыре, не целясь, просто выпускает.

Джек старается не думать о том, что сейчас было, боится, что, если думать, вызовешь это снова. Но не может не ощупывать края этого переживания, определяя его контуры с тем же мазохистским интересом, что заставляет водить кончиком языка по лихорадке

на губе. Точно так же ум его притрагивается и отдергивается от краев утонувших пирамид. Где он их видел? Потревоженные его исследованием огромные силуэты всплывают вверх, кувыркаясь в темных водах памяти, как в черном космосе. Но у загадки ответа нет. Будто в каком-то парадоксе путешествий по времени, воспоминание меняется от попытки припомнить. Он сам ощущает себя по-другому, хотя трудно было бы сказать, в чем различие. Если сейчас глянуть в зеркало, увидел бы он второго, призрачного Джека, глядящего на него, как тот промельк более старшей Джилли? Сердце бьется быстрее, подстегнутое не только прикосновением прошедшей мимо смерти, которое уже не столь остро, уже теряет реальность и походит на сон, отодвигается от Джека, а Джек от него, уносимые в разные стороны тем же потоком случайностей, что на миг свел их вместе.

Поток воды снова льет жар; Джек его выключает, поднимает руку к верхней губе и смотрит на пальцы. Ну надо же, нет крови. Он спешит к полотенцу и вытирается насухо, потом оборачивается пушистой тканью и выходит из кабинки под заряд дождя и ветра. Толстые холодные бомбочки лупят со всех сторон. Не такие сильные, как душ, но неприятные. Небо покрыто одной большой тучей — сплошной массой серого мрамора, с виду плотного, как густое тесто, и будто его помешивают, очень-очень медленно, гигантской невидимой мешалкой.

Ураган по имени Белль наконец пришел.

* * *

Бейбери-стрит забита паровыми телегами и запряжками нормалов, и еще — пешеходами всех пяти рас. Чеглок, вылетевший из гостиницы, когда Голубь пошел обслуживать салмандеров, отшатывается обратно, ошеломленный гулом и грохотом Мутатис-Мутандис, Многогранного Города — его так назвали за постоянно растущее число ворот. Согласно путеводителю (уж точно устаревшему), выданному ему в начале Испытания, ворот в городе 674 — и это только официально санкционированных.

А в Вафтинге всего двое. И узкие извилистые улицы там никогда не бывают так забиты, даже во время Праздника Становления.

Чеглок глотает воды из меха и глубоко дышит, чтобы успокоиться, а собратья-мьюты идут мимо бесконечным потоком, в основном его не замечая, будто он не более видим, чем вирт, хотя некоторые глядят на него неодобрительно на бегу, будто обвиняя в каком-то преступлении или столь сильном нарушении этикета, что это тоже можно назвать преступным. А что, есть закон, запрещающий стоять спокойно и глазеть на кипящую вокруг жизнь? Он бы не удивился, узнав такое.

Это второе утро Чеглока собственно в городе; во время самого Испытания соискатели спят в палатках, раскинутых вокруг Площадок Испытания за пределами Врат Испытания, поскольку сами площадки расположены вне городских стен, но годами расползающийся Мутатис-Мутандис их окружил, и теперь они — просто пузыри открытого пространства окружностью в полторы мили, юридически находящиеся вне города. Такие фикции закона и обычая часты в городе, врата которого постоянно демонтируются и возводятся вновь, все дальше наружу, относимые все новыми и новыми волнами строительства, либо заглатываются и остаются внутри, становясь гражданскими или религиозными святынями. Память об их первоначальной функции и символическом значении теряется, появляются новые применения, новые имена: Врата Славного Семнадцатого Декабря, Врата Ходячей Красоты, Врата Гостиницы Плачущего Нормала.

Чеглок еще не привык к небрежной легкости, с которой здесь перемешиваются расы: он всегда находит, на что поглазеть разинув рот. Например, вот эта группа салмандеров и руслов за оживленным разговором. Полосатые нарукавные повязки

зеленого, синего, белого, красного и черного — цвета флага Содружества — отмечают их как работников Совета при исполнении обязанностей. Или вот пара Святых Метателей — приземистый шахт и почти высохший эйр, лица их — палимпсесты вырезанных надписей, они безмятежно и неспешно идут в пестрых мантиях, свернутый бич из кожи нормалов и кинжал с костяной рукояткой висит у каждого на поясе, две красные шестигранные кости болтаются на груди над крупными серебряными квадратами пряжек, проштампованных лемнискатой: упавшей восьмеркой бесконечности, символом Шанса. А вон молодой русл с тельпицей шагают, обнимая друг друга за талию, и ничего вокруг не видят.

Чеглок краснеет и отворачивается: в Вафтинге такое зрелище немыслимо. Но, несмотря на все физические различия, расы мьютов могут скрещиваться, и даже Совет Пяти — орган исполнительной власти Содружества, составленный из представителей, назначенных или выбранных от каждой из Пяти Наций — поощряет такие союзы, и Святые Метатели — тоже. В отпрыске доминируют гены одного или другого родителя, а иногда присутствуют дополнительные характеристики недоминантного предка: чешуйчатый гребень у русла говорит о примеси крови эйров, тельп с повышенной температурой тела имеет предков-салмандеров. Измененные расы любят здоровых детей и радуются им, и даже к инкубаторским вроде Чеглока относятся так же, как и к плоду союза чистокровных мьютов… по крайней мере в теории оно так. А на практике Чеглок часто ощущал — или его заставляли ощущать — до боли неприятный факт, что его биологическая мать была нормалкой.

К чему еще Чеглок пока не привык — и сомневался, привыкнет ли, — так это к количеству на улице рабов-нормалов, запряженных в экипажи и выполняющих прочие лакейские работы. Некоторых даже приспособили служить уличным торговцам-ветеранам, слишком изувеченным войной, чтобы самим о себе позаботиться. Рабы (только самцы, потому что пойманных самок направляют в родильные отделения инкубаторами, а если они слишком молоды или стары для такой работы, то в инсеминарии для заражения новыми штаммами вирусов или как объекты экспериментальной хирургии, практически вирты из плоти и крови), кастрированные и лоботомированные Святыми Метателями, кондиционированные на факультете Психотерапии Коллегии Виртуального Разума, неспособны к независимому мышлению или действию; это зомби, работающие безропотно, пока тела служат. Чеглок знает, что они безобидны, но все равно жуть берет. У него гребень поднимается

от их вида, и все инстинкты кричат: «Убей!» Если б не псионное гасящееее поле, которое держат над городом тельпы из Коллегии, своей силой приглушая силы других рас ради общего блага, он бы уже раз двадцать поддался этому импульсу.

Пялясь на парад прохожих, Чеглок пытается отрешиться от своего похмелья и вспомнить дорогу к площади Паломников. Как все эйры, он гордится чувством направления, но в теперешнем его состоянии это чувство обратилось в полный ноль. Он слишком застенчив, чтобы спросить дорогу, слишком беден, чтобы транжирить деньги на такси или на рикшу, слишком горд, чтобы вернуться в «Голубятню» и попросить помощи у шахта за конторкой. К счастью, память не совсем ему изменила, и наконец-то удается вспомнить маршрут. Устроив крылья на спине поудобнее, он решительно входит в поток пешеходов и позволяет ему нести себя по улице. Бейбери переходит в Дюна-роуд, левый поворот на Дюну выносит на Мидлсекс-лейн, потом направо на Бетани-стрит, по Бетани налево, а потом извивы и повороты выплеснут его на Реховот-авеню, которая уже ведет к Вратам Паломника.

Шагая по улице, он изо всех сил старается придать себе вид целеустремленный и все же небрежно беззаботный, притворяясь, что не замечает разносчиков, которые поделили между собой кварталы — по двое-трое на каждый, и там в узких закоулках между яркими вывесками лавок и гостиниц сидят или стоят за складными столами, учтиво или не слишком выкрикивая свой товар: игральные кости множества цветов и размеров, спичечные коробки и книжечки, ручки, карандаши, блокноты, солнечные очки, часы, зажигалки, трубки, портсигары, шахматы разных размеров с фигурками ручной работы и игральными костями из дерева и кости, украшения, благовонные палочки, свежие люмены, карманные издания шестидесяти четырех сутур «Книги Шанса» (с комментариями и без), стебли и листья нож-травы и прочие разные разности, которые закон разрешает им продавать (плюс парочка мелочей, замечает Чеглок, которые не разрешает). Некоторые продают свои услуги в качестве предсказателей либо предлагают вероятностные игры в карты или кости, другие продают собственную кровь, нанося свежие разрезы на вчерашние шрамы.

Нищенство запрещено, но Содружество дает нуждающимся ветеранам лицензии уличных торговцев и товары для продажи. В Вафтинге вернувшиеся с войны солдаты — особенно тяжело раненные — пользуются преимуществом этой щедрости, пока сами способны себя обслужить, а горожане выполняют свой патриотический долг, покупая все, что предложено к продаже; но

здесь у Чеглока возникает ощущение, что есть ветераны, которые ничего не заработают, так и будут сидеть на тротуарах и в переулках всю оставшуюся жизнь. Никто не рвется покупать у них товары, и те покупки, что происходят на его глазах, в основном какие-то недоброжелательные, делаются во взаимном недоверии и презрении, совсем не так, как он привык. Наконец он сам останавливается купить коробок спичек у однорукого салмандера. Мьют берет у него деньги, даже не буркнув ничего в ответ, потом швыряет спички так, что Чеглоку не достать — нарочно, пусть подбирает с грязного тротуара, пока их не раздавили. После этого, стоит торговцу позвать его или попытаться загородить дорогу, он проходит в порыве раздражения, даже злобы, и это наполняет его чувством вины, потому что эти мьюты, как они ни неприятны, воевали за него, пострадали и пожертвовали, чтобы Содружество осталось свободным.

Через некоторое время ему начинает казаться, что он снова и снова видит одни и те же лица, слышит те же выкрики слово в слово, будто ходит по кругу. В голове стучат молоты, желудок сводит судорогой. Он мстительно надеется, что у Дербника и Кобчика то же самое из-за вчерашнего обилия пива и пиццы. Он бы в миг долетел до площади Паломников, кабы не гасящее поле. Когда так спутаны крылья, это очень досаждает, но Чеглок понимает необходимость. Только так здесь может жить столько мьютов в такой тесноте. И все-таки это не значит, что ему нравится мысль передать такую власть тельпам, которые — по его мнению — и без того уже набрали слишком много власти: Коллегия Виртуального Разума, формально подчиняющаяся Совету Пяти, часто кажется соперничающей ветвью власти, а ее руководители верны только делу собственной расы. И даже Святые Метатели, в чьих игральных костях сосредоточена власть над жизнью и смертью, в чьих инсеминариях содержится то, что хуже смерти, боятся Факультета Невидимых, теневой ветви Коллегии, занимающейся вопросами внутренней безопасности.

Чеглок утешается мыслью, что как бы ни было ему хреново, внешне он по крайней мере выглядит вполне нормальным гражданином, спешащим по важному делу. И дело у него *действительно* важное, самое важное из всех, потому что паломничества — это тот клей, который держит все расы вместе и сохраняет содружество единым и сильным. Без них пять рас давно впали бы в междоусобные раздоры, в каковых нормалы уже столетиями вцепляются друг другу в глотки.

Когда будет закончено его паломничество и пройдет время отдыха и восстановления в Вафтинге, Чеглока назначат

выполнять свой долг в вооруженных силах — долг, который будет возвращаться каждый год, пока ему не исполнится шестьдесят пять, а после этого он еще должен будет являться два раза в год ради выполнения долга во внутренней страже. Но он нетерпелив, ему мечтается о судьбе героя, единолично меняющего ход долгой войны каким-нибудь актом отваги, таким, что сломит дух нормалов и повернет военное счастье в пользу мьютов. Что это будет за подвиг, он пока не знает, но если представится случай — нет, *когда* представится случай, — он знает, что у него может оказаться лишь миг, чтобы опознать возможность и ухватиться за нее.

В любимых фантазиях он видит себя разведчиком наземных войск в битве, которая плохо оборачивается для мьютов. Уже отдан приказ отступать, товарищи-эйры оттянулись назад. Чеглок из воздушных разведчиков остался последним. Естественно, кровь течет у него из десятка ран, но он еще способен держаться в воздухе. В голове у него пронзительно звенит голос офицера-тельпицы, повторяющей команду отходить, но Чеглок не обращает внимания, летит вперед, вынуждаемый каким-то непонятным инстинктом. И тут он видит *его.* Далеко внизу, верхом на белом коне, отчетливо виден Плюрибус Унум, император нормалов, в псибертронной броне, сверкающей, как панцирь из стали и алмазов. Его окружают верховые офицеры и жрецы, рядом с ним стоит паж, держа знамя Крестозвездного Полумесяца. Внимание Плюрибуса Унума и его свиты поглощено битвой, никто из них не догадывается глянуть вверх и увидеть в небе пятнышко — Чеглока. Он принимает решение раньше, чем сам это осознает, вдруг бросается в пике, ветер ревет в ушах громче лавины в Фезерстонских горах, сила ветра раздвигает губы в оскале, зрение расплывается за прозрачными мембранами внутренних век, и он, призвав силу урагана, бросается с воплем камикадзе к вечной славе, превратив себя в смертельный снаряд…

Но такие фантазии преждевременны, пока он не дошел до Врат Паломника, а ведь надо еще в них пройти. Кстати, разве он еще не добрался до Дюна-роуд? Или проскочил перекресток, увлеченный героическими мечтами?

Замедлив шаг, он минует еще один квартал, доходит до Атлантик-авеню, и тут соображает — с силой откровения, — что идет не в ту сторону. Карта в мозгу точна в деталях, но ориентирована по отношению к нему — или он по отношению к ней — наоборот. Он останавливается, разворачивает у себя в голове карту и с проклятием разворачивается сам. Крик, столкновение. Дальше он понимает, что налетел спиной на

тротуар, и пешеходы его обтекают с обеих сторон, не сбившись с шага. Кроме одного.

— Я думала, у эйров глаза орлиные, — говорит тельпица, сердито глядя вниз и подбоченясь.

Сперва Чеглок принимает ее за ребенка, судя по миниатюрному размеру, но потом понимает, что она постарше, ближе к нему по возрасту. Лицо сердечком загорело до темно-коричневого, будто она каждую свободную минутку проводит на солнце. Одета она в короткую юбку из черной кожи, ботинки до колен из мягкой кожи нормала, полированная костяная рукоятка ножа торчит из левого ботинка, черный джинсовый жакет, а под ним — свободная блузка, переливающаяся шелком. Волосы у нее стрижены ежиком и черны, как вороновы перья. Чеглок не удерживается от мысли, какое будет ощущение, если их потрогать — как от мягкого бархата? Но в пронзительных синих глазах, обрамленных сине-зелеными тенями, мягкости и близко нет.

— Что? — только и может выдавить он.

— Тебе перевести, птичьи твои мозги? — Она тычет в него указательным пальцем, с каждым словом поднося все ближе к голове Чеглока, и ноготь — как острие кинжала, измазанное кровью. — Смотри. Куда. Мать. Твою. Прешь.

Чеглок бормочет какие-то извинения; серо-синие перья гребня, рефлекторно распущенного, опадают под плетьми ее гнева и презрения.

— Да ну, с эйрами ругаться даже не смешно. — Тельпица отступает, закатывая глаза. — Вы, Шанс вас побери, слишком уж вежливые. — Она протягивает руку. — Давай, я не кусаюсь.

Он принимает протянутую руку, и тельпица поднимает его с земли.

— Никогда не привыкну, какие вы легкие, — восхищается она, оглядывая его и качая головой, едва доставая макушкой ему до живота. — Сколько ты весишь?

— Тридцать восемь фунтов. — Чеглок теребит конец цепочки в ухе. Он болезненно относится к своему весу, потому что это нижняя грань, более приличная женщине или ребенку, чем мужчине его возраста и роста, о чем Дербник и Кобчик не устают ему напоминать.

Тельпица присвистывает.

— Тридцать восемь! Я втрое тяжелее, а для тельпа я маленькая! Слушай, носовой платок есть?

Он таращится на нее, не понимая. Вопрос ни к селу ни к городу, тем более она тут же вытаскивает из кармана собственного жакета белый платок и протягивает ему, будто он должен этот платок взять. Какой-то диковинный обычай тельпов?

Обмен платками? Кто вообще она такая?

— Нос вытри, — объясняет она. — У тебя кровь идет. Кажется, я тебя хорошо толкнула.

Но она явно не чувствует за собой вины.

Чеглок трогает нос — да, действительно, пальцы становятся красными. Хотя он привык к виду собственной крови, чувствительность его в этом смысле так же покрыта рубцами, как грудь и живот, руки и ноги, перекрещенные узором разрезов старых и новых, он ощущает, как поднимается тошнота в зобу, похмелье возвращается в своем праве: «Как, не забыл меня?»

— Ух ты! А я то всегда думала, что «позеленел» — это такое образное выражение.

— Извините, — бормочет он, вежливый до конца, ковыляет мимо нее к краю тротуара, сгибается пополам и выкладывает на улицу содержимое своего желудка.

— Оуууу! — звучит ее голос совсем рядом.

Он стонет от страдания и унижения и падает на колени, выворачиваемый наизнанку очередным спазмом.

— Ну-ну, — говорит она. — Даже не надо читать твои мысли, чтобы узнать, что у тебя было вчера на ужин.

— У… — он хватает ртом воздух, — …ходи!

— Еще чего! — доносится негодующий ответ. Рука подхватывает его под мышки и тянет вверх. — Вставай, летун.

— Оставь меня в покое.

Он дышит тяжело, надеясь, что спектакль окончен, но боясь, что это всего лишь антракт.

— Здесь нельзя сидеть.

Он нашаривает мех с водой, набирает теплой жидкости в рот и сплевывает в сточную канаву.

— Я не сижу. Я стою на коленях.

— Хочешь стоять на коленях? Иди в казино. — Она снова его тянет.

— Хватит меня дергать! Это назойливо. Вы *очень* назойливы.

— Это ты меня еще не видел, когда я назойлива.

Чеглок сердито оборачивается к своей мучительнице. Она ухмыляется в ответ, синие глаза искрятся весельем. Но за этим весельем — целеустремленность, которая заставляет Чеглока понять, что у него нет ни единого шанса. Кроме того, пока что он не забыл, где находятся он и те мьюты, что идут по улице и по тротуару. Одно дело смотреть на их ботинки и на грязные босые ноги рабов и разрисованные колеса экипажей, и совсем другое — ловить на себе неодобрительные взгляды, оценивающие это печальное зрелище: его самого. Вот так он и представляет здесь Эйрленд и Вафтинг, думается ему, и в нем вспыхивает стыд,

пережигающий предохранитель злости. Может, не надо было вчера столько пить и курить, но эта чертова тельпица не имела права на него налетать вот так, как она налетела. Это она шла невнимательно, слишком погруженная в их дурацкую Сеть, чтобы замечать реальный мир.

— Послушайте, если я встану, обещаете вы от меня отстать и просто уйти?

Она проводит по лемнискате у себя над сердцем:

— Слово тельпа.

Он со вздохом протягивает руку, позволяя ей поднять себя на ноги второй раз.

— Вот. — Она протягивает свой платок, предлагает его Чеглоку подчеркнуто вежливым жестом. — Ну, не так уж оно страшно? Как себя чувствуешь?

— Как будто мой желудок сам решил пройти Испытание, и не прошел.

Он берет платок, вытирает губы, потом складывает вдвое и промокает нос.

— Ты паломник? — спрашивает она.

Он устало кивает.

— Какое совпадение! Я тоже. Мои поздравления!

— Гм, да. И вам тоже. — Чеглок сворачивает окровавленный платок пятнами внутрь, белым и чистым наружу, и снова трогает нос. Кровь остановилась, взятая под контроль селкомами. — Возьмите ваш платок.

— Считай, что это подарок к Испытанию.

— Спасибо, — говорит он, намазывая хлеб эйрийской вежливости толстым слоем сарказма, и сует платок в карман. — Скажите, вы не знаете самый короткий путь отсюда к площади Паломников?

— Шутишь? Я этот город знаю как свои пять пальцев. — Она поднимает эти самые пальцы и машет перед ним. — Ладно, может, увидимся. Пока!

Не говоря больше ни слова, она поворачивается на каблуках и уходит в сторону Атлантик-авеню.

Он настолько ошеломлен, что не сразу кричит ей вслед:

— Погодите!

Она поворачивается и смотрит на него.

— Вы не хотите мне сказать, как туда добраться?

— Я обещала к тебе больше не приставать и уйти, а свое слово я держу.

И идет дальше.

Чеглок бросается за ней:

— Эй, постойте!

Она прибавляет шагу, заставляя его перейти на рысь, ныряя между пешеходами, мех с водой болтается и колотит по боку. Когда он ее догоняет, она уже вышла на Атлантик-авеню. И не останавливается и даже не показывает, что его заметила. Наконец он в злости и досаде хватает ее за руку.

Она выдергивает руку, поворачивается к нему:

— Такого грубияна я еще не видела среди эйров!

— Простите, но вы не останавливались.

— И это дает тебе право на меня набрасываться?

— Я бы не назвал это…

— Этот эйр к вам пристает? — перебивает прохожий шахт.

Он ростом еще ниже тельпицы, но массивные руки вдвое толще, чем у Чеглока ноги, и вид у него такой, что он с удовольствием кого-нибудь покалечит. Когда имеешь дело с шахтами, лучший способ выжить — не нарываться, но Чеглок уже не думает об осторожности.

— Не ваше дело, — отрезает он. — Вас никто не просил вмешиваться.

— «Что касается одного, касается всех», — с нажимом цитирует шахт «Книгу Шанса», как какой-нибудь Святой Метатель на проповеди. Глаза его скрыты очками такими темными, что вообще непонятно, как он что-нибудь видит. Чеглок высматривает на темной куртке шахта какие-нибудь знаки различия или власти, но не находит. Что, однако, не исключает возможности, что это, хвост линялый, Невидимый…

— Все нормально, — говорит тельпица. — Он приставучий, но безвредный.

— Это я приставучий? — Ну, это уж слишком. — Сперва вы меня сбиваете с ног и разбиваете нос, потом, когда я задаю простой вопрос, как попасть на площадь Паломников, вы бежите прочь, как…

— О Шанс, это все, что вы хотите знать? — снова перебивает шахт. — Это просто. Держитесь…

— Держи себя в руках, он хочет сказать, — перебивает звонким голосом тельпица, взглядом заставляя шахта замолчать. — И слушай, летунок, внимательно, потому что второй раз повторять не буду.

Через десять минут Чеглок начинает подозревать, что его обманули. Еще через пять минут он в этом уверен. Кипя злобой, он не сомневается, что все встречные видят, что с ним случилось и смеются над его положением. Чеглок пытается вернуться по своим следам и еще больше запутывается. Но сейчас уже хорошо после полудня, день жаркий, мех с водой пуст. А хуже всего, что

похмелье, ослабевшее до дальней пульсирующей боли, начинает возвращаться.

Наконец, склоняясь перед неизбежным, Чеглок сует гордость в карман и спрашивает у проходящего Святого Метателя дорогу к площади Паломников. Жрец, русл, слушает горестную повесть не мигая, потом без слов достает две четырехгранные кости из складок пестрой рясы. Отщелкнув на декоративно большой пряжке пояса крышку, образующую небольшой серебряный столик, он рисует в воздухе лемнискату. Чеглок играет концом цепочки в ухе, глядя на жреца, а тот с завораживающим изяществом, присущим самым незначительным жестам русов, три раза быстро мечет пожелтевшие кости, потом складывает столик обратно в пряжку, прячет кости куда-то в рясу, поправляет пояс, прокашливается и смотрит Чеглоку прямо в глаза.

— На площади Паломников для тебя ничего нет, — говорит он.

— К-как? — Чеглок ошеломлен, возмущен, это уже последняя капля. — Это какая-то ошибка, Ваша Случайность! Я же прошел Испытание!

— Кости не лгут.

Русл говорит без выражения, голос его ровен, как камбала. Чешуйки на голове — те, что видны Чеглоку, — тусклые, как старое олово, оплетены, будто паутиной, сетью шрамов от разрезов, но невредимая чешуя на руках сверкает на солнце, словно вода, колеблемая бризом, играя цветом рясы и отбрасывая водопад цветных зайчиков. Миндалевидные глаза — сплошь чернота; даже с такого близкого расстояния не видно ни склеры, ни радужки — один только зрачок. Глаза не моргают, и Чеглок находит в них лишь свое отражение.

— Я не понимаю, — говорит Чеглок сдавленным голосом. Гнев выходит из него вихрем, раскручиваясь спиралью в самые глубины этих бездонных глаз. — Это ошибка, Ваша Случайность? Я провалил Испытание? Что вы хотите мне сказать?

— Возвращайся в свое жилище, — говорит Святой Метатель не без доброты в голосе.

— Н-но… я же не знаю дороги, — произносит Чеглок, сдерживая слезы.

— А это я могу тебе подсказать, — говорит жрец и объясняет дорогу.

* * *

— А вон еще кто-то едет. — Эллен отрывается от букв и

прислушивается к шуму машины, ползущей по шоссе № 1 на север, к Реховот-бич. За последние три часа, когда ураган стал сильнее, движение по шоссе, видимое сквозь незакрытые щитами окна береговой стороны дома, снизилось от постоянной цифры три-четыре машины в минуту до случайной одинокой легковушки, фургона или пикапа. — Я думаю, нам стоит уехать. Я думаю, нам давно уже надо было уехать.

Билл пожимает плечами, не отрываясь от спинки стула, не отводя глаз от телевизора, где крутится старый черно-белый вестерн в снежной буре помех. Громкость выведена на ноль, последние сообщения о погоде и советы гражданской обороны ползут внизу экрана. Ветер, будто живой и целенаправленный в своей сдержанной пока ярости, дует и плюется, воет в печной трубе, как армия волков, а волны дождя хлещут диссонансной музыкой по дому и почти заглушают гудение объявлений по радио, где сообщается об урагане.

— Что ты думаешь, все уже знают, Эл, — говорит Билл. — Но мы останемся. Попробуй все-таки верить если не в этот дом, то хотя бы в своего отца.

— Соседи все давно уже собрались — и привет. Даже местные. Может, они чего-то знают, чего мы не знаем?

— Поживем — увидим. Ты слышала по радио то же, что и я, Эл. Пока что эвакуация добровольная. Если это изменится, или Белль станет сильнее, мы едем. Договорились? Вещи уже в машине, до убежища в Дэгсборо доедем за десять минут. Но это будет приключение, без которого я предпочел бы обойтись. Ты как предпочитаешь: спать на своей кровати или отвоевывать место для спального мешка на полу гимнастического зала средней школы «Лорд Балтимор»?

— Бог ты мой! — звенит голосок Джилли, пораженной неописуемым ужасом этого видения. — Ни хрена себе ночевочка — на полу вповалку, да еще с кучей местных!

Джек ничего не говорит, погруженный в буквы на руках у себя и Джилли: рядом позиция с удвоением слова, и можно все буквы выставить, только вот чуть-чуть исхитриться…

— Снобы вы, молодежь, — говорит дядя Джимми, партнер Эллен по этой второй игре в матче из трех партий, определяющих чемпионов семьи Дун.

Закрыв окна щитами, все собрались возле телевизора, играя в разные игры и прислушиваясь к обрывкам информации, которая при всей своей трезвой искренности не в состоянии заглушить или хотя бы приглушить хор скрипов и стонов, исходящих из дома, болтающегося под ногами в яростном и кажущемся неудержимым движении, от которого возникает чувство, что все

строение не просто вознесено, но уже унесено и отдано на волю ветра и волн — как парусник прошлых веков, штормующий в открытом море.

Дядя Джимми скрючился в углу дивана, Джек растянулся в другом, держа планку с буквами на приподнятом колене, между ними сидит Эллен, покачиваясь над своими буквами, а тем временем Билл напротив Эллен откинулся на опущенную спинку коричневого кожаного кресла, из-под прищуренных тяжелых век глядя в телевизор, будто в любой момент готов заснуть. Такая же летаргическая поза у него в шоу «Внутри Пояса», когда он убаюкивает говорливых гостей и коллег-участников, усыпляет их бдительность, а потом неожиданно колет острым наблюдением или иронической репликой в сторону, выданной с невероятным чутьем момента и крокодиловой злобностью У. К. Филдса.[4] Джилли подтащила скамеечку для ног от кресла к дивану и уселась по-птичьи рядом с братом. Портативный приемник с новыми батарейками, пара фонариков с ними же, коробка кухонных спичек и набор свечей — некоторые частично уже сгорели в подсвечниках посреди цветных капель и брызг застывшего воска, как замки фей из волшебных сказок, другие, которых еще не коснулось пламя, свежие, как конфетки в пластиковой обертке — все это лежит на столе на случай, если отключится электричество. Оно уже несколько раз чуть было не отключалось, и свет мерцал, когда ветер пробивался сквозь стены к проводам, рассыпая электроны, будто песчинки.

— Хуже того, — добавляет дядя Джимми, тыча в воздух окурком, который держит в правой руке, как карандаш, — нету вас вкуса к приключению. Воображения нет. А в убежище можно было бы в «Мьютов и нормалов» поиграть.

Эллен в ответ стонет. «Мьюты и нормалы» — последний проект дяди Джимми, ролевая игра, созданная чтобы и подзаработать, и подорвать успех «Подземелий и драконов», этого феномена раскрутки, популярность которого заставляет создателей традиционных стратегических и тактических игр — таких как работодатель дяди Джимми, «Банкер Хилл геймз», — оглядываться через плечо, чтобы их не обошли с фланга на поле битвы, где уже полно трупов оловянных солдатиков и других жертв войны игрушек. Дядя Джимми, издавна энтузиаст «ПиД», чьи подземелья заслужили славу среди знатоков за эшеровские переплетения композиций и историй столь же изощренных, сколь и завлекательных, был нанят два года назад, чтобы вывести «Банкер Хилл» в лидеры в этом горячем жанре. «Мьюты и нормалы» будут его вторым продуктом, следующим за сляпанной на скорую руку, но все же прибыльной имитацией «ПиД» с

названием «Боги и чудовища». Эта игра, созданная по греческой мифологии, была адресована целевой аудитории любителей фэнтези, но «Мьюты и нормалы» расчитаны на непочатый рынок фэнов НФ и комиксов. Выпуск запланирован к Рождеству, и пока игры еще в продаже нет, но дядя Джимми привез с собой в Делавэр копию пробного варианта. Несколько вечеров в неделю он играет с Джеком и Джилли. Они втроем теснятся у кухонного стола или, если позволяет погода, у стола для пикников на передней террасе; как ученые в архиве, горбятся над освещенными манускриптами, а коллекция записей дяди Джимми обеспечивает саундтрек в диапазоне от «Пинк флойд» до «Секс пистолз». Эллен в таких случаях старается сделать так, чтобы ее искали, высокомерно отмахиваясь от многоцветных и многогранных костей и вручную раскрашенных оловянных фигурок, плотной и таинственной книжки правил и листов графленой бумаги, на которой Джек и Джилли ведут своего странствующего рыцаря-нормала через пораженную апокалипсисом местность и городские ландшафты разработки дяди Джимми.

— С чего бы я стала играть в эту игру для ботанов! — говорит сейчас Эллен. — Да еще на людях!

— Нет, ты послушай.

Дядя Джимми наклоняется вперед, затягивается табачным дымом, расправляя руки и ноги, обкрученные вокруг дивана — как паук в душевой кабинке реагирует на дрожь паутины. Черная футболка «Игрушки на чердаке», черные джинсы, черные кроссовки на толстой подошве, длинные черные волосы до плеч, впалые щеки и острый подбородок припудрены черной щетиной (которую он каждое утро сбривает опасной бритвой в каком-то кровавом ритуале, за которым Джек завороженно следит) — не зря Билл его прозвал Икабодом Крейном[5] Нижнего Ист-Сайда. И только серебряный проблеск медальки со святым Христофором, которую он носит на шее на тонкой серебряной цепочке, нарушает эту едкую цветовую гамму. Сзади (или спереди, если пряди волос задувает ему на лицо), когда он шагает, крадучись, по улицам деревни в потрепанной кожаной черной куртке, дядю Джимми обычно принимают за Джо Рамона, и даже незнакомцы весело кричат ему: «Габба-габба-хей!»

— Я имею в виду — сыграть по-настоящему, — говорит он.

— По-настоящему? — Джилли не скрывает скепсиса.

— Именно. Без костей, без графленой бумаги, даже без книги правил.

— А чем же тогда играть?

Он затягивается поглубже и объясняет — слова слетают с губ

с кольцами дыма:

— Вот про это я и говорю: воображения нет. Тем, что вокруг нас, Джилли. И тем, что здесь. — Он стучит себя по лбу. — Что еще надо?

— Он имеет в виду — притворяться, — высказывает предположение Джек, поднимая глаза от букв.

— Да понятно, — морщится Джилли. — Только чем притворяться-то? В смысле, в «Мьютах и нормалах» все время идет охрененных масштабов война. Цивилизация погибла. Сотни миллионов людей погибли от генетически модифицированных вирусов и прочей дряни. И вот остались выжившие. Некоторые из них по-прежнему люди, а другие стали мутантами — эйрами, шахтами, прочей такой нечистью, — и у мутантов ихние сверхсилы. Они умеют летать, или они сверхбыстрые, сверхсильные, или умеют подчинять тебя мысленно и заставлять делать все, что захотят.

— Да понятно! — перебивает Джек, сравнивая счет.

Джилли кидает на него недобрый взгляд.

— Так вот, на случай, если ты не заметил, дядя Джимми: тут войны нет. Ни у кого нет таких сил. Конечно, в игру играть весело и так далее, но в убежище мы никаких мьютов не найдем. А найдем тех самых загорелых и жирных хамов, которых каждый день видим на пляже.

— Ну, и местную разновидность реднеков, — добавляет Эллен. — Их не забудь.

— Ага, еще и их.

— И любой из них может быть мьютом, — говорит дядя Джимми. — Не вижу, почему это так трудно понять.

— Но в «Мьютах и нормалах» мьюты на людей не похожи. Ну, почти все не похожи.

— А я разве не сказал: «без книги правил»? Это не будут «Мьюты и нормалы», ну, или будет новая версия.

Он выбрасывает окурок в пустую бутылку от «Будвайзера», которую использовал вместо пепельницы. Окурок гаснет в опивках, коричневое стекло заволакивается дымом. Джек замечает в глазах дяди Джимми похожий оттенок, будто в них клубится тот дым, что он вдыхал. Глаза эти блестят оживлением, когда дядя Джимми вытаскивает из пачки «Марльборо» рядом с бутылкой очередную сигарету и прикуривает от красной биковской зажигалки, тоже лежащей под рукой, на полном словаре Вебстера.

— Ага, в этой игре мьюты выглядят с виду нормально, но внутри у них началась перемена, стали развиваться паранормальные способности. Телепатия там, телекинез,

ясновидение, прочее в этом роде. Потом они начнут меняться и физически, превращаться в эйров и шахтов, салмандеров, тельпов и руслов. Но пока еще нет. Сейчас нормалы численно превосходят мьютов в отношении… ну, скажем двадцать к одному. Потому мьюты вынуждены прятаться, маскироваться, — таким образом они смогут победить нормалов поодиночке. Если надо, они будут убивать, но предпочитают подчинять — в смысле, захватывать разум. Им, понимаете, рабы нужны. Вот они и залезают людям в голову и превращают их в зомби, марионеток на ниточках. А если убивают, то так, чтобы это выглядело как несчастный случай, или ненамеренный смертельный удар в драке, или как нападение бандита, или как самоубийство. Но ничего экстраординарного, ничего такого, что не происходит сотни раз за день. И потому никто не подозревает правды — только мы.

— А чего мы такие особенные? — тут же спрашивает Джилли. — Отчего это только мы знаем правду?

— Ну, Джилли! — Дядя Джимми пожимает плечами. — Мне что, все самому придумывать? Подслушали их разговор, или… — Он затягивается, выдыхает. — Знаешь, это ж без разницы, *откуда* мы знаем; просто *знаем,* и все. Входит в условия игры. Произвольно заданные начальные условия — они в каждой игре есть.

— Все равно не понимаю, что это будет за игра и как нам в нее играть.

— Цель игры простая: определить, кто мутанты.

— Это до меня дошло, дядя Джимми. Только как? Они же с виду нормальные, да? Так как узнавать, кто они, или кто кем управляет? Откуда мне знать, что ты сам не мьют и не зомби?

— А ниоткуда. — Дядя Джимми улыбается так простодушно, будто он и не взрослый совсем. — Это как раз самое интересное.

Джилли закатывает глаза, не сразу соображая.

— Так, давай уточним. Никто больше в убежище в игру играть не будет. И никто не будет знать, что в нее играем мы. Даже не будут знать, что есть какая-то игра.

Дядя Джимми одобрительно кивает.

— Ладно. Теперь допустим, что мы играем, и я почему-то решаю, что вот кто-то — кто угодно — мьют. Как мне это доказать? Никак. Но и вы все не сможете опровергнуть. И даже если мы согласимся, что такой-то и такой-то — мьют, сделать мы все равно ничего не можем.

— Смотри-ка, догадалась!

— Так как же выигрывать?

— А кто сказал, что надо выигрывать?

— Дядя Джимми, в игре должен кто-то выиграть, —

произносит она снисходительно, чуть с презрением. — А то на фига вообще играть?

— Есть куча игр, где никто не выигрывает и не проигрывает. Игр, в которые приходится играть, хочешь ты того или нет.

— Назови хоть одну.

— Пожалуйста. «Мьюты и нормалы».

Джилли качает головой:

— И я должна играть, даже если не хочу? Не думаю.

— Ладно, а жизнь? Нет, не дурацкая настольная игра с таким названием, а вот все вот это, — он обводит рукой. — Просто — жить.

— Жить — это не игра.

— Я бы на твоем месте не был так категоричен.

— Послушай, дядя Джимми, — говорит она, будто объясняет очень тупому инопланетянину, — в игре есть правила, ты согласен? И есть цель. Что-то такое, что надо сделать, или какая-то точка, куда надо добраться. В скрэббле цель — набрать больше всех очков. В шахматах — поставить мат королю противника. В игре есть начало и есть конец. Есть победитель и побежденный. Иногда можно даже целый эпизод переиграть заново! Когда игра кончается, можно сыграть еще раз, а можно отложить и заняться чем-нибудь другим. В жизни ничего такого нет. — Она проглатывает зевок, быстрым кошачьим движением заводит прядки за уши. — Нет, я понимаю, что в каком-то смысле — да, игра. Но на самом деле — нет.

— А я думаю, что твой дядя может чуть больше разбираться в играх, чем ты, Джилли, — говорит Билл, не отрываясь от телевизора. Он как загипнотизированный смотрит на непрестанную пургу помех, где вроде бы движутся зернистые фигуры, размытые, неясные, и так же неясно, что они там делают. — Он, если ты помнишь, ими на жизнь зарабатывает. — Билл мельком смотрит на сводного брата. — Надо отдать тебе должное, Джим: ты единственный из моих знакомых, которому платят за то, что он целыми днями играет в игры. И никогда ты не вырастешь, Питер Пэн на зарплате.

— Некоторые сказали бы то же самое про твое «Ниже Пояса».

— *«Внутри* Пояса».

— Извини, — скалится дядя Джимми. — Но не о том речь. Я в эту версию «мьютов и нормалов» давно уже играю в нашем Голодном Городе. — Так дядя Джимми называет Нью-Йорк — за то, что он тебя обгладывает и выплевывает кости. — Жизнь становится куда как интереснее. У вас бы глаза на лоб полезли, знай вы, каких я мьютов находил на Пятой авеню!

— Псих ты, дядя Джимми! — говорит Джилли уже не в

первый раз и не без нежности.

А Эллен тем временем издевательски улыбается:

— А я прямо сейчас знаю парочку мьютов.

— Ну и заткнись! — отвечают ей в унисон Джилли и Джек.

— А я уже все сказала.

Близнецы укрываются за щитом тлеющего презрения от взрыва смеха за столом. Их взаимопонимание без усилий, которое иногда кажется невозможным им самим, — это как публичная демонстрация чего-то, что должно остаться между ними, нежелательное напоминание другим, насколько те на самом деле одиноки, не имеют якоря в этом мире, никого, кто облегчил бы им бремя всего плохого или улучшил бы все хорошее просто фактом своего существования — без необходимости в словах, прикосновениях, даже взглядах. Их физическое сходство — всего лишь верхушка айсберга, а то, что под поверхностью, людей тревожит, провоцирует, как будто каждый человек в мире — выжившая половинка разделенного целого, миллионы людей с кровавыми ранами, которые они остро ощущают, но не могут ни увидеть, ни вспомнить, откуда эта рана взялась, беспомощные и недоумевающие, как жертвы автокатастрофы без видимых повреждений, слоняющиеся в шоке с внутренним кровотечением. Если бы не смех, их можно было бы и пожалеть. Но смеются всегда: и дома, и в школе. А презрительные шепотки еще во сто крат хуже. Уже много лет Джилли и Джеку ясно, чего хотят другие на самом глубинном уровне — это чтобы они стали такими же инвалидами: убрать все то, что выделяет их, и оставить их такими же, как все — два разных носка в вертящейся бельевой сушилке этого мира, которые могут слипаться как хотят, но никогда не станут настоящей парой.

Отчаянно желая как-нибудь огрызнуться, Джек берет пять букв со своей и Джилли подставки и выкладывает их на доску, приставляя к уже имеющейся букве «E», чтобы получилось слово «insect».[6] Это будет, сейчас посмотрим, одно, два, три, четыре, семь, восемь очков, плюс удвоение слова на букве «i», что дает всего шестнадцать. Будь у них еще одна «S», он бы закончил, и еще второе слово было бы с удвоением, всего тридцать шесть, и тогда они бы вырвались на четыре очка впереди Билла, действующего чемпиона, который, как всегда, без партнера, выиграл первую игру шутя и в этой второй тоже ведет. Ну ладно, думает Джек, шестнадцать очков тоже на дороге не валяются. В конце концов, нас еще рано сбрасывать со счетов.

Или нет? Кресло вдруг резко скрипит, подобно дому, когда Билл, вроде бы не обращавший внимания, наклоняется резко, как атакующая кобра, и выкладывает свои буквы. Еще не видя первую

букву, просто по быстроте игры и из-за одновременного укола отчаяния от Джилли Джек понимает, что сделал глупость.

Естественно, Билл, начиная с буквы «S», выкладывает все буквы со своей подставки под хор стонов одушевленных и неодушевленных. Он не торопится, строит слово задом наперед, щелкая каждой буковкой о доску, и выкладывает «E», «T», «O», «G», «Y», продлевая торжество, пока Джек глядит в душевной муке, ужаленный им же выложенным «инсектом». И потом кладет последнюю букву.

— Черт! — восклицает дядя Джимми. — Три удвоения слова!

Джилли тычет локтем в больную руку Джека — сильно.

— Ты за кого играешь?

— Стоп! — заявляет Эллен. — А вообще есть такое слово?

Билл натягивает идеальную маску игрока в покер: все знают, что он не прочь иногда подсунуть туфту, добиваясь победы блефом с помощью отцовского авторитета и подавляющего словарного запаса, и даже когда на него нажмут, хотя правила его к этому не обязывают, придумывает определения, которые звучат вполне экзотично, чтобы оказаться правдой, иногда даже ею оказываются, и поэтому трудно бывает решить, когда он блефует, а когда заманивает.

— Это требование проверки?

— Брось, Эл, — говорит дядя Джимми, на которого она оборачивается в поисках ответа. — Точно есть такое слово.

— А что оно значит?

— Ну, это… это… — Он водит сигаретой в воздухе. — Что-то вроде какой-то клетки.

— Па?

— Посмотри, Эл. Рядом с тобой лежит отличнейший словарь. Прямо на столе.

Эллен листает словарь, а Джек подсчитывает очки у Билла — пытается подсчитать. Буквы расплываются, будто в глазах слезы. Этого только не хватало, думает он. Вот еще и так опозориться. Он сердито моргает.

— Кажется, сто сорок восемь очков, — говорит Билл. — Тебе бы лучше было поставить «nicest»,[7] Джек, — добавляет он с самой своей козырной улыбкой телеведущего «Внутри Пояса», как будто Джек уже сам этого не сообразил, спасибо, что подсказал.

Зрение, и без того неясное, расплывается еще сильнее. Буквы дрожат, потом доска раздваивается, обе доски наложены друг на друга, как отражения в пруду. Джек трет глаза, пытаясь совместить раздвоенные изображения, сдвинуть их как надо, но без толку. И слов ни на одной доске он рассмотреть не может — они какие-то полусформировавшиеся, нефиксированные,

отдельные буквы всплывают и тут же тонут, будто в каком-то супе из алфавита.

Он поднимает взгляд, вспоминая ту минуту в душе, когда точно так же плыло лицо Джилли. Но мир настолько тверд и един, насколько может быть в сердце урагана. Вроде никто не замечает ничего необычного. Даже Джилли, которая смотрит на него так сердито, что он прячет глаза, не в силах встретиться с ней взглядом, хотя то, что за этим взглядом — отлично воспринимает: ее обвинение и недовольство тычет его, как тот же локоть, только посильнее. Джилли любит проигрывать еще меньше, чем он.

Ничего не изменилось. Доски продолжают все то же неприятное сосуществование, словно ждут, чтобы он выбрал между двумя альтернативными словами или мирами. Дымный воздух будто потяжелел от той неправильности, что превращает сны в кошмары, и некуда деться от искажения его тяжести. Почему никто больше не чувствует, какая тут идет борьба прямо перед глазами? А почему он чувствует? Не то чтобы ему был от этого толк, он ведь не может ни повлиять на происходящее, ни понять… или это последствия удара, которого он не помнит? Подумаешь, великая загадка — башкой треснулся. Может, Джилли права, думает он, и надо бы показаться врачу…

— Нашла, — говорит Эллен, и голос ее становится, как жужжание шершня, когда она произносит незнакомое слово.

Невероятный удар сотрясает дом, и тут же вспышка синего света — как дождь искр из-под колес поезда, ночью слетевшего с рельсов. Сердце у Джека сбивается с ритма, весь дом будто летит вслед за ним, снесенный со свай порывом ветра. Слышен визг Эллен, удивленные восклицания дяди Джимми и отца. Джилли ахает, находит руку Джека и крепко вцепляется пальцами.

Дом погружается во тьму, телевизор гаснет, радио стихает, и голоса людей смолкают, пока чувства бредут после этого события через обломки мгновения, которое тянется целую вечность. Белль рычит громче, свирепее, наползая со всех сторон, пока не лопается пузырь времени, и тогда мир резко возвращается обратно. Тут все говорят сразу, вскакивают на ноги, бросаются к окну, а комната болезненно освещается лучом фонарика, материализовавшегося в руке Билла.

— …за фигня такая?

— Всем спокойно. Вырубился свет, вот и все.

— Слушай, а это как, клево?

— Что «это»?

На той стороне шоссе № 1, всего в двадцати ярдах, на телефонном столбе горит льдистая синяя корона. Это как призрак

в синеватом полусвете урагана, предвестник беды, который в ужастиках и комиксах неизбежно появляется на мачтах обреченных кораблей. Пара искрящихся проводов извивается на пустой дороге электрическими угрями. Джилли сжимает руку Джека, зигзаг ужаса проползает между ними, пока языки пламени на столбе уходят и гаснут, задутые и сбитые ветром и дождем — безумная мать Белль убила собственных детей.

— Пап… — начинает Эллен.

— Ладно, Эл, — обрывает Билл, посветив фонариком ей в глаза. — Будь по-твоему. Едем.

Стон протеста от Джилли.

— Без пререканий. — Билл направляет на нее фонарь, и в оконном стекле отражается такой яркий луч, что Джеку приходится отвернуться. — Только дайте мне пару минут собрать малость еды и припасов. Кто знает, что там есть в убежище, чего нет.

— Я проверю распределительный щит, — вызывается дядя Джимми с той стороны стола. — Проверю, чтобы все было отключено на случай, если снова включится свет, пока нас не будет.

— Не включится. Это полетел трансформатор.

— Проверить не помешает.

Кончик сигареты разгорается ярче и рисует — набросок углем — линию подбородка, затененную впадину щеки. В руке дяди Джимми загорается второй фонарь.

— Эллен, пончо надень. Пойдем посветишь.

Распределительный щит находится на улице.

— Ладно, — отвечает она, направляясь к нему. — Надеюсь только, меня не сдует… ой! — Глухой удар шквала. Что-то — пивная бутылка вроде бы — падает на пол и подпрыгивает с резким пустым звуком, но не разбивается. — Бля!

— Легче! — предупреждает Билл.

Дядя Джимми спрашивает:

— Что там с тобой?

— Вы что, ослепить меня хотите? — спрашивает она в ответ.

Лучи фонариков сошлись, скрестились и ушли в сторону.

— Вот что бывает, если ходить босиком, — замечает Джилли. Сама она босая, но важен принцип.

Джек вносит свой вклад в виде грубого смеха, взмывая на волне отмщения, тем более сладкого, что это чувство разделенное.

— Заткнитесь, уроды!

— А ты нас заставь, — дразнится Джилли.

— Мьюты!

— Нормалка!

— Хватит, — произносит Билл. — Вы мне все надоели. Джек, Джилли, пошли, поможете мне на кухне, пока ваша сестра поможет Джиму.

Пока что помогает сам дядя Джимми: стоя на колене, как рыцарь перед дамой, он ровно держит фонарь, а Эллен, примостившись на краю дивана, рассматривает пальцы на ноге. На один болезненный миг Джек, подойдя к столу, чтобы зажечь свечу, принял лак на ногтях за кровь. Взяв со стола коробку спичек, он вытаскивает одну и зажигает. Поднося пламя к обгорелому фитилю, замечает, что буквы на доске скрэббла сдвинулись. Слова еще можно разобрать, но ни того, что написал Билл, ни поставленного Джеком слова там нет.

А «nicest» — есть.

Значит, Джилли как-то в темноте и неразберихе переставила буквы… хотя как она это сделала так ловко и как могла подумать, что такое явное жульничество не заметят, он себе не представляет. И как бы ни было искусно исполнено мошенничество, скрыто оно совершенно бездарно. Как всегда, Джилли прыгнула не глядя, а ему теперь разгребать последствия. Как всегда.

— Ой!

Джек мотает спичкой в воздухе и роняет ее пылающей кометой. Это вызывает у Эллен предсказуемый смешок, но шутка-то над ней, над ними над всеми. Секунда — и дело сделано. Джек зажигает новую спичку, от нее свечу и проверяет, что буквы перепутаны. Что и должна была сделать Джилли, а не глупостями заниматься.

— Джек, кончай дурака валять, — зовет Билл из кухни. Джилли уже там с ним.

— Иду, — отвечает он.

Но медлит, купаясь в волнах собственного удовлетворения и знания, что Джилли его тоже ощущает, даже еще не зная причины.

Он смотрит, как падает на пол капля расплавленного воска, словно в замедленной съемке, попадая на край доски.

Только это не воск.

У него опять идет кровь из носа.

* * *

Пятнадцатиминутный путь обратно к «Голубятне» — самое долгое, самое мрачное путешествие в жизни Чеглока. Он едва

замечает, что делается вокруг, и все мысли — только о том, что сказал ему Святой Метатель. Его душит стыд. Что скажут Дербник и Кобчик, когда узнают, что он все-таки провалил Испытание? *Родители* что скажут? Как ему показаться теперь в Вафтинге?

Подходя к гостинице, он чувствует себя так, будто провалился не один, а десять раз подряд.

А встречают его звуки из общего зала — веселье в самом разгаре. В таких обстоятельствах Чеглок радуется этому, как удару в зубы. Он спешит пробежать через вестибюль, стараясь не слышать смех, крики, обрывки песен под гитару… Дербник и Кобчик там блистают. Шахт за конторкой просто не замечает его.

— А, юный Чеглок!

Он сжимается от оклика, будто от удара грома. Протирая глаза, собираясь с силами для этой пытки, он оборачивается.

— Ваши друзья интересовались вашей судьбой, — говорит Голубь, вытирая руки о пышный белый передник, спеша через вестибюль. — Блестящие молодые мьюты, эти Дербник и Кобчик.

— Сегодня утром вы так не думали.

— Воодушевленные, это несомненно, — продолжает трактирщик. — Несколько грубоваты, конечно, не отрицаю. Но хорошие, честные эйры в сердце своем. Привели с собой в гостиницу свои пентады — обычай на последний вечер, будь они благословенны. С тех пор пиво течет безостановочно, и серебро тоже. Идите к ним, молодой человек. Веселитесь с ними.

— Мне сейчас не до веселья.

— Ну, что это за разговор! — Яркий гребень Голубя взмывает вверх, сверкают и звенят серебряные цепочки. — Вы поссорились? Сейчас не время лелеять вражду, юный Чеглок. Паломничество — дело неверное. Кто знает, увидитесь ли вы снова?

— Для меня паломничества не будет, мастер Голубь. — Он не намеревался сознаваться в своем позоре, но слово вырвалось. — В этом году.

— Не будет?

Голубь моргает, на изможденном лице — маска недоумения. Даже шахт за конторкой поднимает голову и что-то замечает про себя.

— Это какая-то ошибка, — объясняет Чеглок. — Оказалось, что Испытание я все-таки не прошел.

Лицо у Голубя становится свирепым, хотя голос ласковый, как и рука, ложащаяся Чеглоку на плечо.

— Милый мой мальчик, с чего ты это взял?

— Мне сказал Святой Метатель. После трехкратного вопрошания богов.

Кустистые брови Голубя поднимаются вверх.

— Трехкратного? И что же изволил сказать тебе Его Случайность? Точные слова, если припомнишь.

— Я их отлично помню, такое не забывается, мастер Голубь. Он сказал, что для меня у Врат Паломничества ничего нет.

— И ты предположил…

— Что тут предполагать? Ясно, как день.

— Ясно? Эти Шансом проклятые жрецы своими таинственными замечаниями приносят больше вреда, чем пользы. Похоже, они темнят с каким-то злобным удовольствием. Ты не провалил Испытание, юный Чеглок. Твоя пентада здесь.

Тут уж наступает черед Чеглока разинуть рот.

— Н-но как?..

— Дербник и Кобчик с ними столкнулись у ворот и пригласили их на вечеринку, решив, что ты рано или поздно вернешься. Но не надо верить мне на слово. — Улыбаясь, Голубь показывает на дверь общего зала. — Пойди и убедись сам.

— Он мне сказал вернуться, — лепечет Чеглок, чувствуя, что не то чтобы вышел из дурного сна, а скорее попал в хороший.

— Я как раз об этом. Загадочно почти до полной непонятности. Почему бы хоть иногда не говорить прямо — разве это так уж много?

Но Чеглок уже на полпути в общий зал. Когда он туда врывается, голос Дербника прорезает шум:

— Вундеркинд идет! Чег, сюда!

Зал забит плотно, воздух насыщен ароматами табака и марихуаны. Тучи дыма застилают свет от люменов и свечей. С блуждающей улыбкой Чеглок пробивается к группе столов в глубине зала, где сидят, как короли в окружении двора из всех пяти рас, Дербник и Кобчик. Все глаза не отрываются от Чеглока. Глядя на компанию и гадая, какие лица — из его пентады, он узнает шахта, что влез в спор с той стервой-тельпицей. Этот тип, не снявший свои непроницаемые темные очки даже в дымных сумерках общего зала, столь же удивлен, увидев Чеглока, но быстро приходит в себя и разражается хохотом.

Тем временем Дербник берет на гитаре торжественный аккорд.

— Господа, позвольте представить вам очень запоздалого — то есть очень давнего — нашего друга, Чеглока из Вафтинга!

Среди взрывов смеха, громкого свиста и приветственных криков поднимаются стаканы. Чеглок, вспыхнув, отвешивает клоунский поклон.

— Господа, товарищи мои паломники! — кричит он. — По правилам я, как последний появившийся из своей пентады, должен был бы поставить выпивку всем своим товарищам. Но я не

намереваюсь чтить этот обычай!

Хор возмущенных выкриков и презрительного свиста. Он уклоняется от града арахиса, горящего, как миниатюрные кометы, брошенные руками салмандеров. Дербник и Кобчик смотрят на него как на безумца.

Но пока не успели бросить ничего потяжелее, он шуршит крыльями и делает успокаивающий жест руками.

— Нет, я так, Шанс меня побери, счастлив, что ставлю выпивку *всем!* Да, всем — следующая выпивка за мой счет!

Приветственные клики на весь зал. Чеглока окружают восторженные мьюты, хлопают по спине, суют сигареты и косяки. В руке у него оказывается кружка холодного эля, и Чеглок с наслаждением выпивает ее. Его опоздание будет если не забыто, то прощено, и он уверен, что родители его поймут и, как бы ни ворчали, ему дадут деньги на оплату счета.

Тут до него доходит, что Скопа и Сапсан сейчас чертовски волнуются: они ожидали увидеть его на площади Паломников, и уж наверняка попросили у Дербника и Кобчика объяснений его отсутствия. Он вытягивает шею, стараясь разглядеть их в плавающем дыму, и с облегчением обнаруживает, что их здесь нет. Наверное, друзья успокоили их какой-нибудь убедительной историей, прикрыв ему задницу, как делали несчетное количество раз много лет подряд. Старые добрые друзья Дербник и Кобчик! Крылатые товарищи, лучшие в мире.

Он пробивается к ним, но тут кто-то берет его под локоть и уводит в сторону.

— Наверное, ты куда богаче, чем кажешься, если делаешь такие широкие жесты, друг мой, — говорит шахт, которого он уже узнал.

— Напротив, куда беднее, — усмехается Чеглок своему отражению в темных очках мьюта. Дымная пивная атмосфера общего зала скрывает земляной запах шахта, который Чеглок всегда находил неприятным, но это одна из многих вещей, к которым ему теперь предстоит привыкать. — Однако мне бы следовало рассердиться на тебя, мастер…

— Халцедон, — отвечает шахт с неуклюжим, но вежливым поклоном. — Ну, тогда я просто попал с середины и не знал ситуации, иначе бы что-нибудь сказал.

— Эта зараза тельпица нарочно направила меня не туда, — говорит Чеглок, и гребень у него вспыхивает. — Я так и не добрался до Врат Паломничества. Если бы я…

— Плюнь, — советует Халцедон. — Жизнь коротка. Пойдем к нашей банде.

— Ты из моей пентады?

— Забавно, правда? Меня можно было перышком свалить, извини за выражение, когда я увидел, как ты входишь, и понял, кто ты!

Халцедон подводит его к паре мьютов, сидящих у конца стола Дербника. Друг, занятый разговором с симпатичной блондинкой-тельпицей, подмигивает ему украдкой и поднимает кружку в молчаливом тосте, когда Чеглок проходит мимо. Но тот едва замечает — его взор прикован к такой прекрасной русле, какой он в жизни не видел. Ну, как говорит старая пословица, из всех руслов самая прекрасная та, на которую смотришь сейчас.

— Ее зовут Моряна, — шепчет Халцедон. — Хватит слюни пускать, это невежливо!

Моряна, одетая в безрукавный светло-зеленый костюм для суши, обтягивающий тело как вторая кожа, изящна невероятно, но все руслы такие — с тонкими чертами лица, миндалевидными, кофейно-черными глазами и элегантным сильным телом, покрытым тонкой сетью чешуек, цвет и узор которых переливается в зависимости от внешнего освещения и внутренних эмоций. Из-за этой непрестанной игры цветов на коже говорят, что руслы постоянно танцуют, даже когда сидят неподвижно. Но уж когда двигаются! Видеть русла в движении — в любом движении, от самого мелкого до самого значительного жеста, от самых изящных до самых грубых действий — это значит застыть в ошеломлении восторга. Чеглок не сомневается, что, если бы руслы умели летать, их полет устыдил бы мьютов его породы. В этих движениях — выразительность и спокойствие, выходящее за пределы игры цветов, перелива обтекаемых сильных мышц под чешуей, которая на ощупь нежнее шелка и при этом тверда как сталь. Глядеть на руслов — все равно что глядеть на океан в его бесконечной смене настроений. Единственная не совсем приятная разница, что океан на тебя не смотрит.

А именно это, к неловкости и восторгу Чеглока, делает сейчас Моряна. Вспышка розового с бледно-красным по краям ползет вверх по ее шее, будто в ней, внутри, восходит солнце, и он не может подавить чувство, что именно он — причина этого восхода, свет которого льется из ее глаз и сияет только для него. Хотя, конечно, это не так. Гипнотическое, соблазнительное действие руслов хорошо известно, и Чеглок мог бы, если бы захотел, приложив небольшое усилие, разрушить чары Моряны. Но сейчас он рад погрузиться в ту безусловную приязнь и любовь, которую она будто предлагает. День был тяжелый. И он заслужил немного приветливости и любви.

Рядом с Моряной сидит мужчина-салмандер, курящий косяк толщиной с иглу. Поднявшись на ноги, он протягивает Чеглоку

руку, черную как уголь.

— Феникс. Ничего себе, хорошо ты вошел.

Салмандер улыбается, не выпуская изо рта косяк, и зубы вспыхивают, будто горсть жемчужин бросили в лужицу дегтя, а глаза его, в противоположность глазам Моряны, состоят будто только из склер — два белых опала, плавающих на поверхности лужицы. Из одежды на нем только темно-красные шорты: в Салмандрии, как слыхал Чеглок, все ходят совсем раздетые, что мужчины, что женщины. И шрамы разрезов пылают тускло-оранжевым на темной обнаженной коже.

— Рад познакомиться, Феникс, — говорит Чеглок.

Пожатие салмандера твердое и приятно теплое, кожа сухая, гладкая.

— Этот мужик нам пригодится, — говорит Халцедон. Вытащив сигарету, он зажигает ее простым прикосновением к коже салмандера. — Во-первых, сэкономим на спичках.

Феникс безмятежно мигает за голубоватым облаком дыма.

— Ты уж извини этого шахта, — говорит он Чеглоку. — Столько времени проторчал под землей, что мозги малость спрессовались. Позволь тебе представить нашу руслу — Моряну.

Ее рука поднимается к Чеглоку будто выпуклость невидимой волны, и тот, принимая руку, успевает подумать: «О Шанс, если такова она на суше, какова же она в воде?» Кожа у нее холодная и сухая, совсем не шероховатая — словно змеиная. Но ахает он не от прикосновения, скорее от того, что это прикосновение вызывает в ней, или кажется, что вызывает: алое свечение расходится по ее обнаженной руке горячечным румянцем, который Чеглок не может истолковать иначе, как признание, знак увлеченности. Да, но чьей? Ее игра цветов отражает его эмоции мириадами зеркал-чешуек? Или она демонстрирует собственное желание, свой интерес — или доступность? Руслы, при всей их созерцательной сдержанности, так же безудержно отдают свое тело траху, как и драке… только говорят, что сердце свое они не отдают ни любви, ни ненависти, будто ничего из того, что происходит на суше, их не трогает, и ничто ими не может владеть, кроме моря.

Моряна отнимает руку, и румянец на ней тут же бледнеет, сменяется ленивым дрейфом бледноватых, дымных цветов.

— Это был щедрый жест.

Голос ее звучит без интонаций, гладкий, как чернильная поверхность глаз, ни разу не моргнувших за все время, что она смотрит на Чеглока, впивает его, втягивает в их глубину и одновременно оценивает.

Он пожимает плечами, как он надеется — небрежно. У него

кружится голова, он кажется себе неуклюжим, недомерком. Мысль о близости к этому завлекательному, обманчивому созданию в течение всех месяцев паломничества то ли чудесна, то ли ужасна — он пока еще не может понять.

— Интересно, — продолжает она, — будешь ли ты так же щедр при дележе трофеев нашего приключения, или у тебя возникнет соблазн оставить все себе?

У Чеглока глаза лезут на лоб.

Феникс фыркает:

— Моряна, ты чего? Боишься, что этот эйр не выдаст тебе твоей честной доли сокровища, которое мы пока еще даже не нашли?

Она поворачивается к салмандеру:

— Поступок Чеглока и менее щедр, и более расчетлив, чем кажется. Он надеялся купить наше восхищение и вызвать у нас чувство, что мы у него в долгу, одновременно смягчив неприятный эффект своего опоздания.

— Ладно, брось, Моряна, — звенит голос Халцедона. — Ты нам скажи, что ты думаешь *на самом деле!*

— Постойте! — говорит Чеглок. — Я поставил выпивку всему залу. И значит, я расчетливый эгоист?

— Быть живым — значит быть эгоистом, — отвечает Моряна, будто цитирует писание.

— Что-то я такого не помню в «Книге Шанса», — говорит Чеглок.

— Есть истины, не вписанные в «Книгу Шанса». История и опыт показывают, что каждое действие начинается с эгоистического интереса.

— Может быть, — соглашается Чеглок. — Но не каждое действие им же заканчивается.

— Кто может сказать, чем закончится начавшееся действие? Поскольку исход вещей лежит в царстве вероятности, или шанса, мудрее всего в своих рассуждениях ограничиться тем, что известно или может быть открыто с помощью разума. Я имею в виду мотивы, причины вещей. Только глупцы пытаются предсказать будущее. Кости открывают лишь то, что они открывают.

— А Святые Метатели? Они тоже глупцы?

— Они ничего не предсказывают. Это распространенное заблуждение.

— А что же они тогда делают, когда мечут кости и говорят о том, что будет? — сварливо возражает Халцедон.

— Ты, разумеется, согласишься, что они не говорят *прямо* о том, что будет. Их слова — загадки, на которые отвечает будущее,

а не ответы на загадки будущего.

Чеглок глядит на них: это разговоры почти того сорта, который приводит к ночным визитам Святых Метателей и их карающим бичам, а то и путешествию на Психотерапевтический Факультет Коллегии Виртуального Разума.

— То есть ты считаешь, что у Святых Метателей нет никакого особого знания? — впрямую спрашивает Феникс.

— Помимо того, чему их учили по теологии вероятности и умения толковать выпавшие кости? Да, считаю.

— Так что, они мечут кости, а потом — что? Придумывают что-то? Врут нам?

От кожи салмандера начинает подниматься дым, и Чеглок ощущает заметное повышение внешней температуры. Шагнув назад, он натыкается на кого-то, стоящего прямо за спиной, и бормочет извинения, гадая, не превратится ли сейчас первая встреча его пентады в кабацкую драку.

— Напротив, — отвечает Моряна, и голос ее все также спокоен. — У них в распоряжении есть статистика за сотни лет, подробные записи результатов метания костей по всем категориям вопросов и по всем ситуациям. Когда Святые Метатели говорят нам о будущем, на самом деле они ссылаются на прошлое. По моему опыту, именно к этому знанию они и прислушиваются. В конце концов, что есть история, как не голос Шанса?

— Но, Моряна, — возражает Халцедон, — ведь правда, что я знаком с тобой лишь сегодня с утра — не такая уж древняя история, но даже за этот краткий промежуток от моего внимания не ускользнуло, что ты носишь на себе кости, как все мы. Я даже видел, как ты их метала, решая, возвращаться ли сюда, чтобы ждать Чеглока. Более того, ты послушалась результата метания. Если будущее нельзя предсказать, зачем тогда вообще давать себе труд метать кости, тем более слушать, что они говорят?

Чеглоку кажется, что на лице руслы — одно лишь неподдельное любопытство. Осенние блики оранжевого и желтого танцуют у нее на голове, во впадинах ушных раковин, а она наклоняется, чтобы сама ответить вопросом на вопрос:

— О Шанс, да неужто ты, Халцедон, хочешь мне сказать, будто даже не слышал, что такое *вера?*

За спиной у Чеглока звенит смех.

— Вот тут она тебя прижала, Халц! Никогда не спорь с руслом, без штанов останешься.

Чеглок оборачивается — этот голос ему знаком.

— А, — говорит Феникс, — последний член нашей пентады, Чеглок. Позволь тебе представить…

— Мы старые друзья, — произносит усмехающаяся тельпица с лицом сердечком — та самая, что направила его неверной дорогой. — Меня зовут Полярис. Надеюсь, ты на меня не в обиде?

Не замечая протянутой руки и — насколько это получается — ее владелицы, Чеглок поворачивается к Халцедону:

— Отчего ты меня не предупредил? Уже дважды сегодня ты промолчал, когда следовало говорить.

— Н-ну, я боялся, что ты сделаешь что-нибудь такое… необдуманное, — отвечает шахт, выражая всем своим видом неловкость, насколько способна на это груда оживленных камней в темных тонах. — Мы же теперь пентада, должны друг с другом уживаться.

— Не думаю, — буркает мрачный Чеглок.

— Не дуйся, Чег. — Полярис проводит рукой по ежику черных волос. — Это была шутка!

— Шутка? — Он рассерженно поворачивается к ней. — Из-за тебя я упустил возможность видеть Назначение Имен!

— Назначение уже кончилось, — отмахивается Полярис. — К тому же оно только для деревенщины.

— Это я деревенщина?

Феникс переводит взгляд с него на нее и обратно:

— Это… вот тот, который…

— Тот самый эйр, о котором я вам рассказывала, — говорит Полярис. — Тот, у которого привычка… м-м… *терять*. Сперва завтрак, потом дорогу. Сейчас — смотрите — собирается потерять терпение.

У Чеглока гребень надулся полностью. Ничего ему так не хочется, как стереть эту наглую усмешку с тельповой рожи. Но, какое бы удовлетворение это ни принесло, в итоге он лишь добьется неприятностей со Святыми Метателями.

— Я ничего терять не собираюсь, — говорит он со всем достоинством, которое удается собрать. — Кроме тебя. — И поворачивается, собираясь уходить.

— И куда же ты идешь? — спрашивает Полярис.

— В Совет.

— Дорогу подсказать?

Он устремляется прочь, проталкиваясь сквозь толпу, преследуемый ее смехом… да и не только ее.

— Чеглок, постой!

Это Халцедон. Чеглок не обращает внимания, выходит из общего зала и решительно шагает к входной двери. Но не успевает дойти, как мощная лапа шахта смыкается на его руке и заставляет остановиться. Чеглок пытается вывернуться, но хватка железная. Нет, без псионики не получится. А из-за гасящего поля,

наведенного тельпами Коллегии, психонику здесь не применить. Он беспомощен, как последний нормал.

— Отпусти мою руку, Халцедон.

— Ничего хорошего от похода в Совет не будет, — говорит Халцедон. — Когда назначения сделаны, они окончательны.

— Я подам петицию о переназначении.

— Тебе его не дадут. Личный спор — не основание.

— Тогда я буду действовать через их головы, обращусь прямо к Шансу. У меня такое право есть.

— Да, метнуть кости ты можешь. Но помнишь, какое наказание за проигрыш?

Каждый свободный мьют имеет право обжаловать решение Совета метанием двух двадцатигранных костей. Святые Метатели предоставляют кости и свидетельствуют апелляцию. Успешный бросок костей отменяет решение Совета. Но цена неудачи может быть суровой — от срока принудительных работ до вечного изгнания.

— Посмотри на вещи трезво, Чеглок, — говорит Халцедон, выпустив наконец его руку. — Тебе от нас деваться некуда. И Полярис не такая уж плохая — для тельпицы. Просто ты не с той ноги встал.

— А кто в этом виноват? — спрашивает он. — Я ей не доверяю, да и тебе тоже. Только глупец отдаст свою жизнь в руки тем, кому не доверяет. Я скорее заявлю об отказе, чем шаг сделаю из Врат Паломника в составе этой пентады.

— Тебе решать. Но ты действительно хочешь, чтобы в твоем личном деле была такая запись? Прежде всего, тебе снова придется пройти Испытание, и я слыхал, что к отказникам экзаменаторы особенно суровы. Но допустим, ты его пройдешь и будешь назначен в новую пентаду — как ты думаешь, другие мьюты не будут знать твоей истории? И кто-нибудь когда-нибудь поверит отказнику? Ты бы поверил?

— Когда я объясню…

— Не ври сам себе: никакой разницы не будет. Святые Метатели тебя тут же на карандаш возьмут как потенциального отступника от веры, не говоря уже… сам знаешь, о чем. — Считалось, что лишний раз помянуть Факультет Невидимых — значит накликать беду. — А еще, — продолжал Халцедон, — подумай о других. Ладно, у тебя нет теплых чувств ко мне и к Полярис, но что тебе плохого сделали Феникс и Моряна? Их за что наказывать?

— Я никого не наказываю.

— Сомневаюсь, что Моряна с тобой согласится. Как она сказала? «Каждое действие начинается с эгоистического

интереса».

— И это ты мне читаешь нотации насчет эгоистического интереса! Ты мог нас избавить от кучи хлопот, просто открыв рот, когда Полярис меня послала в другую сторону.

— Знаю, и можешь мне поверить, сожалею об этом.

— Ты трус! — говорит Чеглок.

К его удивлению, шахт кивает бесформенной головой.

— Да, в некоторых отношениях, думаю, я такой. Но вопрос вот в чем: а ты?

— Я — потерпевшая сторона!

— Это не ответ, это увертка.

Ни слова больше не говоря, Халцедон поворачивается и уходит в общий зал.

Чеглок смотрит ему вслед, а потом — раньше, чем Дербник, или Кобчик, или, упаси Шанс, Голубь — успевают его здесь найти, выбегает из дверей гостиницы.

На этот раз он сворачивает налево, а не направо, и память его не подводит. Меньше чем через двадцать минут он выходит на площадь Паломников. Она почти пустынна, хотя всего несколько часов назад была забита, кишела паломниками, их родственниками и друзьями, собравшимися перед массивными дубовыми дверями Врат Паломника. Он так хотел быть в этой толпе, смотреть на парад Святых Метателей из большого казино под кипящий ритм барабанов из кожи нормалов, на длинные ленты цветной бумаги, где записаны назначения пентад, развевающиеся за спиной яркими вымпелами. Он месяцами — да что там, годами мечтал о том, как вознесет свой голос в национальном гимне когда жрецы станут резать вымпелы на короткие ленты по пять имен каждое и прибивать их к дверям.

> Все еще не знаю, чего я ждал.
> Время сходило с ума, миллион мертвецов на улицах…[8]

Сколько раз предвкушал он момент, когда Святые Метатели отступят от ворот, когда гимн подойдет к завершению, и последние ноты утонут в криках радости и оглушительном барабанном бое, а он вместе с другими бросится вперед — искать каждый свое имя. Но этот одинокий миг перед дверями — разве хуже тех мечтаний только потому, что он иной? Зато он — настоящий. Его, Чеглока, отсутствие в толпе было своего рода присутствием в умах тех, кому его здесь не хватало, как присутствие утренней исчезнувшей толпы ощущается им сейчас в нищете ее отсутствия. Тишина и покой площади, нарушаемые

лишь бессмысленным далеким лаем какой-то собаки, стуком колес по булыжной мостовой где-то поодаль да воркованием голубей, разыскивающих крошки на мостовой. Сверкающие цветные ленты бумаги шелестят на дверях, словно трепещущие крылья бабочек на булавках.

Чеглок чувствует, как шевелятся перья гребня, по нервам пробегает дрожь, будто он забрел во внешние энергии антеховского прибора или стоит, открытый электронному глазу вирта… а последнее, вдруг понимает он, на самом деле так, потому что у каждых ворот города есть невидимый страж, наблюдатель, включенный в Сеть Коллегией Виртуального Разума.

Он подходит поискать собственное имя. Должно быть не менее двухсот лент, закрепленных на дверях, то есть тысяча или больше имен. Каждая лента, кроме списка из пяти членов пентады, содержит дату и время отбытия, начиная с раннего утра завтра и дальше круглые сутки пять дней подряд, пока все паломники не уйдут из Мутатис-Мутандис.

Поскольку психонические силы, свойственные каждой из пяти рас, развиваются причудливо: у кого медленно, с перерывами, понемногу, а у кого сразу и без предупреждения, процесс их освоения идет неспешно, с трудом и насыщен опасностями. Бывают несчастные случаи, травмы, смерть. Когда начинают дрожать под ногами Фезерстонские горы, эйры взлетают в воздух, проклиная неуклюжесть юных шахтов, — и точно так же, когда налетает ураган или на землю опускается смерч, ругают юных эйров. Ответственность за наводнения и цунами ложится на перепончатые лапы руслов, салмандеров честят на все корки за сгоревшие леса и вырвавшийся из домашних очагов огонь. А тельпы — эти отвечают за любое мрачное настроение, каприз, да за все, потому что на игровой площадке разума все возможно.

Поэтому молодежь всех пяти рас подрастает среди представителей своего вида. Но как же укрощают они свои силы, чтобы взрослые мьюты объединялись в Содружество? Как исправить зло вынужденной сегрегации?

В возрасте семнадцати лет мьюты со всего Содружества призываются на Площадки Испытания в Мутатис-Мутандис, чтобы продемонстрировать владение своим психоническим искусством. Испытание — трехдневная экзаменационная сессия, настолько ментально и физически тяжелая, что редко когда ее проходят с первой — и даже со второй — попытки больше половины соискателей. Хотя Испытания проводятся раз в квартал, соискателям разрешается проходить их не чаще двух раз в год, всего десять раз. У некоторых на это уходят годы, а немногим

несчастным вообще не удается его пройти. У провалившегося в десятый и последний раз соискателя есть три возможности, определяемые броском двадцатигранной кости: служба, жертва или изгнание. Естественно, тех, кому выпало изгнание, сперва стерилизуют, потому что генетический дефект, помешавший им овладеть своей псионической силой, каков бы он ни был, не должен распространяться, ослабляя пять рас. Изгнанников высылают через Врата Скорби, которые открываются на длинную прямую дорогу прямо в Пустыню, между северной и западной границей Содружества. Слуги (не путать с рабами: те — исключительно нормалы) придаются Святым Метателям для помощи нуждающимся семьям или работы в правительственных учреждениях: в больницах, на фабриках и фермах, в школах, в разных родах войск, на факультетах Коллегии Виртуального Разума, в родильных отделениях, инсеминариях. Слуги пользуются высочайшим уважением, их работу принимают почтительно, с благодарностью, как жертву, предложенную Шансу, дабы склонить его к благу Содружества, как будто вместо возлияния крови — которую им запрещено отдавать, ибо их неспособность пройти Испытание есть доказательство испорченности крови, — они совершают возлияние собственной жизни в медленном и непрестанном кровотечении часов, дней, лет, пока ничего от них не останется. А тех, кому кости выпадут на жертву, тоже почитают служением не менее важным, хотя и более быстрым: посланные в инсеминарии, они служат подопытными кроликами в опытах Святых Метателей, помогая проверить, не оказывают ли вредного воздействия на мьютов новые штаммы разумных вирусов, разработанных против нормалов. Еще они помогают в поисках мифического вируса, который, по предсказаниям Метателей, когда-нибудь вызовет Второе Становление, следующую фазу эволюции мьютов, в которой мьюты получат силы куда более мощные, чем теперь, — силы, которые позволят сокрушить армии Плюрибуса Унума и навсегда истребить нормалов.

Успешные соискатели, называемые паломниками, назначаются в пентады, составленные из представителей всех рас. Пентады уходят в Пустыню, неукрощенную глушь, где зияют незалеченные раны Вирусных Войн, где нормалы, изгнанники, одичавшие мьюты и много всяких тварей куда хуже блуждают по изуродованной местности, прячутся в городах эпохи до Становления, таких огромных, что Многогранный Город рядом с ними карлик. Самый большой из них — Голодный Город, расположенный посередине между Содружеством и страной нормалов. Пентады совершают паломничество в Голодный Город

случайно выбранными путями, которых следует держаться как можно вернее. Из этих путей одни ведут прямо в город, другие петляют. Бывает, что паломничество совершается всего за шесть месяцев, хотя обычно путешествие в Голодный Город и обратно занимает не менее года, а зачастую и дольше. Пустыня не прощает ошибок, как и сам Голодный Город и города поменьше, которые приходится миновать по дороге. Часто пентады возвращаются не в полном составе, а иные не возвращаются вовсе. Но у тех, кто вернется, годы расовых предрассудков и неприязни плавятся в тигле совместно пережитых опасностей и трудностей, триумфов и трагедий, и личности всех пяти рас выковываются в товарищество — и самодостаточное, и являющееся частью большего целого, как пальцы и кисть, кисть и рука, рука и тело. Так поколение за поколением сплетаются народы и расы Содружества.

И здесь чувствуется, насколько велика Пустыня: путешествующие пентады редко встречаются, маршруты проложены так, чтобы свести подобные контакты к минимуму — кроме тех случаев, когда кости указывают на желательность встреч. Конечно, как напомнила Моряна, будущее не фиксировано, и нельзя быть ни в чем уверенным; допустимо, что пути пентад, которые не должны встречаться, порой перекрещиваются, а те, кому такая встреча была назначена, на нее не попадают, и при этом конца света не происходит. Но Чеглок предпочитает оставить теологию вероятностей со всеми ее парадоксами Святым Метателям. И думает, что Моряна в этом смысле тоже права. В конце концов, все упирается в веру.

А, вот оно! Гордость и возбуждение кипят в нем при виде темно-синей полоски с его именем: Чеглок из Вафтинга, вместе с именами всех прочих. А внизу на развевающейся ленте — завтрашнее число и время отправления, сразу после полудня. Надо поспешить и приготовиться к походу, пока не закрылись лавки. И оплатить счет у Голубя. И с родителями попрощаться. Он вздыхает.

Так что? Он все-таки пойдет? Будет ли он вопреки всему стоять здесь завтра с Полярис и всей пентадой, чтобы получить карту с назначенным маршрутом и удостоиться рукопожатия улыбающегося Святого Метателя? Халцедон спросил его, не трус ли он, но Чеглок не может понять, какой образ действий заслуживает этого клейма: дезертировать или остаться. Конечно, это вариант игральной кости. И все же, протягивая руки к сумке из кожи нормала, висящей на поясе, где лежат игральные кубики, вырезанные из кости родившей его матери, он ощущает необычное для себя колебание. Решение метнуть кости

принадлежит ему, но после метания решение будет принадлежать им — точнее, великому и могучему Шансу. Сейчас оба варианта возможны одинаково, у них один потенциал. Но как только кости вылетят из руки, один из этих вариантов — наложенных собственных состояний, говоря на тарабарщине теологии вероятностей, — начнет сжиматься в ничто, а второй расширяться, пока не станет полной реальностью. Об этом как-то неприятно думать, до головокружения неприятно.

В детстве, когда родители или учителя заставляли его метать кости в ситуациях, которые он по той или иной причине не хотел разрешать, Чеглок выдвинул, как все дети, Парадокс Бесконечной Регрессии: вместо того, чтобы просто бросить кости и решить, будет он делать А или Б, он настаивал, что надо бросить кости, чтобы определить, бросать ли кости для выбора между А и Б. Парадокс здесь не столько в единичной итерации, сколько в двери, которая открывалась в бесконечность подобных бросков — и каждый определял, должен ли происходить следующий, а в результате никакого результата не получалось бы.

Чеглок улыбается, вспоминая, как ломал голову над этим понятием, которое вроде бы разбивало малейшие и простейшие выборы повседневной жизни на бесконечное число выборов промежуточных, поменьше, каждый из которых определял свой способ исходного выбора — обстоятельство, которое казалось примерно столь же вероятным, сколь выпадение бесконечного числа шестерок подряд. В детстве он впадал в состояние полной растерянности от осознания того, что когда он об этом думает, нет ничего существующего, действия или мысли, что не влекло бы выбора альтернативных действий или мыслей, и не важно, мечешь ли кости физически или нет — где-то, на каком-то уровне, должна произойти аналогичная операция, чтобы выбрать из альтернатив. Казалось, это значит, что невозможно выполнить вообще любое действие или додумать до конца мысль, потому что для действия или мысли, чтобы они произошли, необходимо сперва совершить бесконечную серию маловероятных действий, причем исход каждого должен быть именно таким, как надо.

Когда выяснилось, что Сапсан и Скопа на эту головоломку ответить не могут, Чеглок пошел в маленькое казино Вафтинга и задал вопрос Святому Метателю гнездилища — древнему эйру по имени Журавль, у которого лицо и шея были так тщательно покрыты узором разрезов, что напоминали роговую кожу шахта. Но вместо того, чтобы разъяснить парадокс, Журавль пустился излагать священные тайны теологии вероятности, сообщая одиннадцатилетнему Чеглоку, что его интерес к подобным вопросам свидетельствует о призвании и что он должен подумать

о пестрой рясе. На самом деле, говорил Журавль, многие мальчики его возраста и моложе слышат зов Шанса и следуют ему. Если Чеглок не уверен в этом (что вполне естественно!), почему не бросить кости, чтобы решить? С облегчением (так он сказал) вложить свою веру в приливы и отливы удачи, слиться с великим потоком Шанса, как перышко, подхваченное ветром! Испугавшись, что Журавль достанет пару костей и заставит его вопросить свое будущее здесь и сейчас — он слыхал, что Святые Метатели мало что оставляют на волю случая, когда речь идет о вербовке, и что специально благословенным костям, которые они используют в этом случае, верить не следует, — Чеглок поспешно отступил…

— Судьбу предсказать, юный паломник?

Чеглок вздрагивает на детский голос за спиной: он так погрузился в собственные мысли и воспоминания, что не услышал, как к нему подошли. Он оборачивается, раздраженный вмешательством, но резкие слова замирают на губах при виде тельпа с двумя головами. Он замирает, разинув рот.

Невообразимое существо невероятно высокого для своей расы роста, хотя и ниже Чеглока. Голый торс, перекрещенный полосами коричневой кожи, непропорционально выпирает, грязные штаны облегают худые, но мускулистые ноги. Две головы — не на одном уровне, а друг над другом, как два цветка на одном стебле. Лицо у верхней — путаница шрамов за клочковатой седой бородой и крысиное гнездо спутанных каштановых колтунов, которые даже на собаке смотрелись бы неуместно. Поперек глаз — матерчатая черная заляпанная повязка. Второе лицо красиво, но лишено выражения, короткие стриженые светлые волосы, гладко выбритые щеки и разные глаза: один — сланцево-серый с булавочным зрачком, другой — янтарный, и зрачок так расширен, что радужка осталась едва заметным кольцом.

Ухмылка, подобная еще одному шраму, перерезает верхнее изуродованное лицо.

— Заплатишь сколько захочешь, — звучит тот же пронзительный голос, исходящий из губ нижнего красивого лица. — Мицар не нищий. Он оказывает ценную услугу.

Создание мигает своими странными глазами, одной рукой тряся красную пластиковую миску, где болтается несколько жалких медных монет.

— В чем дело, мальчик? — говорит тот же голос. — Никогда не видел тельпа-всадника?

Только теперь до Чеглока доходит, что перед ним два отдельных индивида. Один — безрукий, безглазый, безногий и,

кажется, безголосый тельп, одетый в грязную куртку с рукавами то ли приколотыми, то ли пришитыми к бокам, придающую своему носителю нелепый вид бородатого спеленатого младенца, — сидит, привязанный кожаной упряжью к спине другого, нормала, который, очевидно, заменяет тельпу отсутствующие конечности, глаза, даже голос… то есть является физическим продолжением этого тельпа. Чеглоку случалось видеть протезы конечностей, но не протезы *тела.*

— Урод он, правда? — Высокий голос свидетельствует о кастрации от рук Святых Метателей. — Он всегда народ пугает этими глазами. Один из них — антех. Угадаешь какой?

Чеглок качает головой. Он все еще пытается осознать, что это тельп назвал нормала уродом, а не наоборот.

— Ха! Правый. Который как кусок голубого льда. Но ты не бойся, хоть святой Христофор и похож на ездовую собаку, но он не кусается. И Мицар, — нормал хохочет, а тельп одновременно усмехается, оскалив безупречные зубы, — тоже.

Нормал — то есть, думает Чеглок, тельп, действующий через нормала, — еще раз встряхивает миску и добавляет:

— А если кусается, то не сильно.

Чеглоку, прижавшемуся спиной к деревянной створке ворот, дальше отступать некуда. Он неуверенно смеется над шуткой тельпа — он надеется, что это шутка, — копаясь в кармане в поисках монеты, чтобы купить себе бегство от этого психа. Но тут видит — словно звезды, мелькнувшие в промоине туч, — блеск майорских звездочек на грязной куртке тельпа.

— В-вы офицер? — мямлит он, заикаясь.

— Был когда-то. — Тельп — который, как подмечает Чеглок, называет себя и в третьем лице, Мицаром, и в первом, как будто партнерство с нормалом также смущает его, как и Чеглока, — тянет за какие-то невидимые ниточки тела, к которому присоединен физически и психически, ставя его по стойке «смирно», кажущейся издевательством над всем военным. — А что, трудно поверить?

Чеглок краснеет, перебирая в кармане горсть монет. Он думает обо всех ветеранах, которых видел с товарами на улицах, и ему становится стыдно за себя — ну, в основном, за то, что он существует. Стыдно за все это, Шанс его побери, Содружество, если честно сказать. Что изувеченный офицер вынужден побираться на улицах столицы, это невероятный позор… а потому и он, Чеглок, и все прочие стараются так или иначе не замечать этого уродливого факта.

— Вот, — выпаливает он, почти бросая монетки в миску.

Несколько монет летят мимо, звенят по мостовой и

раскатываются в разные стороны, одна стукает по мозолистой босой ноге нормала, который ее совсем не замечает, продолжая смотреть на Чеглока с видимой разумностью рыбы-групера.

— Извините!

Совсем уже сгорая от стыда, он наклоняется подобрать монеты.

— Я тебе говорил, — звучит безмятежный голос над его головой. — Мицар не нищий. И ты прав, это позор.

Чеглок поднимается и аккуратно кладет монеты в миску, заставляя себя глядеть на тельпа, а не на нормала.

— Не следует вам так читать мои мысли, — выговаривает он, стараясь придать себе уверенность. — Это противозаконно.

— Как и многое другое, — пищит нормал, и снова безупречные зубы Мицара вспыхивают в уродливом разрезе усмешки, больше похожей на оскал. — Если Коллегия захочет меня наказать, они знают, где найти меня со святым Христофором.

— Святой… это так нормалы зовут своих жрецов?

— Некоторые.

— Странно, что так зовут раба.

— Совсем не странно. Ты не читал Священную Трилогию?

— Мы ее в школе проходили, но на самом деле я ее не читал. — Чеглок не знает никого, кто ее прочел бы. Не то чтобы эти тексты — сакральные тексты религии нормалов, Церкви Троицы — были запрещены. Но в Вафтинге по крайней мере Журавль не поощрял их изучения, и преподаватели Сети, лекторы-тельпы с разных факультетов Коллегии, тоже в этот предмет не углублялись. — А зачем? Это же все суеверия и ложь.

— О враге многое можно узнать, изучая его ложь — особенно ту, что он говорит сам.

— Я знаю про нормалов все, что мне нужно.

— Тогда ты, несомненно, мудрый. Но из страниц этой Трилогии я узнал историю святого Христофора — принца, который носил на плечах младенца, ипостась их трехликого бога. Вот так и мой верный конь когда-то был принцем, сводным братом самого Плюрибуса Унума. Среди нормалов у знати вполне в обычае жертвовать глазом или конечностью, чтобы получить антех-протез. Не знаю, сможешь ли ты поверить, но такое варварское увечье служит у них объектом восхищения и актом благочестивой преданности.

— Они безумны.

— Да, но от этого они не становятся менее опасными. Например, глазной имплантат святого Христофора служит еще и органом доступа в Сеть, и мощным лазером. Несомненно, тебе

интересно, как я получил свои раны, но ты эйр и слишком вежлив, чтобы спросить. Я тебе расскажу. Они получены в битве — битве с этим нормалом и его слишком уж буквально испепеляющим взглядом. Я его победил, хотя той ценой, которую ты видишь, и мои войска взяли его в плен. Когда стало ясно, что я от ран не умру, как бы ни были они ужасны, Совет, по обычаю, преподнес мне его в награду за победу, как замену того, что я утратил. И теперь Мицар, как трехликий бог, ездит на плечах принца! Как же мне было назвать его, как не святым Христофором?

Мицар скалится в хриплом смешке, звук которого издает нормал, и Чеглок видит почерневший обрубок плоти, похожий на язык попугая, там, где должен был быть язык тельпа.

— Я теперь его бог. Он Мицара почитает, Мицара страшится. Бог нормалов — это, как ты говоришь, ложь, миф. А Мицар — реален, и гнев его — тоже.

На Чеглока снова накатывает тошнота, его одолевает стыд, хотя теперь по-другому.

— А он… он помнит, кем был?

— Когда Мицар на нем сидит, святой Христофор знает только то, что я разрешаю ему знать, и ощущает лишь то, что я разрешаю ощущать. Но когда Мицар отдыхает, святой Христофор помнит. Я его тогда держу к себе поближе, чтобы слышать его слезы и стоны. Нет для меня музыки слаще.

И тут же святой Христофор начинает плакать. Ни звука не слетает с его губ, не меняется безмятежное выражение лица, но вдруг из глаз начинают литься слезы — и те, что текут из антехового шара, неотличимы от тех, что текут из настоящего. Потом, без предупреждения и тем более без причины, нормал начинает смеяться, и залитое слезами лицо озаряется яркой, безыскусной радостью.

Чеглок отшатывается, будто безумие святого Христофора может перекинуться на него. До него начинает доходить, насколько сильна и непонятна раса тельпов на самом деле. Псионические способности Мицара не просто компенсируют ему отсутствующие конечности и глаза, они это все делают несущественным. Эйр без крыльев — инвалид навеки; например, бедняга Голубь: хоть ветра и погода все еще отвечают на его псионический призыв, изувеченное крыло лишает его радости полета. Даже если он своей силой подымет себя в воздух, никогда он не сможет парить с той грацией, которую давали крылья, этот полет будет всего лишь жалкой пародией. Но тельп может лишиться рук и ног, стать глухим, немым и слепым — и это никак не скажется на его силе. Тельп с целым мозгом — по-прежнему

тельп. Чувства и тела нормалов полностью в распоряжении Мицара, и он может использовать их как пожелает, снимая и надевая, словно одежду, и еще он в отличие от Голубя может снова сделать себя целым в Сети, когда только захочет: Чеглок готов спорить, что вирт этого тельпа не отражает его теперешнего физического состояния, но является идеальной версией того, каким он был до своей дорого доставшейся победы над святым Христофором.

— Тебе не нравится твоя пентада, — говорит святой Христофор писклявым голосом. Слезы перестают течь, восторженное выражение сходит с лица, хотя от влаги вид у него оглушенный и расстроенный, как у жертвы несчастного случая в состоянии шока. — Ты не знаешь, можешь ли им доверять. И думаешь, не следует ли тебе отказаться.

Чеглок заставляет себя перевести глаза с раба на хозяина, но он не может решить, что более неприятно: разные глаза первого или черная повязка на глазах второго.

— Вы читаете мои мысли!

— Не надо уметь читать мысли, чтобы понять, что могло привести юного эйра на площадь Паломников, когда назначения давно уже сделаны. Думаешь, ты первый сюда приходишь в сомнениях и дурных предчувствиях?

Чеглок хмурится: это уже слишком личное.

— Послушайте…

— Мицар не забыл, — прерывает его нормал. — Он сейчас предскажет тебе судьбу.

— Не беспокойтесь, — отвечает Чеглок. — Я в эту ерунду не верю.

— Правда? — Святой Христофор еще раз встряхивает миску. — Тогда возьми обратно свои деньги.

— Оставьте себе.

— Мицар не нищий! — запальчиво заявляет нормал. — Он — предприниматель, оказывающий ценные услуги за гонорар. В милостыне он не нуждается и ее не принимает.

Чеглок вздыхает, признавая поражение.

— Ладно, давайте.

— Мне нужна какая-то личная вещь.

— Чего?

— Вещь, принадлежащая тебе, такое, что ты носишь в карманах или в сумке, например. Я тебе ее верну, не беспокойся.

— А вы не будете бросать кости?

— Ну, перестань, — фыркает святой Христофор, будто его обвинили в наглом шарлатанстве, и губы Мицара кривятся в улыбке. — Этим пусть занимаются Святые Метатели. Но если

хочешь, мне твои костяные кубики подойдут.

Чеглок не хочет. Он вовсе не собирается вручать драгоценные кости Мицару и его «верному коню». Он шарит по карманам: какая-то мелочь, коробка спичек, что-то скомканное… вытаскивает платок Полярис. Кровь уже засохла пятнами чайного цвета.

— Ага! — восклицает святой Христофор.

— Это всего лишь платок.

У тельпа раздуваются ноздри.

— На нем кровь, — замечает нормал. — Твоя?

Чеглок смотрит на одного, на другого, начиная беспокоиться.

— Да, но…

— Подойдет.

Святой Христофор выхватывает платок, подносит к носу и тщательно втягивает воздух, будто наслаждается ароматом розы. Потом, к удивлению Чеглока, опускает тряпку к губам и трогает пятна кончиком языка, словно ребенок, проверяющий вкус или температуру незнакомой еды. Все это время из глубины глотки Мицара доносится тихое немелодичное гудение, а голова с повязкой на глазах качается взад-вперед под какой-то ритм, слышный только Мицару.

Пользуясь возможностью повнимательнее рассмотреть тельпа, Чеглок поражается, видя точные узоры разрезов под спутанной бородой и боевыми шрамами. Каждая из шестидесяти четырех сутур «Книги Шанса» имеет свой узор разрезов, и эти узоры становятся все более изощренными, включая линии своих предшественников, от простого горизонтального разреза Сутуры Первой, «Горизонт», до сложных арабесок Сутуры Шестьдесят Четвертой, «Столкновение Облачных Залов», в котором содержатся все предыдущие узоры. Каждый вечер в ритуале отдачи крови мьюты старше двенадцати лет мечут кости, определяя, какая сутура составит текст вечерней молитвы и где у себя на теле будут одновременно нанесены соответствующие разрезы листом нож-травы. Раны заживают за ночь, спасибо селкомам, доставшимся в наследство от Вирусных Войн, и наутро остается новый узор шрамов. Когда мьют выполняет ритуал в одиночку, для сложных узоров предписываются упрощенные версии, а недоступные для самого владельца зоны тела исключаются. Таким образом, может быть выполнена даже высшая сутура, если она выпадет. Из этого правила есть только два исключения. Первое — так как любой тельп может быть в любую минуту вызван на Факультет Невидимости и направлен в Империю Истинных Людей как шпион или убийца, у тельпов этих красноречивых шрамов нет (кроме тех случаев, когда тельп

надевает пеструю рясу и уходит в Святые Метатели), хотя тельпы знают боль и радостное облегчение отдачи крови, практикуя ритуал в Сети над своими виртуализованными сущностями, а нервы их нетронутых тел из плоти и крови поют напряжением и радостью легкого холодного поцелуя воображаемых листьев ножтравы. И во-вторых, только Святые Метатели наносят разрезы на кожу шеи и головы — обычным мьютам запрещено все, что выше плеч, а Святым Метателям — все, что ниже плеч. Безволосые изрезанные головы старых Святых Метателей больше всего напоминают панцирь насекомого, и потому их называют — правда, за глаза — «жуками».

И выходит, эти шрамы означают, что Мицар был не просто офицером, но жрецом. Святые Метатели служат в вооруженных силах, но они не принимают активного участия в битве и не становятся офицерами — так рассуждает Чеглок, — а значит, Мицар должен был оставить жречество перед тем, как стал офицером. Сделал он это по своей воле, или пеструю рясу с него сорвали за то или иное нарушение, Чеглоку не узнать, а спрашивать он не собирается. Но презрительный отказ тельпа бросить кости для предсказания будущего заставляет думать, что его расставание с жречеством не было мирным. А это наводит на мысль, не приложил ли тут руку Факультет Невидимых. Почти ничего не зная наверняка о Невидимых, легко поверить во что угодно.

Но Чеглока не тянет об этом спрашивать, даже наедине с собственными мыслями… если такое уединение вообще существует: насколько он понимает, Мицар прямо сейчас подслушивает его мысли. Тельп не выказывает большого уважения к закону, а уж тем более — страха, быть может, исходя из теории, что терять ему нечего. Хотя наверняка у него можно забрать святого Христофора.

Тем временем нормал, закончив обнюхивать платок Чеглока, рассматривает его под разными углами, вертя в руке так и этак, как портной оценивает лоскут ткани. Чеглок замечает с тошнотворным ужасом, который всегда испытывает в присутствии антеха, что зрачок ледяного синего глаза быстро расширяется и сужается, потом диафрагма замирает на микросекунду на определенном диаметре, потом на другом, еще на другом, и переходы происходят без какой-либо заметной системы. Мицар продолжает мотать головой в ритме, не имеющем ничего общего с его немелодичным гудением. Чеглок невольно задумывается, не станет ли это очередной злобной шуткой вроде той, что сыграла с ним Полярис; у него такое чувство, будто он стоит голый на посмешище всему городу. Но, хотя некоторые прохожие бросают в

его сторону любопытные взгляды, никто не останавливается и не подходит посмотреть поближе и уж тем более никто не смеется и не отпускает замечаний. До него доходит, что даже такое зрелище, которое собрало бы толпу в Вафтинге, для Многогранного Города ничем не примечательно. Вопреки присутствию огромного количества народа, для стольких глаз он здесь почти невидим.

И наконец — как ребенок, которому надоела игрушка, — святой Христофор поднимает глаза от окровавленного платка.

В антеховом глазу нормала не читается первичное узнавание, которым живые существа объявляют друг другу о своем существовании и подтверждают его для себя. Он холоден и мертв, будто цветное стекло. И даже живой глаз похож на матовый желтый шарик. И все же, напоминает себе Чеглок, из этих глаз смотрит на него Мицар, как сквозь ясные хрустальные окна. Вот тебе и невидимость, думает он.

— Кровь была твоя, но платок не твой, — вспыхивают зубы Мицара, когда раздается голос нормала, радостно-хитрый. — Мицара тебе так просто не обдурить!

— Я не пытался обдурить Мицара, — отвечает Чеглок, бессознательно подхватывая привычку тельпа называть его в третьем лице.

— Владелец платка — женщина? Да или нет?

Чеглок кивает:

— Она…

Святой Христофор поднимает руку, все еще держащую платок.

— Мицару ничего говорить не надо, он тебе сам расскажет. Теперь: эта женщина — твоя возлюбленная? Да или нет?

— О Шанс, нет! Она…

— Молчание! Не сейчас, быть может, но в будущем? Ваши судьбы переплетены, кровь связывает тебя с этой женщиной… тельпицей, если я не обманываюсь; членом твоей пентады? Не отвечай!

Чеглок с трудом сдерживает слова. Если Мицар не хочет слышать ответов, не надо, Шанс его подери, задавать столько вопросов!

— Ты не дезертируешь, юный паломник, но ведь ты и так это знаешь? Знаешь. Завтра утром ты выйдешь из этих ворот со своей пентадой и пойдешь с ней к Голодному Городу. Но придут туда не все, кто выйдет. Ты не доверяешь своей пентаде, и здесь интуиция тебя не обманывает. Будет предательство, будет вероломство. Прольются слезы, прольется кровь. Но не отчаивайся, я вижу…

— Стоп, — перебивает Чеглок. — Что значит «предательство»?

— Этого я сказать не могу.

— Не можешь или не хочешь?

Мицар и святой Христофор зловеще улыбаются в унисон, и Чеглок впервые ощущает псионическое прикосновение тельпа, быстрое и мощное, как опытный удар клинка убийцы. Он не успевает и слова сказать, а виртуализация уже завершена. Чеглок крепко зажат в ментальных тисках Мицара, тело его застыло там, где стоит, разум тащат в Сеть, это царство кошмара, созданное нормалами, и переход туда внушает ненависть и страх всем мьютам, кроме тельпов.

* * *

— Джек! Слышь, Джек?

В ухе — шепчущий голос Джилли.

— Чего? — шепчет он, поворачиваясь к ней лицом в полумраке старого гимнастического зала, где они лежат в спальных мешках бок о бок на краю поля из сдвинутых гимнастических матов, занимающих четверть зала. Маты жесткие и твердые, а пахнут так, будто впитали до последней капли весь пот, пролитый поколениями учеников в гимнастике и борьбе. На расстоянии всего в несколько дюймов Джек видит лишь неясные очертания лица Джилли. Ее дыхание пахнет молоком и ванильными вафлями — приятное разнообразие в атмосфере запаха матов и соседей по убежищу, не говоря уже о мерзком тумане табачного дыма, висящего в жарком и влажном воздухе.

— Не могу заснуть.

— Я тоже.

— Жалко, что дома не остались.

— Мне тоже.

— Тут воняет хуже, чем я думала.

— А то!

— Вонища… ой! Прекрати!

— Сама прекрати!

Каскад щипков и тычков затихает — слишком жарко. Вокруг — звуки, издаваемые спящими или теми, кто пытается уснуть. Храп всех тональностей, вздохи, стоны, кашель, чмоканье губами, беспокойное шевеление конечностей, и даже пуки, раздающиеся время от времени, давно уже не так смешны, как были сначала. Кое-где слышно гудение разговоров, тихое бормотание, переползающее с места на место — как жужжание пчел в саду.

Когда они, набившись впятером в «тойоту», приехали к зданию школы, лучшие места уже были заняты. Дорога тянулась часы, дни, века. Билл отвоевывал у ветра и машины каждый дюйм, пальцы его побелели, вцепляясь в руль, окна заливал дождь, не оставляя даже сухой точки. Это было, думал Джек, будто ехать по дну океана. Он бы не удивился, увидев косяк рыб, проплывающих мимо окна, а одинокая машина, попавшаяся навстречу, куда больше походила на субмарину, чем на какой-либо наземный или надводный экипаж, — плыла, словно «Наутилус», в размытом желтом нимбе собственных фар, а вокруг, в непрозрачности воды, извивающиеся руки деревьев вдоль дороги, казалось, целенаправленно двигались подобно шарящим щупальцам гигантского спрута… нет, чего-то еще большего, какой-то твари, выросшей в непостижимом размере ледяного, абсолютного, всесокрушающего мрака морского дна.

Зато когда они ворвались через двойные двери в кондиционированный воздух гимнастического зала, промокшие до костей, несмотря на пончо, после финального раунда эпической борьбы с водоворотом на стоянке, их хотя бы встретило электричество. Ловя ртом воздух, отряхиваясь, они застыли, оглушенные ощущаемым на висцеральном уровне отсутствием урагана, а к ним все поворачивали головы, привлеченные театральным появлением. Прозвучало несколько приветственных возгласов на бормочущем фоне приемников и плееров, приглушенных будто из уважения к великой какофонии Белль. Потом подбежала хлопотливая женщина с сухими полотенцами и одеялами, и снова зазвучали голоса, утешительные своей обыденностью.

Под безрадостным сиянием верхнего света вид серых матов, забросанных полотенцами, одеялами, спальными мешками, игрушками, складными стульями и кулерами, как будто звездолет «Энтерпрайз» втащил внутрь общественный пляж, был не слишком заманчив и гостеприимен, уж точно не для глаз Дунов, презиравших непринужденную близость таких вот больших компаний, привыкших к открытым пространствам Мидлсекс-бич, «только для членов клуба». И даже здесь они разложили бы полотенца как можно дальше от всех других, но им пришлось довольствоваться тем, что осталось, втискивая спальные мешки и все прочее барахло на песчаную полоску серых матов между двумя веселыми семействами, белым и черным, чуть сдвинувшими свои бивуаки, чтобы освободить место опоздавшим.

— Ничто так не способствует расовой гармонии, как небольшое стихийное бедствие, — заметил Билл через минуту в раздевалке для мальчиков.

— Ага, — сказал дядя Джимми, подмигнув Джеку. — Расизму — бой! Сбросим на него бомбу!

Потом, когда все переоделись в сухое, Билл и дядя Джимми пробрались к импровизированному бару, торгующему под управлением местного «Лайонз-клаб», предоставив детей самим себе.

Дальше были часы мучительного веселья, когда самозваные затейники, не теряя времени, затянули Джека и Джилли в бесконечную череду тупых игр — «пойте с нами» и еще какие-то соревнования в искусствах и ремеслах, — продолжавшихся по нарастающей, пока Белль наконец-то не удосужилась вырубить электричество. В школе был свой аварийный генератор, но его использовали по минимуму из-за дефицита топлива, и отдельные лампы в длинных коридорах рассеивали мрак длинными бледными эллипсами, а в зале от них было еще меньше проку — как от далеких звезд под высоким потолком.

Возраст Эллен дал ей ведущую позицию в игровой группе Джека и Джилли, и уж удовольствие, которое она получила, играя старшую, было усилено кучей возможностей для мелкой мести — разбитый палец на ноге не был забыт ни на минуту, как, впрочем, и тысяча других уколов. Все это она постоянно оттачивала на оселке памяти для таких случаев: арсенал ножей без рукояти, ранивших ее саму, когда она за них бралась, — отчего она лишь крепче стискивала свое оружие с ревностностью мученицы, как будто, проливая собственную кровь, зарабатывала моральное право пролить чужую. И неудивительно, что Джек и Джилли тут же послушались, когда Билл велел им идти спать после прошедшего под хриплые голоса ужина, в который каждый внес, что было — ужин в складчину, постапокалиптический День Благодарения с сыром и крекерами, печеньем, чипсами, солеными крендельками, морковными палочками, сливами, персиками и бананами, сочными помидорами, копченым мясом, жареными цыплятами, домашними яблочными пирогами, кексиками и пирожными, и все это предварялось молитвой священника Первой Баптистской Церкви в Бетани — он назвал Белль бичом Божиим, коий Всемогущий ниспослал в наказание грешной пастве своей, уклоняющейся от путей праведных. Дядя Джимми закатывал глаза, слушая, как этот человек наваривает пожертвования на заезжей знаменитости — Белль.

Но это было уже давно. Билл, дядя Джимми и Эллен (эту воображалу на время сочли взрослой — вроде как повышение в звании в боевых условиях) еще не пришли. Они на той стороне зала, где кучкуется человек пятнадцать — ядро вечеринки, вдохновленной Белль, те, кто решил ее пересидеть. Джек слышит

возбужденные голоса и взрывы смеха, басовое гудение отцовского голоса, берущего верх, как в передаче «Внутри Пояса», когда он сбрасывает свою летаргическую маску, другие голоса громко — некоторые пьяно — поют под рокот гитары, а музыка струится из магнитофонов самая разная: от госпела и кантри до диско и рок-н-ролла, и разнобой звуков странно сливается и сворачивается в похожем на грот помещении с высоким потолком, превращаясь в какого-то невиданного музыкального мутанта, в музыку, способную переменить мир. И если закрыть глаза и слушать внимательно, отключившись от музыки и голоса Джилли, то можно представить, что слышишь эхо прежних игр в баскетбол и воодушевляющие выкрики болельщиков, звуки, вечными призраками порхающие в зале: резкий скрип кроссовок по сосновым доскам пола, разноголосицу ритмических выкриков, слова, заглушаемые согласным топотом сидящих болельщиков. Он сам будто падает, проваливается в темноту более глубокую и более одинокую, чем сон. Потом его бьет дрожь, глаза резко раскрываются, сердце колотит по ребрам.

— Эй, — шепчет Джилли, и до него доходит, что она давно уже что-то говорит, хотя он ни слова не может вспомнить.

— Боже мой, — выдыхает он на спаде адреналина, еще не до конца вернувшись. Мерцающие и ровные лампы за силуэтом Джилли и над ним где-то в милях от него, как огни города за холмами на той стороне темной широкой реки. Это место ему знакомо, он бывал там раньше, ходил по улицам, заглядывал в дома, говорил с горожанами, и название прямо на языке… и оно лопается, как пузырь, оставляя вкус и знакомый, и таинственный в пространстве его отсутствия. Опечаленный потерей и бесплодным желанием, Джек тщетно пытается удержать неверную память.

— Эй! — Уже резче, с тычком жесткого пальца в левую руку — там, где рана. — Ты слушаешь или нет?

— Ой! Джилли, перестань!

— Ты спишь, когда я с тобой говорю! — Как будто обвинила в глубочайшем предательстве.

— Я не спал.

— Ага, не спал он!

— Ребята, тихо там! — ворчит мужской голос из темноты неподалеку, сопровождаемый хором «тсс!».

— Пошли, — говорит Джилли, не обращая внимания.

— Куда?

Но она уже на ногах, пробирается к краю матов.

— Погоди…

Джек встает и идет за ней, споткнувшись разок, когда

задевает босой ногой то ли корешок книги, то ли резиновую подошву перевернутого кроссовка, и догоняет Джилли посреди зала. Здесь тоже темно, так что лица ее не видно, только глаза блестят.

— Папа нас снова спать отправит.

— Для начала пусть поймает. А теперь заткнись, уходим отсюда.

— Эй, а ты про Белль не забыла?

— Не будь дураком. Мы же не наружу, в ураган. Из зала выходим.

Презрение хлещет, словно плетью, и он краснеет. Укол тем болезненнее, что темнота здесь не слишком густая и не может скрыть от Джилли его стыд. Да и нет такой темноты, что могла бы.

— Что с тобой такое, Джилли? Ты меня весь вечер достаешь… — Вдруг до него доходит. — Это же из-за игры в скрэббл! Ты до сих пор на меня дуешься.

— С чего бы это?

— Ты считаешь, что мы из-за меня проиграли.

— Мы не проиграли, просто не закончили игру.

— Потому-то ты и переставила буквы! Будто бы папа не заметил!

— Я ничего не трогала.

— Ладно, Джилли, я сам видел.

— Ты видел, чтобы я переставляла буквы?

— Нет… но когда я подошел зажечь свечу, на доске было другое слово.

— Ну, так это не я. Ты сидел все время рядом со мной, Джек. Ты бы увидел.

Что было бы отличным алиби, даже если бы он ей не верил. Но он знает, что она говорит правду: в отношении Джилли у него есть встроенный детектор лжи.

— Кто тогда? Ведь не Эллен же…

— А почему бы и нет? Вполне шуточка в ее стиле. Даже не чтобы выиграть, просто чтобы на нас свалить, чтобы нас обозвали жуликами.

— Ну да, но ведь я и рядом с ней сидел.

— Тогда дядя Джимми. Или папа. Какая тебе разница?

Разница есть. Он чувствует, что это почему-то важно.

— Но…

— Да плюнь ты на эту глупую игру! Тут есть занятия и получше. Раз уж мы застряли в этой дурацкой школе, давай поразвлечемся. Поразведываем.

Джек соображает, что он был куда более сонный, чем думал

сам, раз эта мысль не пришла ему в голову. Но сейчас он уже проснулся окончательно, энергия и возбуждение Джилли передаются ему, текут в него по какому-то там шоссе № 1 его собственных чувств и ощущений, которое ведет к ней, к Джилли.

— Ладно, — говорит он. — Можем поиграть в «Мьютов и нормалов»!

— Ага, как же! — отвечает Джилли. — Только мьютов здесь ни одного нет.

— Тогда будем играть просто в нормалов.

Оба смеются, гармония между ними восстановлена, и они пробираются через зал к дверям, самым далеким от пирующих. Если их остановят, всегда можно будет сказать, что собрались в туалет. Но никто их не окликает, даже когда они открывают дверь с таким скрипом, что невозможно не услышать. Они застывают посреди розоватого отсвета знака «ВЫХОД», будто два беглых преступника в свете фонаря. Потом выходят и тихо закрывают за собой дверь.

Но они еще не в безопасности. В болезненном свете аварийных лампочек на них с разной степенью интереса смотрят другие беженцы: маленькие группки людей, устроившись неровными кругами на полу, пьют и курят под гулкие напевы «Rumours» Флитвуда Мака. Уж точно не в стиле Билла публика, скорее сцена для дяди Джимми. Или, если присмотреться, то для Эл, потому что с виду народ ее возраста. Джек и Джилли напрягаются: трудно сказать, как группа юнцов будет реагировать в такой ситуации — да и в любой ситуации вообще. Решат они, что Джеки Джилли — незваные гости, которых надо проучить, или сопляки еще, которые что есть, что нет? К счастью, на сей раз юнцы выбирают второе и отводят пристальные взгляды.

— Держи, — шепчет Джилли, протягивая ему фонарик. Другой у нее в руке.

Джек знает, что она думает: в игре, которую они затеяли, есть опасности. И последствия не менее реальные оттого, что их не предвидели. Они колеблются, молча решая, пойти налево, направо или прямо по широкому коридору, уставленному вдоль стен шкафчиками. Потом, придя к своему обычному внутреннему соглашению, выбирают длинный коридор прямо перед собой, ступая по следу из хлебных крошек — цепочке аварийных ламп, по пыльным плиткам, гладким и прохладным под босыми ногами. Фонарики они не включают по общему невысказанному решению, не желая беспокоить парочки, прижимающиеся к стенам и шкафчикам в темных промежутках между лампами. Эти парочки покачиваются в дуновении вздохов и стонов, исходящих словно бы не от них, будто Белль прорвалась в школу, расталкивая

плечом молекулы, чтобы появиться здесь, измотанная усилием, и ее прикосновение нежно, как ласка. Невозможно разглядеть лица или отдельные тела, парочки прижаты так плотно, что они как концентрация теней, сливающихся в неизвестные пока формы, вплавляющихся друг в друга, в стены, в шкафчики… или, думает Джек, возникающие из них горгульи, выползающие, как бабочки из коконов бетона и стали.

Вскоре они доходят до лестницы наверх. Они шагают через две ступеньки, стремясь оставить позади первый этаж и начать настоящее приключение. Наверху, в слабом свете они останавливаются.

— Ух ты! — выдыхает Джилли. — Ты только послушай!

Шум зала здесь не отвлекает, и напевы Флитвуда Мака стали дальше, так что оставшиеся звуки принадлежат Белль. В них нет ничего мирного, будто дракон пробивается внутрь когтями и вопит от жажды крови, голода и ярости. Чудо, что крышу еще не сорвало и не выбило окна. Но и без того чувствуется, как трясется здание, слышны стонущие протесты балок и стропил, напряженных до предела… больше, чем до предела.

Средняя школа «Лорд Балтимор» была всегда. Она выдержала свою долю штормов за многие годы, и некоторые были куда хуже Белль, если верить старожилам — которым, конечно, можно верить не всегда. Но даже если они говорят правду, это не значит, что школа выдержит и эту бурю. На самом деле, как думает Джек, это делает такой исход *менее* вероятным. Естественно, каждое буйство стихии ослабляло школу, и теперь она подобна крепости, стены которой, неприступные для каждого отдельного штурма, в конце концов рушатся от накопившегося износа после всех успешных оборон.

Луч фонаря Джилли копьем втыкается в какой-то серый шкафчик, пробегает по ряду аналогичных шкафов и закрытым дверям классов в коридоре, таким же, как внизу — только здесь они одни. Она подходит к ближайшей двери, пробует ручку — заперто.

— Вот собака!

— Смотри, чтоб не цапнула.

Они разделяются: Джек берет на себя правую сторону коридора, Джилли — левую, и проверяют двери по очереди.

Все происходит очень быстро — поворачивается ручка, дверь распахивается внутрь, сердце Джека подскакивает к горлу, и он застывает безмолвно на пороге душной темноты, в которой с одинаковым успехом может быть и гробница мумии, и классная комната. Потом, светя фонариком, но все еще не входя, будто опасаясь проклятия, зовет:

— Джилли! А здесь откры…

— Так чего ты ждешь? Приглашения? — Она проскальзывает мимо него.

Он идет за ней, плотно прикрывая дверь. Ему стыдно за свое колебание, и он злится на ее презрительный выговор, не за факт, а за форму. Это одно из любимых выражений Билла, его фирменное, используемое с равным энтузиазмом и с одинаковым уничтожающим эффектом и дома, и в передаче «Внутри Пояса».

В классе пахнет влажным и пыльным тлением, напоминающим насосную под пляжным домом, где среди всякой прочей дребедени лежат старые номера «Вашингтон пост» и «Вашингтон стар», ожидающие сдачи в утиль, зеленые пластиковые мешки с мусором, разорванные и рассыпающиеся, изобилие ненужных бумаг и вещей, из которых дети выросли, распадающиеся под действием мощной комбинации влаги, соленого воздуха и гнездовых привычек полевых мышей. Там же держит Билл свои журналистские статьи и блокноты в аккуратно надписанных картонных коробках (материалы к роману-бестселлеру, который он когда-нибудь напишет), а среди них распределены неведомо для него запасы сигарет, свистнутых Джеком и Джилли у дяди Джимми, плюс еще пара биковских зажигалок того же происхождения.

— Что, жутковато?

Фонарик Джилли пляшет по рядам пустых парт, белым стенам, украшенным картой мира в проекции Меркатора, периодической системой элементов, овальными портретами президентов от Джорджа Вашингтона до Джимми Картера в порядке следования, вокабулами из словарей, записанными крупными закругленными буквами, вырезанными из цветной бумаги, и прочими до тошноты знакомыми предметами классных комнат, чье существование подрывает дух Джека и Джилли, возвращает к реальности сильнее, чем даже тот грубый факт, что летняя отсрочка заканчивается и уже клацает поршнями следующий школьный год. До момента «Ч» остается месяц, отсчет пошел, время движется неотвратимо, хотя часы на стене остановились на четверти восьмого.

— Как будто посреди урока все исчезли, — говорит Джек. — Пуф — и нет. Растворились в воздухе.

Полустертые слова и цифры на доске полны какого-то призрачного, темного значения, как «Кроатан», нацарапанный на бревнах стен колонии Роанок. Эффект добавляют отпечатки рук в меловой пыли, будто плавающие в воздухе, эфирные, как эктоплазма.

— Наверное, их забрали мьюты, — говорит Джилли.

— Я думаю, мьютов здесь не было.

— Ну тогда нейтронная бомба. Ладно, забудь Вирусные Войны: может, мьюты возникли из нейтронной радиации. Знаешь, как Неимоверный Халк!

Джек тут же пользуется возможностью радостно отплатить:

— Халк — это гамма-лучи, Джилли. Так что обломись.

— Ладно, придира — Нейтронная Дева.

— А такой не бывает!

— Еще как бывает!

— Да? И что она умеет?

— Она делает так, что глупенькие маленькие братики просто исчезают!

— Я тебе не маленький братик, черт тебя побери!

Джек терпеть не может, когда она его так называет — только потому, что вылезла на пару жалких минут раньше.

Джилли смеется. Как бы там ни было, а эти жалкие минуты никуда не денутся. И ей достаточно только напомнить про них или намекнуть на обстоятельства их рождения, как все между ними меняется, и невозможно игнорировать эту семиминутную разницу: неудобный, мерзкий, какой-то невежливый факт, как те пропавшие минуты на Уотергейтских лентах, которые даже Билл, стойкий защитник Никсона до самого его печального конца, не может оправдать или объяснить (к большому ехидному удовольствию Пегги — брак тогда уже держался на глиняных ногах, и импичмент в доме Дунов стал синонимом развода). Или, думает Джек, это как какое-то психическое умение из «Мьютов и нормалов», которое добавляет бонус плюс семь в ментальный щит и силу атаки. У него нет такого умения достаточно сильного, чтобы компенсировать ее мощь, и они оба это знают.

Джилли уже возле учительского стола, лазает по ящикам. Джек оставляет ее за этим занятием и подходит к доске. Куски мела выложены вдоль посеребренной полочки, как кости пальцев учеников, сожранных каким-то огром-учителем в последний школьный день — слишком в буквальном смысле последний.

Джек берет с полки тряпку и протирает середину доски. После некоторых размышлений выбирает кусок мела и, держа в левой руке фонарь, пишет с краю положенную набок цифру «восемь», в каждый из кружков помещая букву «J». А внизу пишет дату: 14.08.77. Потом отходит посмотреть на свою работу. Что-то его не устраивает, не хватает чего-то, но чего — он не знает.

— Класс, — доносится до него голос Джилли, и тень Джека раздувается, растягивается, движется подоске, как живая.

Он оборачивается, пригибается, уходя от луча фонарика.

— Нашла в столе что-нибудь?

— А вот дай мне мел!

Джек, отводя глаза от света, чувствует, как мел вынимают у него из пальцев. Потом она проходит мимо, ее тень заглатывает его тень, а он за ней идет к доске. Она начинает писать большими буквами справа от символа бесконечности, мел выстукивает по доске что-то азбукой Морзе и дважды пронзительно скрипит, отчего Джек вздрагивает до самых босых пяток, пальцы ног скребут по плиткам пола. Джилли загораживает, ему не видно, что она пишет, пока она не отступает в сторону, светя фонарем туда же, куда и он.

— Вот им!

На доске написано:

СМЕРТЬ НОРМАЛАМ!

Джек восхищенно смеется: снова Джилли его переплюнула, закончив то, что он начал, да так, как он даже не думал и не воображал. Отлично, думает он, да только…

— Постой, Джилли. Так мы что, мьюты?

— А кто хочет быть скучным старым нормалом? Я подумала над тем, что дядя Джимми говорил еще дома, и поняла, что все эти люди там, в зале — нормалы. Черт побери, Джек, наша Эллен — нормалка! Она не хочет ею быть, притворяется, что не такая, да не тут-то было! Как только до меня это дошло, я поняла, кем хочу быть я.

— Точно! Нормалы — отстой! — Он не понимает, как сам раньше не допер. И тут до него доходит: — Эй, а знаешь, что? Наверное, дядя Джимми — тоже мьют!

— А как же еще? — удивляется Джилли. — Эта игра — тест. Не для того, чтобы нормалы догадались, кто здесь мьюты — это чтобы ты понял, что ты сам — мьют! И что мьюты — это вещь.

— Ух ты! А мы-то все время играли за нормалов. То есть в той, другой игре, с костями, клетчатой бумагой и прочей ерундой.

— Ты не допер, Джек? Это ж та же самая игра.

— То есть? Ты хочешь сказать, что мы на самом деле мьюты?

Джилли закатывает глаза.

— Это же… как это называется… метафора, да? Просто такой взгляд на вещи.

— Ладно, пусть метафора. — Он кивает. — Я знаешь что тебе скажу, Джилли? В следующий раз, как играть будем, я буду мьютом.

— И я. Пошли, Джек, бери мел. Надо распространить лозунг. Смерть нормалам!

— Смерть нормалам!

Смеясь, они вываливаются в коридор и дальше ищут открытые классы, а найдя, заходят внутрь, чтобы нарисовать символ и лозунг — полупредупреждение, полувосклицание — прямо на доске. В коридорах они уже не одни: несколько раз видят чужие фонарики и слышат голоса, эхо бегущих ног. Они прокрадываются мимо лестниц, где из стигийского мрака поднимаются вверх едкие дымы марихуаны — наркотика, который они часто чуяли (особенно здесь, на берегу), но ни разу не пробовали. Но любопытство подталкивает. Они слыхали рассказы учеников и пропаганду учителей и достаточно сообразительны, чтобы понять: правда где-то посередине. Но где точно? Это-то они и хотят выяснить. Дядя Джимми курит травку по выходным ночью на верхней террасе пляжного дома, когда дети уже спят (как он думает). Иногда к нему приходит Эллен, и это более всего прочего подталкивает Джека и Джилли спереть у него косяк и попробовать самим: невыносимо знать, что старшей сестре доступен опыт, которого нет у них. Это почти физическая мука — лежать по койкам, Джилли на верхней, Джек на нижней, и вдыхать проникающий в открытое окно запах, хотя дядя Джимми ставит электрический вентилятор, чтобы гнал дым прочь из дому. С напряженным вниманием слушают они тихий рокот голосов на крыше, тщетно пытаясь разобрать слова и предложения сквозь белый шум летящих мимо машин и всепоглощающую колыбельную океана. Пока что они столь же безуспешно пытаются вынюхать тайный склад дяди Джимми. С сигаретами просто, пачки он бросает где попало и не следит за ними, а вот травку прячет аккуратно и от улик избавляется так тщательно, что наутро даже пепла не остается. Излишней такую осторожность назвать нельзя: найди их Билл или Пегги, дядя Джимми будет изгнан из пляжного дома навечно.

Наконец приходит момент, который они все это время ждали: открывая дверь в класс, они до потери пульса пугаются ослепительного удара лучом фонаря в глаза, как пощечины. Панический визг застигнутых врасплох, потом рычание, как из логова тролля: «Мотайте отсюда к трепаной матери!» Они выполняют это указание незамедлительно, захлопывают дверь и несутся по коридору, обнимая друг друга за плечи и трясясь от смеха. Свернув за угол, они тормозят около следующей двери класса. Джилли пробует ручку прежде, чем Джек успевает сказать хоть слово; дверь открывается, и Джилли затаскивает брата внутрь.

— Ты что-нибудь видела? — спрашивает он с придыханием, когда она закрывает дверь.

— Нет, а ты?

— Не-а. Но перепугался до чертиков!

— Ага, и я!

— Черт, надо было постучать!

— «Я просить извинения, тут какой-то шуры-муры происходить?»

И они снова закатываются истерическим хохотом в ответ на слово, найденное в зачитанной до дыр «Уловке-22»; хорошо забитые книжные полки пляжного дома давно служили им исследовательской библиотекой в изучении страшноватой и притягательной загадки секса, поспособствовав знакомству с такими авторами, как Д. Х. Лоуренс, Генри Миллер, Филипп Рот и Джон Апдайк, обычно и прорабатываемыми двенадцатилетними подростками.

Все еще хихикая, они пробираются к доске, чтобы выполнить свою миссию. Но не успевают они начать, как Джек ощущает вдруг какое-то «ой», которое озаряет их двоих иногда, непредсказуемо. Он замирает, покрываясь гусиной кожей — ощущения такие, будто он наступил на провод под током. Голова кружится.

— Ой, — говорит Джилли, тоже это ощутившая. — Мурашки по всей шкуре.

— Прятаться надо, — решает Джек. — Быстро!

На горьком опыте оба знают, что когда доходит до таких озарений, нет времени задавать вопросы или пытаться понять, в чем дело. Предупреждение дается максимум за несколько секунд. Обычно один из них — тот, кто не будет затронут случившимся, — ощущает отчетливые покалывания, вроде как ток бежит по позвоночнику, но иногда дело впрямую касается сразу обоих, и тогда — вот как сейчас — ощущение возникает и у Джека, и у Джилл, и усиливается какой-то парапсихической петлей обратной связи. Это не то чтобы больно, но и удовольствием тоже не назовешь.

Джилли действует первой. Она оттаскивает стул от учительского стола, выключает фонарь и тащит Джека на пол.

— Сюда, — шипит она.

Под столом хватает места как раз для них двоих — пусть и без комфорта, прижав колени к груди. Они вползают туда, Джек подтягивает стул на место, выключает фонарь. Кругом непроницаемая тьма, насыщенная запахом пыли, старого дерева и книг, будто они втиснулись в библиотеку размером с ореховую скорлупу. Где-то вдалеке завывает Белль, приглушенная тяжелой шторой да стуком сердец, бьющихся в унисон. Скорчившись, Джек и Джилли затихают, едва смея дышать.

Ручка поворачивается с металлическим щелчком, от которого

Джек, хоть и ожидал того, вздрагивает. Шлепают по полу босые ноги, будто спеша и таясь. Внутренний сигнал тревоги у Джилли и Джека уже отключился, что было бы облегчением, если б не сменивший тревогу напряженный страх быть застуканными. Девчоночье хихиканье, чей-то голос говорит: «шшш!» — потом дверь плотно закрывается. Под край стола заглядывает луч фонарика, и Джек сжимается, хотя знает, что это не их ищут: тот, кто держит фонарь, просто на скорую руку обшаривает класс, как только что делал сам Джек. Он ощущает что-то вроде дежа-вю, но по-другому, какое-то странное чувство, будто это вошли он и Джилли, только какие-то ранние их версии, и сейчас повторят все их действия, как в первый раз. Когда Джилли берет его за руку, он с благодарностью жмет ей руку в ответ.

Шаги приближаются к столу, останавливаются. Скрипит столешница — кто-то на нее уселся. По другую сторону стола вразнобой стучат пятки.

— Чего ты ждешь? — спрашивает голос — голос Эллен. — Приглашения?

— Разве ты не знаешь, что терпение — добродетель? — смеется в ответ дядя Джимми.

— На хрен твою добродетель! И вообще я была терпелива.

— Это ты называешь терпением? Да ты ж слюни пускаешь!

— Грубо. И неправда.

— Я создал монстра, — говорит он в стиле Бориса Карлова.

Стук пяток становится интенсивнее.

— Дядя Джимми!

Молчание. И вдруг — запах горящей травки. Потом слышен глубокий вдох и слова:

— Вот оно, детка.

— Хорош косячок.

Какое-то время разговоров не слышно, только глубокие вдохи и выдохи, когда ходит из рук в руки косяк. Джек и Джилли жмут друг другу руки в отчаянных попытках не захихикать. Это бесценная находка — скрытая информация, которой они смогут мучить чудовище Элленштейн, и самое приятное, что ей за миллион лет не догадаться, откуда они знают. Она осатанеет от злости. Надо только дождаться, пока Эллен и дядя Джимми докурят и уйдут обратно в зал.

— Эй, что это ты делаешь… с ума сошла?

— Нет, просто жарко.

— Надень немедленно! Сюда могут войти.

— А мне плевать, пусть входят.

— О Господи, что в тебя вступило?

— Пока еще ничего.

— Прав я был, я создал монстра.

— Не знаю, в чем тут дело — шторм, эта школа…

— Пиво. Эллен, ты пьяна.

— И что?

— Ты свихнулась. Мы же договорились: делаем это только дома, когда никого нет. Забыла?

— Я здесь никого не вижу, а ты? Эй! Выходите! Кто не спрятался, я не виноват! — Она смеется. — И вообще ты первый начал.

— Что-то мне помнится иначе!

— Да нет, глупый, я про этот раз. Когда полез щит смотреть под домом. Да брось, дядя Джимми! Заканчивай, чего начал. Ты же сам хочешь.

— Слишком рискованно. И у меня с собой ничего нет.

— У меня есть, — Она опять смеется. — Видишь, я обо всем позаботилась.

— Боже мой… — Голос у него изменился, что-то из него ушло — авторитет, должно быть, или контроль над ситуацией. — Только надо будет быстро.

— Ну, *не слишком* быстро…

Стол скрипит — это Эллен изменила положение. Джеку уже не надо подавлять хихиканье: веселья как не бывало, как и других чувств, задутых, словно пламя свечи порывом ветра. Он знает, что Джилли сжимает его руку, но скорее осознает рассудком, чем чувствует — как факт, существующий независимо от знания о нем, вроде как биение сердца, работа легких, сила тяжести, которая не дает улететь кувырком с планеты. Тело онемело, словно от новокаина. Стол потрескивает — и снова потрескивает в ритме, перемежаемом другими звуками: тихими животными стонами, произнесенными без дыхания словами, все это приближается к кульминации столь же очевидной, сколь непостижимой. Движения проходят через дерево и входят в Джека, как будто он тоже движется, и это как-то не удивляет — все еще держится странное ощущение дежа-вю, будто это то, что он прочел в одной из тех книг, которые они с Джилли так тщательно прорабатывали. Какие-то моменты поведения между дядей Джимми и Эллен, которые он раньше будто и не замечал — переглядки, прерванные разговоры, локти, колени, случайно соприкасающиеся руки, когда они сидели или стояли, — все это всплывает в памяти, и значение их настолько ясно, что он не может понять, как не догадывался до сих пор, с самого приезда дяди Джимми. «А до того сколько? — думает он. — Еще прошлым летом?»

Он вздрагивает от резкого металлического стука, и Джилли

тоже, но их вздох тонет во взрыве голосов.

— Господи, что за черт?

— Тс-с! Это просто фонарик, мы его спихнули.

— Ох ты, я уж думал, это *дверь*…

— Брось, дядя Джимми!

Упавший фонарик лежит возле ножки стола. Хотя он смотрит в другую сторону, край светового конуса заходит чуть под стол, и Джек видит контуры своих и Джилли ног, будто тонкие стволы, за которыми они укрылись, чтобы шпионить за полночной встречей. Снова слышно потрескивание, и это напоминает Джеку, как трещал и стонал пляжный дом, пока они не уехали — неверные матросы, бросившие корабль при первой же беде. Ему стыдно, как будто это какое-то страшное предательство.

Стол шевелится, пихая его в спину и подталкивая вперед на долю дюйма. Фонарик катится следом, останавливаясь у ножки стола, только уже под другим углом, заливая больше пространства. Джеку видно лицо сестры — Джилли смотрит на него, но будто не видит. Она смотрит как бы сквозь него, сквозь стол, разглядывая в рентгеновских лучах то, что происходит сверху. Глаза ее блестят, как черные шарики, губы слегка раздвинуты, ноздри раздуваются с каждым вдохом, напоминая бабочку, шевелящую крыльями. Влага стекает по коже каплями, как испарина на золотой маске. Джек уже видел такое алчное выражение лица, это хищное внимание. И снова, как в душевой под домом, черты лица Джилли расплываются, дробятся в калейдоскопическом митозе, рождающем вторую призрачную маску. Джек не знает, будет ли продолжаться этот процесс, даже ускоряться, умножаясь и выходя из-под контроля, как какой-то перцептуальный рак, пока не станет слишком много экземпляров, чтобы воспринимать, пока он в ней не утонет — но процесс останавливается. Два лица сестры парят перед ним, почти, но не совсем накладываясь друг на друга — так бывает, когда художник рисует выражение одного и того же лица через разные интервалы времени. Что он видит? Сердце панически трепещет, и он вспоминает, как летел к берегу на гребне гигантской волны, словно молния, пущенная кулаком Зевса. Она смотрела на него тогда с тем же голодным восторгом, захваченная зрелищем, но не удивленная, будто хотела, чтобы это случилось. Он вспоминает, как потерял ее из виду, когда волна ударила его, утянула вниз, больше чем помнит, как тело крутило и тащило по океанскому дну, словно схваченное челюстями акулы, только чтобы выбросить на поверхность далеко от нее и от берега, в мире разгневанной воды. И снова утащить вниз, в безвоздушное забытье, и еще тащило вниз понимание, что она знала все

наперед, еще до того, как он вошел в воду. Может быть, не в точности, но достаточно, чтобы предупредить его. Чтобы удержать на берегу, а не подзуживать. Потому что она ощутила приближение Эллен и дяди Джимми, ощутила точно так же, как и он.

А потом он открыл глаза и увидел, что лежит на берегу, и Джилли стоит над ним на коленях. Что тогда случилось? Почему он не утонул? Его выбросила на берег счастливая волна? Или проплывавший дельфин сжалился и вытолкнул на мелководье, откуда его выудила Джилли? Да, он про такое читал…

А наверху судорожный вскрик перешел в двойной стон. Стол содрогается — и становится тихо.

…Только Джилли видела что-то другое. Как она говорит, он успел зайти всего по пояс, и его накрыло волной. И что самое странное: Джек тоже это помнит. Он помнит и то, и другое: как он рухнул с гребня одной волны, и как его сбила с ног другая. Но правдой может быть лишь одно.

Если только, думает он, не было правдой и то, и это.

В гору бегом

Джек ерзает в пляжном кресле, глубже закапывая ноги в песок, и смотрит вдаль на сверкающий синий океан. Поверхность его кротка, как в плавательном бассейне, до самого горизонта. Группы детей и подростков играют у самого берега, плещутся и смеются, а чуть подальше люди дрейфуют на жарком солнышке на надувных плотах, пара дюймов в одну сторону, пара дюймов в другую, будто на якоре стоят. Среди них Эллен и дядя Джимми, плавают на плотиках рядом, она лежит навзничь, прикрыв глаза сгибом руки, он лицом вниз, и будто не замечают друг друга, даже когда зыбь сталкивает плотики.

Джеку трудно поверить, что мир так мог измениться всего за одну ночь. Вчера в это время Белль закрывала солнце и хлестала океан, как бешеного коня; этот океан проглотил Джека и потом выплюнул, словно Иону из чрева кита. Сейчас небо прозрачное и до звона голубое, а единственные облака — инверсионные следы высоко летящих самолетов, серебристые тела которых сверкают далекими зеркалами на солнце, беззвучные, как спутники на орбите. Тонкие белые линии, которые они рисуют на меловой доске воздуха, напоминают Джеку рекламные лозунги в небе, слова, написанные такими большими буквами, что надо подняться в космос, чтобы их прочесть.

Мир живет так, будто ничего не изменилось. Каникулы продолжаются с того места, на котором остановились. Медленные рекламные самолеты все так же тащат свои перетяжки по воздуху, гудя на север над собственными рябящими тенями.

— Джек! — кричит Джилли за десять ярдов от него, стоя в воде по бедра, упираясь кулачками в бока над неоново-зелеными трусиками купальника, и в ее усмешке ясно читается вызов. — Пошли купаться! — Темные волосы гладко зачесаны назад, бронзовая кожа блестит на солнце капающими бриллиантами, и похожа она на морскую деву, подплывшую полюбоваться чудесами и ужасами земной тверди. — Пошли, вода отличная!

Он качает головой:

— Не знаю. Может, позже.

Она смотрит на него с преувеличенным скептицизмом, закатывает глаза, потом поворачивается и ныряет с извилистой грацией дельфинов, которых иногда здесь видят плывущими вдоль берега — их появление всегда вызывает вопли восторга и восхищения даже у самых закоренелых пляжников. Джек видит вспышку яркой зелени, прощальный всплеск ног с подошвами белыми, как изнанка раковин, и Джилли исчезает. Или, точнее,

он ее больше не видит, но ощущает гладкое скольжение ее раздражения и разочарования под переливающейся поверхностью воды; оно тянет его, словно поводок, пытается утащить вслед за нею. В такой жаркий день, как этот, или в любой другой день, он уже был бы там, и тянуть его надо было бы, лишь чтобы вытащить из воды, но никак не затащить. Только не сегодня.

Честно говоря, он боится туда лезть. Память о том, как он еле выбрался, слишком свежа, и левая рука болит сильнее, чем вчера. Даже когда он кладет ее на пластиковый подлокотник кресла, глубоко в кости ощущается неприятная пульсация, а любое неожиданное боковое движение вызывает такой укол боли, что слезы выступают на глазах. Спокойствие океана не обманывает его ни на миг, и он не может избавиться от уверенности, что под этой безмятежной голубой гладью его что-то ждет, потому что он помнит, как отдельную подробность почти уже забытого сна, огромные силуэты, которые сияли в неосвещенной глубине с яркостью негатива, сосредоточение тьмы, сливающееся в новый тип материи, бесконечно плотной и одновременно бесконечно податливой. Или, быть может, то, что он видел — или воображал, что видит — было единой формой, столь огромной, что он не мог воспринять ее иначе, как множественность. Но чем бы это ни было — одним предметом или многими, — в нем, Джек чувствовал, обитает разум, внимание которого он каким-то образом привлек и который его не забудет никогда, до конца времен. Это идиотизм, он сам знает. Вот он сидит тут и предается паранойе по поводу какой-то полузабытой галлюцинации. Джилли смеялась бы до одури, если бы узнала, не говоря о том, как бы реагировала Эллен. Он уже заработал презрение только тем, что не пошел в воду. Но ему плевать, что они думают. Ни за что он туда не полезет.

И он все еще не понимает, как спасся в тот раз. Это тайна посерьезнее, и беспокоит она его сильнее. Не потому, что он не может вспомнить… хотя на самом деле он *не помнит* какую-то часть: что-то такое все же произошло, помимо галлюцинации, в промежутке между его последним четким воспоминанием об уходе под воду и всплытии и моментом, когда он лежал на берегу, а над ним стояла Джилли и тревожно звала его под грохот ветра и прибоя. Скорее всего дело в том, что он *помнит*, что Джилли ему твердила: он не добрался так далеко, чтобы ехать на волне, а был сбит с ног и затянут под волну. У него два четких воспоминания о событиях, противоречащих друг другу, и простая логика, как и все, что он знает об этом мире, подсказывает, что истинным может быть только одно. Но Джек в отличие от Джилли не фанат логики: у него всегда было чувство, что мир припас

одну-две карты в рукаве. И прошлой ночью было предъявлено весомое тому доказательство — кому доказательства нужны.

И потом, дело не только в этом. Будь все так просто, он списал бы это на удар головой о дно, на кислородное голодание: Джилли говорит, что он пробыл под водой минуту, пока она его не вытащила. Но ведь была еще игра в скрэббл. Джек знает, что сложил слово «insect», подставив Биллу выигрышную комбинацию с удвоениями слов, но когда погасло электричество, он снова посмотрел на доску и увидел слово «nicest». Джилли говорит, что буквы не переставляла, и он ей верит. И теперь, подумав, знает, что ни у Эллен, ни у кого другого не хватило бы времени сделать эту перестановку так, чтобы никто не видел, даже в суматохе из-за вспыхнувшего трансформатора на той стороне шоссе № 1. Так что же случилось?

Теория, возникшая у него, настолько странна и тревожна, что он даже с Джилли ею не поделился. Она бы сказала, что он тронулся, — и, если честно, он не уверен, что так уж ошиблась бы. Но, следуя изречению Шерлока Холмса (чьи приключения они с Джилли проглотили прошлой осенью, валяясь в постелях с ветрянкой): исключите все невозможное, и то, что останется, будет правдой, какой бы невероятной она ни казалась. Хотя в данном случае скорее наоборот: когда исключишь все вероятное и невероятное, проходит время рассматривать невозможное.

Что, если он и ехал на волне, и не ехал на ней? Что, если он поставил и «insect», и «nicest»?

Что, если в жизни все-таки есть возможность переиграть эпизод?

Загвоздка в том, что никто другой этого не заметил, даже Джилли. Он пытался ее осторожно расспросить и выяснил, что она помнит только одно из каждой пары событий — лучшее. Она помнит волну, валявшую его на мелководье, а не ту, на которой он катался — гору движущейся воды, сбросившую его вниз и утащившую в море. И не помнит, как озверела, когда поставленный им «insect» дал Биллу возможность оторваться в игре на недосягаемую дистанцию. Насколько она помнит, он поставил «nicest», и у Билла не было времени выложить ни единой буквы, потому что сгоревший трансформатор оборвал игру, и все сквозь ураган помчались в убежище, где и провели ночь. Еще более странно, что Джек не просто помнит каждую пару событий — события в паре вспоминаются одновременно, а не последовательно, как будто они шли параллельно в том же пространстве и времени, будто два фильма, спроецированные на один экран, или две альтернативные сцены одного фильма, как вот видел он два варианта доски для скрэббла, наложенные друг

на друга… и точно такое же дезориентированное двойное зрение было у него в душе, когда глядел он в лицо Джилли, и там, в классе.

Но вот это правило — как у Джилли выбирается, что она помнит и что нет, подсказывает Джеку, что сцены лишь кажутся одновременными, а на самом деле расположены во времени последовательно: сначала из двух событий происходит самое ужасное, а потом идет корректировка, уже не столь суровая… *для него.*

В том-то и загадка, момент, в который он не может заставить себя поверить, но не может и отмести: то, что в центре — он. Как будто для того, чтобы исправить жизнь Джека Дуна, Господь Бог переводил назад стрелки часов всей вселенной не однажды, но дважды, причем во второй раз по такому мелкому поводу, как неудачный ход в скрэббле — хотя, конечно, тогда Джек так был расстроен и зол, что едва не заплакал от унижения. Почему-то Джек сомневается, что Богу настолько не все равно, что он устроил этакую космическую переигровку. Он собственного сына оставил висеть на кресте. В мире каждую минуту происходят миллионы будничных трагедий и зверств, а Всемогущий пальцем не шевельнет, чтобы их прекратить. Войны, убийства, ураганы, потопы… все это Он допускает, и вдруг выступает со сшитым на заказ чудом, когда Джек делает ошибку и пишет в скрэббле не то слово? Ничего себе спасительный бросок! Нет, Бог — в допущении, что такая сущность действительно есть, поскольку Джек промучился слишком много воскресных служб, чтобы сильно в этом не усомниться, — ко всему этому отношения не имеет. Это можно считать точно установленным. Тогда кто?

Ответ очевиден: никто, кроме него самого. Он, Джек Дун, два раза вернул время назад, чтобы дать себе вторую попытку. Вот почему только он каждый раз помнит оба события: первое, которое произошло раньше, и переигровку, когда он его заменил. Для Джилли и всех остальных первая история будто вообще не случилась, для них существует лишь единая, непрерывная реальность — плавно текущая река событий. И только Джек знает правду.

Но как ему это удалось?

А вот это уже не столь очевидно. Сперва он подумал, что тут дело вот какое: чего-то очень сильно хочешь, фокусируешься на каком-то предмете или действии, и тогда результат получается просто усилием воли. Это звучит уже как-то осмысленнее: в конце концов, именно так действовала сила Зеленого Фонаря. Все утро, еще даже до выхода из убежища, он проверял эту теорию, дошел даже до того, что повторял про себя волнующие строки из клятвы

Хала Джордана о борьбе с преступлениями: «При свете дня, в черную ночь, ни одно преступление не избежит моего взора…», при этом (не замечая юмора положения) крепко зажмуриваясь и изо всей силы сосредоточиваясь на какой-нибудь мелочи, чтобы изменить ее мощью своего разума. Единственным результатом стала головная боль. Сейчас хочется только закрыть глаза, и пусть солнышко его гладит, прогоняя боль…

— Эй!

Он встряхивается от плеснувшей на грудь воды, открывает глаза.

Джилли вернулась, стоит почти рядом, а он даже не слышал, как она подошла. Она наклоняется, упираясь руками в колени, и мотает головой из стороны в сторону, отряхиваясь, как мокрая собака. От этого Джека еще раз обдает холодным дождем.

— Джилли, перестань! — Он выворачивается из кресла, а она смеется.

Подбоченившись, расставив тощие ноги, она блестит каплями воды, глядя на него сверкающими насмешливыми глазами. И волосы блестят, как темная тюленья шкура.

— Как рука?

— Вроде бы в порядке.

Она поворачивается, делает шаг и наклоняется, чтобы подобрать с песка полотенце. Энергично его встряхивает и начинает яростно растираться. Когда она заканчивает, волосы у нее торчат шипами, как у панка. Уже не так энергично она заворачивает в полотенце плечи и торс, потом сбрасывает его, поворачивается к стоящему рядом кулеру. Открывает, запускает руку в лед, шарит там, вытаскивает банку «колы».

— Хочешь?

— Ага.

Она кидает ему банку, которую он едва успевает поймать.

— Эй, поосторожнее!

— Кто-то сегодня не с той ноги встал.

Она дергает язычок другой банки, запрокидывает голову и делает долгий глоток, а потом звучно отрыгивает воздух, зарабатывая восхищенный смех от маленького мальчика, играющего неподалеку в песке и осудительный взгляд поверх журнала «Пипл» от женщины, лежащей чуть подальше на полотенце, — очевидно, его матери. Джилли не замечает ни того, ни другого.

— Уxx! — Она вздыхает и улыбается. — Пошли, ворчун! Пройдемся.

Весь день у них не было минутки без надзора. Утром после возвращения домой Билл позвонил Пегги и сообщил, что все в

порядке. Она тоже пережила ураган без приключений, хотя в отличие от них в домашнем уюте: в Арлингтоне ущерб ограничился тем, что залило некоторые улицы, когда переполнились ливневые стоки, кое-где повалило деревья, оборвало провода и так далее — ничего такого серьезного, чтобы объявлять эвакуацию. Пегги поговорила со всеми, поругалась, как всегда, с Биллом, и пообещала подъехать на следующие выходные. С окон сняли фанерные щиты и убрали под дом, принесли обратно сетки террасы, приделали на место.

Когда с этим покончили, все пятеро пошли прогуляться вдоль берега, к югу, мимо домов, которым повезло меньше, чем их собственному. Эти дома, построенные прямо на дюнах, испытали полную силу шторма. Прибой захлестывал под приподнятые террасы, бурлил среди леса свай, поддерживающих дом над берегом, и при этом уносил столько песка, что теперь дома будто приподняло футов на десять. Кое-где виднелись выбитые окна, сорванные перила, разбитая и смятая мебель с веранд, лестницы, повисшие теперь футах в трех-четырех от нового уровня земли.

Пляж усыпали обломки: бутылки и банки, пластиковые контейнеры из-под пива, шлакоблоки, размокшие сигареты и сигаретные пачки, пустые ракушки, панцири крабов, серебристые рыбки, полусъеденные чайками, цветные отложения полированных камешков, фрагменты раковин и осколки стекла, как рассыпанный пиратский клад, пластиковые лопатки и ведерки, гладкие и яркие, словно леденцы, спутанные пряди зеленовато-коричневых водорослей, серые и белые перья чаек, пластиковые зажигалки, одинокие пляжные туфли, мячик для гольфа, пенопластовые чашки и ящики — все это валялось на песке остатками разгромленной ярмарки.

В некоторых домах уже вовсю трудились люди, начавшие прибирать и ремонтировать, выстрелами звучали молотки в чистом утреннем воздухе. Кучки зевак бродили по берегу, Джеку показалось, что какие-то лица он узнал — из тех, что были в убежище. Все друг другу кивали и улыбались, слышалось «доброе утро» и «привет», будто такие проявления простой вежливости приобрели новую важность после неистовой пляски Белль. Даже собаки стали дружелюбнее и подбегали, помахивая хвостами и обнюхивая протянутые ладони, а потом отбегали обратно к хозяевам или гонялись с лаем за чайками, перевозчиками или другими псами. Кое-где по пляжу расхаживали люди с пластиковыми мешками, собирая мусор, другие бродили, глядя себе под ноги, наклоняясь, чтобы перевернуть камешек или раковину, покрутить между пальцами, внимательно рассматривая, словно антиквары, выискивающие в мусоре

драгоценность. Пожилая пара в больших наушниках водила над песком металлоискателями туда-сюда, передвигаясь шаркающими шагами, будто псибертронически усиленные нормалы, идущие одновременно в Сети и в реальном мире.

Весь этот разгром привел Билла в хорошее настроение: его ничто так не веселит, как чужие неприятности. Он все время комментировал, какой идиотизм — отказываться от естественной защиты дюн ради вида на море, который, как ни вдохновителен, а окажется в конце концов «другом на хорошую погоду», и сам себя поздравлял с дальновидностью, что купил дом не на самом берегу, когда была такая возможность. После прогулки и завтрака на скорую руку он попрощался и поехал в округ Колумбия на дневную запись своей передачи «Внутри Пояса». Тогда дядя Джимми, Эллен, Джилли и Джек снова набили кулер и вернулись на пляж, где Джек уселся в кресло и стал дальше думать обо всем, что случилось, а остальные бросились в тихую манящую воду.

* * *

Когда он и Джилли вспоминают все утренние события, Джека постоянно занимает все тот же вопрос: как он это сделал? Быть может, полгода назад, когда они с Джилли валялись по кроватям, в лихорадке и зуде проглатывая книгу за книгой, будто ветрянку можно вылечить чтением, болезнь вызвала в нем изменения более глубокие — так Вирусные Войны меняли нормалов, делая из них мьютов? Может быть, болезнь вызвала мутацию, оставив Джеку умение… что за умение? Менять историю усилием мысли?

Даже когда он об этом думает и произносит такие слова про себя, у него желудок завязывается в узел. Разум отшатывается от такой возможности. Тельпов не бывает. Нет на свете шахтов, эйров, салмандеров или руслов. Вообще нет никаких мьютов — ни из ролевых игр, ни со страниц комиксов. Верить в иное — сумасшествие. И вообще, если бы мьюты существовали *на самом деле,* разве это не было бы очевидным?

Да еще как! Разве что он один такой. А это еще безумнее — так думать.

Но Джек не может заставить себя просто забыть то, что помнит — как не мог сегодня утром изменить мир усилием воли. Все его усилия изменить историю даже одной песчинки пропали втуне. Что он знает, то знает, но как это доказать — ума не приложит.

* * *

— Чеглок! Эй, Чеглок!

Чеглок просыпается на оклик, прозвучавший рядом с палаткой.

— Тихо! — шипит он в ответ. Он видел сон — как всегда, про бой, но от внезапного пробуждения подробности рассыпались, осталось только ощущение потери, будто какая-то вещь неимоверной красоты или ценности проскользнула между пальцами. — Уже выхожу.

Он садится в темноте, движением плеч оправляя крылья, пытаясь не разбудить спящих соседей. Но поздно: мягкое белое сияние люмена с тихим треском заполняет соединенные палатки, как пойманная луна.

— Уже твоя смена?

Светло-синие и серебряные оттенки перьев его крыльев плывут по чешуе лица Моряны подобно дыму, а она, приподнявшись на локте, держит в руке сияющий стебель люмена и смотрит бездонными черными глазами.

Чеглок кивает, зевая, и сворачивает крылья. Ему трудно поверить, что когда-то эти глаза его пугали — всего две с небольшим недели назад, перед выходом пентады из Мутатис-Мутандис и ухода в Пустыню.

— Долг зовет, — отвечает он. — Ну, или Полярис, что то же самое.

— Возвращайся быстрее.

Она прижимается к нему, одеяло сваливается, обнажая выпуклость грудей, где лениво клубятся водоворотом цвета заката. Они встречаются губами, и Чеглок чувствует, как шевелится у него гребень. Да и не только гребень.

— Вы это бросьте, — раздается голос Полярис за палаткой.

— Ладно, не рви на груди рубаху, — отвечает он, выпуская Моряну.

— Свою надень, да и штаны тоже, и тащи все это сюда, — говорит она. — Моя смена закончилась в полночь, а уже десять минут первого.

— Иди лучше, — говорит Моряна.

— Достала она меня своим поведением, — бурчит Чеглок, выползая из спальника и одеваясь в тесноте палатки. — Держится, как будто она из… ну, с факультета какого-нибудь.

— А я слышу! — Голова Полярис возникает из-под полога палатки. — Будь я на самом деле оттуда, тебе бы эти разговоры даром не прошли!

— Шанс тебя разрази, Пол, чего ты делаешь? Тут и так тесно, а еще ты влезаешь.

Чеглок натягивает штаны, не заботясь скрыть наготу. Сейчас

между ними осталось уже мало секретов — по крайней мере телесных. Тем более Полярис на него не смотрит.

— Как только ты выйдешь, станет свободнее, — говорит она, не отрывая жадных глаз от Моряны, которая даже не пытается прикрыть грудь, ставшую льдисто-синей. Чернильные глаза руслы отвечают на взгляд тельпицы, как всегда, индифферентно, даже будто не моргая… хотя Чеглок знает: это иллюзия, у Моряны есть мигательная мембрана, как у него, только она почти невидима на фоне черной бездны глаз.

— Я буду рада составить тебе компанию, когда он уйдет, Моряна, — предлагает Полярис.

— Помечтай, Пол.

Полярис недовольно кривится и чешет рукой ежик волос.

— Это неправильно, что вы с ним так друг за друга держитесь. В пентаде полагается делиться, и делиться поровну. А вы меня отшиваете. И остальных тоже.

— Мы имеем право быть друг с другом, если нам хочется, — говорит Моряна, так и не прикрывшись. — Ничего незаконного тут нет.

Полярис качает головой:

— А я и не говорю, что есть. Просто это неправильно — такая вот исключительность. Так себя ведут нормалы.

— Ну, это уже лишнее, Пол, — говорит Чеглок и выталкивает ее из палатки ударом воздуха. Что хорошо в Пустыне, так это отсутствие психонической глушилки.

— Зря ты, — говорит Моряна. — Не то чтобы она не заслужила, но она на тебе отыграется так или иначе. Это она всегда.

— Знаю… Но она так меня достает…

Он хмурится, вспомнив, как безумный тельп в многогранном городе — его звали Мицар — намекал среди прочих идиотизмов, что они с Полярис станут любовниками. А вместо этого он с Моряной. Лишнее доказательство того, что он и без того знал: старый тельп — шарлатан.

— Она просто ревнует.

Моряна ставит люмен на спальник между ними. Погрузившись наполовину в спутанную ткань, сияющий стебель отбрасывает вверх переплетение теней.

Чеглок надевает на руку часы эйрийской работы и сует свежий люмен в задний карман штанов.

— Знаешь, я ее понимаю. Я бы тоже ревновал. — Он вздыхает. — Не хочется признавать, но она в чем-то права.

Моряна слушает с безмятежным лицом — точно таким же, с каким слушала Полярис. Как всегда, отсутствие эмоций, кроме

непроницаемой игры цветов на чешуе, воспламеняет в Чеглоке желание. Такое чувство, что самую глубинную, истинную свою сущность она прячет, будто посол руслов на суше, сохраняет дипломатическую неприкосновенность своего сердца. Он уже какое-то время знает, что влюблен в нее… но любит ли его она? Способна ли она на это чувство?

— Что ты предлагаешь? — спрашивает она наконец.

— Может, нам надо приглашать иногда других присоединяться к нам?

— Но меня устраивает то, что есть сейчас.

— Меня тоже, — поспешно говорит он. — Но мы должны думать о пентаде. Чем дальше мы уходим в Пустыню, тем опаснее становится. Пентада, в которой участники друг другу не доверяют и не могут работать вместе, имеет больше шансов погибнуть.

— Ты сгущаешь краски. Пока что мы вполне можем доверять друг другу.

— Потому-то и надо действовать сейчас, пока не стало хуже.

Моряна пожимает плечами:

— Делай как хочешь. У нас всегда было такое правило.

Она поворачивается на бок, устраивается поудобнее и закрывает глаза.

Ему явно дали понять, что он свободен. Такая повелительная манера общения его бесит и — приходится признать — покоряет.

— Потом поговорим, ладно?

— У меня на потом намечено другое, — отвечает она, не шевелясь и не открывая глаз.

— Отдача крови. — Этот ритуал они выполняют вместе, когда только возможно; и этой ночью, поскольку ему выпала вторая смена, а Моряна спасительным броском выиграла выходную ночь, они договорились отложить до его возвращения. — Я не забыл.

— Вот и хорошо.

Томно вытянув руку, будто уже держа над его телом стебель нож-травы, она прикосновением гасит люмен, погружая внутренность палатки в темноту.

Чеглок головой вперед выползает из палатки и встает на ноги в холодном ночном воздухе. Полярис глядит на него сурово, уперев руки в мальчишески узкие бедра. В щедром потоке света луны, желтой и пухлой, как лимон, люмен не нужен — во всяком случае, для острых глаз эйра. Полярис, у которой глаза не лучше, чем у нормала, держит в кулаке растаявший люмен.

— Не надо, — говорит Чеглок прежде, чем она успевает сказать хоть слово. — Извини, я не должен был тебя толкать. Но и тебе не следовало говорить то, что ты сказала.

— Твое счастье, что закон запрещает тельпам использовать психическую силу против других мьютов без их согласия, — отвечает Полярис и тут же добавляет многозначительно: — кроме как в целях самообороны.

— Я же извинился.

Забавно, думает он уже не в первый раз, сколько эмоций может отразить одно маленькое личико в форме сердца. И все они направлены против него. И среди них — ни одной дружеской.

Он проходит мимо, к мерцающим угольками костра. Что бы она ему ни сказала, Моряне этого слышать не надо.

Полярис пристраивается рядом.

— Нет, я просто не понимаю. Что она в тебе нашла?

— А это уже не твое дело, Пол.

По правде сказать, он и сам этого не понимает. Моряна подошла к нему утром после первой ночи в Пустыне, когда все пятеро спали вместе, как диктовал обычай, и удивила его признанием, что он ей доставил больше удовольствия, чем все остальные вместе взятые. Она предложила ему соединять палатки регулярно. Это предполагало отношения предпочтения, а не исключительности, но так не получилось. Отсюда и разлад.

— «Что касается одного, касается всех», — цитирует тем временем Полярис «Книгу Шанса».

Этот пассаж, мрачно думает Чеглок, вызвал больше безобразий, чем вся остальная книга.

Дойдя до костра, он садится на корточки, чтобы подкинуть хвороста в огонь, потом призывает ветерок раздуть угли. В лагере тихо, слышно только потрескивание огня да иногда лающий призыв ночной цапли, промышляющей лягушек вдоль берегов близкого ручья. Ярдах в десяти с лишним от костра, словно выполненная в масштабе модель Фезерстонских гор, высятся пустые холмы покинутой колонии термантов — прожорливых насекомых, либо давно ушедших в поисках нового дома, который можно захватить, либо обративших свои аппетиты внутрь и истребивших самих себя. Когда их не стало, вернулась трава и прочая растительность: почва здесь богатая, ее поит пробегающий неподалеку ручей, вьющийся с востока на запад по дну ложбины в тридцати ярдах за холмами. Густые заросли высокой нож-травы растут вдоль дальнего берега ручья, и рощицы бродячих дубов пустили там корни. Есть еще несколько тотемных деревьев, жуткое сочетание человека с растением: у этих стволики еще незрелые, коричневые; ветки — как ручки и ножки голодающих детей, плоды размером и мягкостью в точности как головка новорожденных, черты лица едва различимы, неясные пятна и неглубокие зазубрины вдавлены в мясистую поверхность, будто

какой-то скульптор работал с незнакомым материалом. Потом, когда плоды созреют, из узлов и прорех с тупостью пасущейся скотины уставятся человеческие глаза, а беззубые и безъязыкие рты будут неприятно менять выражение, как в калейдоскопе: хитрая самодовольная усмешка, гримаса отвращения, безмолвный вой ужаса или радости. Но на холмах термантов — из них самые высокие фута на два выше Чеглока — не растет ничего. Они болезненным фоном смотрятся в лунном свете, как будто самим им место на луне, а не здесь.

— Ты думаешь, она к тебе неровно дышит, Чег? — Полярис присаживается рядом с ним. — Для всех руслов потрахаться — это просто потребность плоти, как поесть, поспать и просраться. Чувства в отличие от ощущений в их уравнениях не учитываются.

— Ага… — Он берет тонкую веточку, отламывает от нее по кусочку и скармливает пламени, представляя себе, что это косточки какой-нибудь не в меру назойливой тельпицы. — Теперь ты еще и по руслам специалист?

— Ты не забывай, я выросла в Мутатис-Мутандис, среди мьютов всех рас. Я такое уже видала. Она тебя использует.

— А знаешь, что я думаю? — Он косится на нее; кожа у нее пылает оранжевым и красным в безвкусной пародии на хроматическую игру руслов. — Я думаю; ты хочешь, чтобы она использовала тебя.

Она вздыхает:

— Не буду спорить, я не отказалась бы регулярно объединять с ней палатки. О Шанс, она же русла! Кто б не захотел? Но я тревожусь, Чег.

Он подбрасывает в костер последнюю, палочку и встает, отряхивая ладони.

— Похоже, что ты скорее ревнуешь. Вы все ревнуете, вы все хотели бы ее для себя.

Полярис поднимается на ноги.

— Феникс более интересуется тобой, чем Моряной — на случай, если ты не заметил. А у Халца вообще нет ревности — он уж никак не жила.

— Пол, для тебя все на свете шуточки, да?

— Упаси меня Шанс! — Враждебность в ее глазах тает, сменяясь чем-то вроде жалости. — А ты влюблен в нее, что ли?

— Что, если так? — Вокруг него начинает завиваться прерывистый ветерок.

Полярис игнорирует предупреждение. Она тычет люменом в сторону его живота, словно светящимся кинжалом.

— Когда-нибудь она тебя бросит так же неожиданно и необъяснимо, как выбрала, вот что. Ты ей надоешь, и она выберет

кого-нибудь из нас. Может быть, даже меня. И что тогда, Чег? Как ты с этим справишься? Будешь хлестать вокруг психонической силой, как сейчас? Разрушишь пентаду? Нечего сказать, зрелый поступок.

Он укрощает вертящийся вихрь, ежась при мысли, что Пол его чуть было не спровоцировала. Не приходится сомневаться — если бы он снова ее ударил, физически или психонически, она бы ответила ударом, взяла бы его в Сеть, где он, виртуализованный, был бы полностью в ее власти. На коже Чеглока выступает холодная испарина. Ему никогда не было уютно в Сети. Он мирится с необходимостью виртуализации, чтобы лучше сражаться с нормалами, но это ему не нравится. И мало кому нравится из мьютов, если не считать тельпов. И все же раньше Сеть его никогда не ужасала — иначе бы он не прошел Испытание. Однако с самого входа в Пустыню это отвращение усиливается с каждой виртуализацией, и все труднее скрывать это от Полярис и прочих членов пентады… И дня не проходило, чтобы она не затаскивала всех в Сеть — хотя бы для того, чтобы не потерять форму. В Вафтинге или Многогранном Городе Чеглок мог бы пойти к тельпу с Факультета Психотерапии Колледжа и полечиться от этого отвращения, но здесь такой возможности нет. Наверное, могла бы полечить Полярис, только Чеглок не осмеливается позвать ее в свой разум. Если он позволит ей копаться в его чувствах, воспоминаниях, кто знает, где она остановится? Она может изменить его так, что он и не догадается и даже не заподозрит. Может, она уже это и сделала.

— И все равно, — говорит он, пытаясь прикрыть агрессией обиду и прячущуюся за нею слабость, — ты не имеешь права читать мои мысли.

— Не льсти себе, — отвечает она и смеется. — Мне достаточно посмотреть на твое лицо — сразу понятно, что делается внутри этого черепа, где вместо мозгов перья.

— Это ты так говоришь. А может, ты прямо сейчас читаешь мои мысли, а я даже не догадываюсь.

— Тогда уж будь последовательным, — парирует она. — Если я настолько не щепетильна, отчего бы мне не подкрутить чуть-чуть ручки в ведерке у Моряны и не убедить ее, что любовь всей ее жизни — я?

На это у Чеглока нет ответа, и вообще не надо было эту тему поднимать.

— Бессмысленный спор. — Он пожимает крыльями. — Мне надо идти в дозор. Тут водятся нормалы.

— И ты думаешь, это все решило бы?

— По крайней мере напомнило бы тебе, кто наши настоящие

враги.

— Я не забыла, Чег. Никто не забыл. Но нормалы наши проблемы не решат. Во-первых, мы еще слишком близко к границе. Немногие нормалы забираются так далеко в Пустыню. А убивать нормалов — лишь часть паломничества. Некоторым пентадам даже одного не доводилось увидеть.

— Хочешь накликать? — Он рукой рисует между ними лемнискату.

— Я хочу сказать, — говорит Полярис, — что успех или провал паломничества не измеряется одним только счетом трупов. Если пентада не спаяется, не выработает чувство общей личности и цели, остальное все не важно. Именно это меня и волнует, Чег.

— Пока что у нас тут все в порядке вроде бы? С этими гризлерами мы справились без проблем.

Может, нормалы и не подходят так близко к границам Содружества, зато полно других тварей, которые на это способны. Например, гризлеры: вид свирепых, полосатых по-тигриному медведей, обладающих зачатками разума и рудиментарной псиникой эмпатической природы. Их племена шатаются по Пустыне, нападая на все, что встретится на пути. Третьего дня с пентадой именно это и случилось. При более чем двойном численном превосходстве противника они все же победили гризлеров, убили четверых, остальных разогнали, сами отделавшись царапинами.

— Мы достаточно хорошо действуем командой, — соглашается Полярис. — Но этого мало. Мы должны быть *семьей.* Братьями и сестрами.

— А что, все тельпы мечтают трахнуть своих сестер?

Полярис широко распахивает глаза, потом хохочет. Чеглок против воли присоединяется. Поразительно, как меняется Полярис, когда смеется. Просто становится совсем другой, куда более приятной личностью. Но смеяться вечно она не может. Через некоторое время она замолкает, а секунду спустя и он.

— Ну… — начинает она.

— Я думаю… — произносит он одновременно.

Повисает неловкая пауза. Грустная улыбка, взмах ее люмена — Полярис желает ему спокойной ночи и идет к своей палатке, соединенной с Халцедоновой: то, что Полярис не может получить Моряну, еще не значит, что она отказывается от других партнеров.

Чеглок смотрит, как она пролезает под полог палатки. Украшений на нем нет — они сняты на время паломничества, но привычка теребить конец сережки еще осталась, и когда он это

делает, вот как сейчас, похоже, что он отгоняет муху. Полярис тем временем начинает раздеваться, и темный силуэт ее тела рисуется на непрозрачной ткани, как будто нормалский ребенок раздевается за марлевой ширмой. Потом навстречу ей поднимается массивная тень Халцедона и обнимает ее.

Чеглок отворачивается, взгляд его падает на выпуклость соединенных палаток, где спит Моряна. Следующие два часа, пока не придет пора будить Феникса, пройдут медленно, без мыслей об острых и трепетных радостях, которые его там ждут. Одинокая палатка салмандера, раскинутая в тени построек термантов ярдах в десяти от костра, освещена изнутри тусклым оранжевым сиянием: спящий Феникс свернулся, как кот, вокруг собственного тлеющего огня. Этот салмандер действительно легкомыслен, как кот, и благодаря своей склонности без толку объявлять тревогу, когда он на дежурстве, заработали кличку «Феникс — Ложная Тревога».

Чеглок идет к периметру лагеря. Когда Полярис хоть на миг перестает кривиться, думает он, эта смешная тесаная рожица становится почти хорошенькой, хоть и напоминает нормала. Если отставить личное, это сходство его притягивает, но и отталкивает. Аура чудовищного, запретного, окружающая нормалок, порождает сложное и противоречивое очарование. Это еще от тех времен, когда он вместе с другими мальчиками-одноклассниками был на экскурсии в родильном отделении в Вафтинге. Ему показали женщин-инкубаторов, лежащих голыми в стойлах, как коровы для доения — безволосые тела доступны любопытным взглядам и прикосновениям, а сами они спят за черными масками терминалов Сети, оставляющими открытыми нос и рот. Тельпы с акушерского факультета держат будущих матерей виртуализованными все шесть месяцев беременности; эти нормалки ничего не знают друг о друге и о своем истинном положении: выкидыши и преждевременные роды сводятся к минимуму, если инкубаторы считают себя свободными и хозяйками собственной судьбы, беременными по собственному желанию или вовсе не беременными. Но когда начинаются роды, боль зачастую бывает так сильна, что разрушает виртуализацию и наведенную ею спасительную иллюзию, и вопли инкубаторов в их последние мгновения относятся столько же к открытию собственного состояния, сколько и к родам, средств пережить которые природа им не дала.

Долг каждого здорового телом мьюта-мужчины, женатого или холостого — распределить свое семя в стаде пойманных нормалок. После паломничества Чеглок тоже будет включен в график кратких посещений родильного отделения. Долг,

необходимость которого вбита в него с детства, со временем превратился в сильный, хотя и неоднозначный эротический заряд — не в последнюю очередь потому, что о происходящем в отделении никогда не говорится вслух. Признаются только результаты: рожденные инкубаторами младенцы, которые появляются словно по волшебству и размещаются в любящих приемных домах — как его поместили к Скопе и Сапсану, пожилой чете, у которых двенадцать естественнорожденных детей, его сводных братьев и сестер, давно выросли и улетели, рассеявшись по Содружеству. «Аист принес» — отвечали на его детские вопросы, и пока Чеглок в семь лет не пошел в школу, он всем сердцем верил в легенду о добром старом эйре, который доставляет младенцев достойным парам по всем гнездилищам и гнездовьям Эйрленда.

Но с тех пор, как он узнал правду и оставил эти детские фантазии позади, Чеглок часто думал о своей анонимной матери-нормалке. Не менее анонимный отец-мьют его почему-то не волновал — в конце концов, наследственность от отца сомнению не подвергалась. Ему не давали покоя гены нормалов, полученные от матери. На экскурсиях в родильное отделение он ловил себя на игре воображения, будто одна из этих женщин — его мать, и вот так сплетались в нем темные нити вины и влечения в сложное чувство, естественно развивавшееся по мере того, как он рос и ему разрешали еще интимнее знакомиться с этими покорными телами, которые когда-нибудь долг повелит ему осеменить. Страх и желание начали в нем двоиться, одно чувство было тенью другого, и отличить их уже стало невозможно. Он все чаще и чаще думал, очнулась ли его мать к реальности, когда он родился, и если да, не мог ли след этого невообразимого понимания впечататься в его мозг, в клетки, как какой-то медленно инкубирующийся разумный вирус, скрытый в течение многих лет, пока не проявится ядовитой аномалией атавизма в мысли или в поведении, что принесет ему изгнание, а может, и того хуже. Наверное, эти спутанные чувства к инкубаторам и были такой аномалией… и не единственной. Это всегда было у Чеглока самым глубоким, самым тайным страхом, который он скрывал от Дербника и Кобчика и даже от своих приемных родителей. Но тельпы с Факультета Психотерапии вынюхали это во время Испытания. Они его заверили, что подобные ощущения обычны для инкубаторских, и страхи лишены основания. Гены нормалов, сказали ему, почти всегда рецессивны, их признаки не выражаются, статистически случаи атавизмов или существенных сдвигов назад идентичны среди популяций чистокровных и инкубаторских. Они залезли ему в

разум и убрали страхи и сомнения, вырезали своими — ух какими острыми — псионическими ножницами, чик — и готово.

Но он все чаще спрашивает себя снова и снова, не пропустили ли они чего-нибудь, не отрезали ли только поверхностные проявления, а переплетение корней оставили нетронутым, скрытым до времени, но все еще растущим в нем, пробивающимся к свету, как ядовитые сорняки. Чем еще объяснить этот иррациональный страх перед собственными внутренними пространствами и тем, что — забытое или даже вообще не осознанное — живет там: чудовища более страшные, чем обитатели Пустыни? И что, если его чувство к Моряне — всего лишь симптом их проявления — точнее, возвращения? Потому что, как ни противно это признать, есть доля правды в тех мерзких обвинениях, которые высказала Полярис там, в палатке. Пусть это вполне законно, но дома отношения столь исключительные, как у него с Моряной, уже навлекли бы предупреждение Святых Метателей. А может, кое-что и похуже предупреждения. Чеглока не столько волнует сила его желания к Моряне, сколько чувство собственника, которым оно сопровождается. Вопреки своим прощальным словам там, в палатке, просьбе сделать усилие и включить остальных, Чеглок не хочет делить ее ни с кем, а меньше всего с Полярис.

Он от всего сердца хотел бы избавиться от этих тревожных чувств, но они если и меняются, то лишь в сторону усиления. Они уже выжгли любой интерес, который иначе могли бы проявить к нему Халцедон или Феникс. Тот единственный раз, когда он соединял палатку с ними, был катастрофой: пока тело его ахало и содрогалось, лизало и гладило, ум со всей извращенной тщательностью ревнивого воображения рисовал ему мириады способов, которыми могли доставлять друг другу удовольствие Полярис и Моряна в своих соединенных палатках. И наконец он, не в силах продолжать, быстро оделся и выбежал к ним. Конечно, Полярис вообще не была с Моряной. Но с тех пор он тщательно старался не предоставлять ни ей, ни прочим такой возможности.

Однако будущее пентады зависит именно от того, чтобы он такую возможность предоставил — или нет? Как можно быть уверенным, что это все не работа Полярис, тонкая манипуляция его разумом, его чувствами? Если он правильно понимает, она манипулирует всей пентадой, чтобы получить что хочет. Она его спросила, почему, если она такая неразборчивая, она просто не настроила разум Моряны, чтобы та в нее влюбилась. Но этот вопрос — всего лишь увертка. Полярис молода и неопытна, может быть, она не в состоянии вносить такие сильные изменения… или, что важнее, не умеет делать так, чтобы они были незаметны.

Тельпам запрещено использовать псионику против мьютов других рас в отсутствие явно выраженного согласия или крайней необходимости. Нарушение этого закона, на котором зиждется стабильность, если не само существование Содружества, влечет смерть… кроме, конечно, случаев, если ты с Факультета Невидимых, в каковых случаях в интересах национальной безопасности допускаются исключения. Чеглок не думает, точнее, не хочет думать, что Полярис — Невидимая, но он уверен, что тельпица, такая умная и такая скрытная, какой проявила себя Полярис, может найти куда менее рискованный способ влиять на события и на мьютов ради достижения своей цели. Он ей не доверяет — не может себе позволить ей доверять. Даже это ее краткое дружелюбие в минуту смеха кажется ему теперь подозрительным.

Расправив крылья с кожистым хлопком, Чеглок призывает ветер, чтобы рвануться вверх. Заботы и тревоги отлетают прочь, перед ним расстилается освещенный луной пейзаж: травянистая равнина на много миль во все стороны, перерезанная оловянной лентой потока и усыпанная плотными тенями, обозначающими отдельные рощи деревьев, группами ярких танцующих огоньков, похожих на отражения звезд в воде или далекие города — это растут кусты люменов. Чеглок взмывает выше, и память прерванных мечтаний возвращается потоком.

…Он летит по ночному небу Эйрленда, над ним — полная луна, а внизу, в ее отраженном свете, сверкают волнами застывшего моря снежные пики Фезерстонских гор. Другие эйры под ним — он слышал их восторженные крики и свист, когда они резвились в зимнем воздухе, оседлав ветер в игре «Поймай Леду» или «Схвати утку». Но он оставил их позади, поднимаясь к луне, которая — вдруг замечает он — не круглая, а совсем как тысячегранная игральная кость, вечно летящая кувырком вокруг Земли. В одном из тех случаев, что даже во сне кажутся одновременно и обыденными, и невозможными, луна убывала, пока он поднимался, отступая перед ним. Он удвоил усилия, напрягая все мышцы, и каждый выдох превращался в снежные кристаллы. И вот наконец он достиг предела, выше уже невозможно. Потянувшись к луне с последним отчаянием, он с ужасом увидел, что рука его вдруг стала огромной… точнее, сменилась перспектива, и луна оказалась совсем рядом — она все время была совсем рядом, просто на самом деле она маленькая. Обнаружив эту оптическую иллюзию, он засмеялся в детском восторге и протянул руку дальше, чтобы взять игральную кость с черного стола небосвода… и тут Полярис разбудила его на дежурство…

Сейчас Чеглока охватывает тот же восторг. Конечно, думает он, этот сон был знаком, посланием… потому что сегодня луна такая полная, как только можно мечтать, эту кость запустила рука побольше руки Чеглока. И он тоже — разве он не игральная кость в той же самой руке? И все они, включая Полярис?

— Метни меня, — молится Чеглок, ощущая восторг от того, что его взял, встряхнул и метнул великий Шанс. — Да буду я катящейся костью в руке твоей…

Чеглок взмывает и камнем падает вниз. Сердце его описывает параллельную траекторию — нет, наоборот, тело служит ведомым, его тащит это сердце с множеством граней. Он закрывает глаза, наслаждаясь опасностью слепого полета, зная, что если даже ничему другому не может доверять в этом мире, то может довериться дару, которым благословил его Шанс в миг Становления: силы, инстинкты и чувства, давшие его расе господство над воздухом и над всем, что в нем.

Органы чувств выносятся вперед, стелются вдоль вихревых потоков температуры, влажности, направления, скорости, зон захвата и поясов высокого и низкого давления, осадков, электрических потенциалов, и Чеглок уже не знает, где кончается его тело и начинается небо. Конечно, даже при закрытых глазах острые слух и обоняние многое говорят ему о среде, и постоянный поток информации достигает его в осязательных ощущениях, поступающих через перья к коже. Общий поток физических и псионических данных преобразуется нервной системой в живую карту, чьи постоянно меняющиеся контуры отражают мельчайшие подробности окружающего мира. Сегодня, например, цапля, которую он раньше слышал, взлетела и быстро удаляется, направляясь вниз по воздушным потокам. В четверти мили к западу плывет переплетение жгучих парусов на высоте едва в шестьдесят футов, поддерживая себя в воздухе струями сжатого гелия из прозрачных бахромчатых розово-зеленых плавательных пузырей. Их окружают насекомые, пирующие на живой еще добыче, обернутой ядовитыми щупальцами: птицы, рыбы, грызуны, змеи. Насекомых сменяют на пиру летучие мыши, порой попадающие в длинные щупальца, которые их парализуют и медленно переваривают. Все это (и многое другое) Чеглок воспринимает инстинктивно, не напрягаясь.

И даже с закрытыми глазами он не слеп к подробностям раскинувшегося внизу ландшафта. Завихрения воздуха и перепады давлений дают ему отчетливое ощущение места, где стоят палатки, угасающего костра, строений термантов, тотемных деревьев и нож-травы, скачущей воды ручья. В двух милях к востоку, на опушке медленно движущегося леса странствующих

кленов и дубов, пасущихся на водоносном слое под плотным облаком ночных птиц и бабочек, на почти предельном расстоянии его восприятия, планирует под луной стая летающих гиен, следуя за двумя гризлерами на почтительном расстоянии. В миле к югу Чеглок отмечает простое глинобитное обиталище изгнанника, салмандера по имени Фестус, с которым они остановились поторговать и обменяться новостями накануне. Но ни других пентад, ни изгнанников, ни нормалов он не обнаруживает.

Самые сильные эйры умеют раскидывать псионические сети на двадцать миль и больше, хотя зоны активного влияния у них редко превышают пять — если только они не связаны в гештальт. У Чеглока сила намного меньше. Со временем она вырастет, он наберется опыта, но сейчас предел его зоны ощущений около двух миль, а предел его прямого, определяемого влияния — меньше половины того. Но в границах этой зоны Чеглоку достаточно лишь напрячь ментальные мышцы, чтобы вертеть погодной системой по своей воле. Силой мысли он может поднять или успокоить ветер, призвать или рассеять бурю, низвести на землю молнию. С расстоянием проявляемые им силы уменьшаются, управление ими становится тоньше. Зато он может, например, высосать кислород из зоны, по площади примерно равной их лагерю. Или наоборот, насытить ее кислородом (или любым другим атмосферным газом). Он может создать вакуум или увеличить атмосферное давление до раздавливания на еще меньшей области: скажем, две соединенные палатки. На площади размером в одну палатку он может спаять молекулы воздуха в гибкий и почти непробиваемый щит. Он может управлять ветром так, чтобы поднять с земли один отдельный камешек и запустить его с почти сверхзвуковой скоростью… и может бросить себя (и более тяжелый, более массивный предмет) почти с той же скоростью, хотя и ненадолго: чем выше инерциальная масса предметов и желательная скорость, тем больше расход псионики, которая после истощения требует долгих часов на восполнение. Чеглок, как все молодые эйры, любит испытывать себя на физические и псионические пределы, наращивая собственные силы в попытках их превзойти. Тут всегда есть риск, что обстоятельства или честолюбие завлекут его слишком далеко, доведут до серьезного увечья, а то и до смерти. Но он — опять-таки как большинство представителей его расы — относится к этому риску легко. Заигрывает с ним, бросает вызов, будто призывая на свою голову катастрофы только ради удовольствия над ними торжествовать, ради радости невероятного спасительного броска, когда уже кажется, что Шанс повернулся против него неумолимо. Впрочем, риск, на который идет Чеглок,

никогда не бывает так неразумен, как это кажется представителям других рас, — и это тоже искусство, которым владеют эйры. Те, кто не владеет, не остаются жить.

Но даже в своей стихии, наслаждаясь игрой собственных сил, Чеглок не может полностью забыть Сеть. Она окружает его, невидимая, неощутимая и все же настолько сильная, что ни он, ни все эйры мира, действуя в гештальте, не могли бы призвать ветер или молнию достаточно острые, чтобы разрезать хоть самую хилую ее прядь. Невозможно забыть надолго, что Полярис или любой другой тельп может силой мысли послать его виртуализованную сущность кувырком по такой пряди — и в Сеть; нет такой точки в физическом мире, откуда нельзя упасть на его виртуальную тень, нет насеста в воздухе, на земле или под землей, что не был бы отмечен на сетке медианета и не мог бы, каким бы ни казался надежными, развернуться под ногами и проглотить…

Открывая глаза, Чеглок переворачивается на спину с небрежной фацией пловца и видит тут и там медленное и размеренное движение биотронных спутников на самоподдерживающихся орбитах среди мерцающих звезд. Его презрение к этим белым паучишкам — точнее, электронным мозгам, что живут в них, — так свирепо, что способно, кажется, вынести его совсем из атмосферы в космос. Только там, думает он горько, в безвоздушной пустоте между Землей и луной, может он наконец узнать, что значит быть свободным.

Есть эйры, которые именно это и сделали. Использовали психонику, чтобы разорвать путы гравитации и уйти из атмосферы, унося вокруг себя пузырь воздуха. А потом — за миг до того, как холод доберется до них и ускользнет воздух — обернулись и взглянули на океан космоса, в котором они плывут, на оставленный позади мир, белоголубой остров, куда они уже никогда не возвратятся, разве что через много-много лет после смерти их замерзшие останки сойдут с орбиты, сверкнув в небе падучей звездой. Но Чеглок еще недостаточно силен, чтобы последовать их примеру, и желания — кроме фантазий в мелодраматические моменты — такого у него тоже нет. Хотя все эйры, которые почитают такие самоубийства, считают их актами мужества, символом вызова и жертвы, Чеглоку они кажутся эгоистичными и депрессивными, он в этих самоубийствах видит отчаяние, а не вызов… хотя это не значит, что он презирает таких эйров как трусов или дезертиров. Он их оплакивает. Жалеет. Даже в чем-то завидует. Но знает, что истинная свобода не в космосе и не в Сети. Свободу нужно построить в физическом мире — искоренить нормалов, а потом уничтожить в небе электронные

мозги.

Чеглок ни на миг не сомневается, что дни нормалов сочтены, однако насчет судьбы двенадцати супермозгов в биотронных спутниках не столь оптимистичен. Массивные черные пирамиды снабжены широким набором оборонительных и наступательных средств, и никто из Орбитальных, как их называют, никогда еще не был даже поврежден с Земли, не то чтобы уничтожен. За прошедшие после Вирусных Войн столетия эти богоподобные монстры усилили крепости, в которых ведут свою практически вечную жизнь, сделав их еще неприступнее.

Хотя это, наверное, вообще пустые рассуждения, поскольку у Чеглока есть подозрение, что тельпы ни в коем случае не допустят их уничтожения. Да, элиминация Сети наряду с прочими антехами нормалов (включая электронные мозги высокие и низкие) — официальная политика Содружества, но все, что Чеглок знает о тельпах, убеждает его: они рассматривают Сеть как свое естественное право, продолжение не только собственных личностей, но и самого Тельпленда: внеразмерностная провинция страны, чьи психически защищенные границы непроницаемы для других мьютов. Вряд ли тельпы охотно от этого откажутся. С чего бы? Как только нормалов не станет, тельпам не придется делить Сеть ни с кем, кроме тех, кого они сами туда пригласят, — за исключением электронных мозгов, конечно, но тельпы могут признать это приемлемым, поскольку без электронных мозгов вообще не было бы Сети. Со своих надменных тронов, ранжированных по прогрессивно увеличивающимся высотам, Орбитальные поддерживают ее физическую инфраструктуру, медианет: координируют спутники, определенные функции меньших электронных мозгов и широкую сеть селкомов, камботов и других устройств сбора и распределения информации, расходящихся гладкой паутиной от экзосферы до самого ядра планеты. Задача у Орбитальных четкая и весьма ограниченная: их не интересуют мьюты, нормалы и даже младшие электронные мозги, у них нет потребности в земной — или, точнее, виртуальной — власти, помимо той, что необходима для выполнения трех условий их первоначальной программы: первое — оптимальное функционирование Сети в каждый момент времени, второе — ничто не должно угрожать существованию Сети, и третье — ее инфраструктура и ее работа должны постоянно улучшаться.

Орбитальные в Сети принимают множество обличий, их вирты так же разнообразны внешне, как и функционально. Иногда они являются выражением своих имен, различимые по виду или по связанным с ним символам или предметам. Бывает и так, что

нет ни намека на их личность или на то, чем они занимаются. Некоторые общаются с виртами мьютов и нормалов, другие избегают или не замечают их.

В последнее время всякий раз, когда Полярис транслирует его в Сеть, Чеглок представляет себе, что плывет по поверхности или чуть под ней в бездонном океане информации, глубины которого — царство монстров, время от времени всплывающих попробовать всплески малых жизней так высоко над собой. Он ощущает этих монстров усиленными чувствами своего вирта: сущности бескрайней протяженности и выдающегося интеллекта, плывущие в холодных, плотных, беспокойных водах, жадные до поглощения чужого разума. Вообще говоря, эти сущности его не замечают, но иногда Чеглок чувствует, что один или другой все-таки видит его — будто медленно плывущий кит направляет огромный глаз на отдельного микроскопического криля. Созерцание этих искусственно созданных чужаков наполняет Чеглока паническим тошнотворным страхом и оставляет такое чувство, будто его обгадили до глубины души. Хотя ощущение, что его рассматривают, никогда не длится больше секунды, всегда остается впечатление, что его полностью изучили за это время, все его тайны поглощены и добавлены к какому-то гигантскому хранилищу знаний. И даже отпустив, его не забудут никогда. Порой он трепещет при мысли, что тот же виртуализованый интеллект может периодически возвращаться к нему, как возвращается служительница родильного отделения проведать спящих нормалок-инкубаторов.

Хуже того, в такие моменты Чеглок способен ощутить нечто вроде разума или разумов, созерцающих его с небрежным, но разрушительным интересом. Ослепленный яркостью этого внимания, он все же продолжает воспринимать памятью сетчатки неотступное призрачное видение. То, что впечатывается тогда в темноту его оглушенного разума, настолько странно, настолько оно нечеловеческое, что он сам себе не может этого описать, иначе как в ощущении благоговения и ужаса, которое возникает и остается… И еще остается четкое осознание, что, если эта связь продлится еще хоть мгновение, его собственный разум — то ли от неспособности воспринять такую чужеродность, то ли от слишком хорошего ее восприятия — рухнет в безумие. И неудивительно, что особой любви к Сети он не испытывает.

Но тельпы из Коллегии Виртуального Разума — их тянет к себе эта глубина и то, что там обитает. Никакой одиночный тельп не в силах так далеко нырнуть, но гештальты тельпов могут спуститься — и спускаются — на самое дно Сети. И кто среди других рас мьютов может знать, какие там завязываются

контакты, в этих экспедициях, какие открываются тайны понимания? Он знает, что с его стороны это неправильно и нелояльно, но не может избавиться от чувства, что тельпы — такие же чужаки, как электронные мозги. Слишком уж им уютно на неестественных путях нормалов, и слишком уж их психонические способности сравнимы с антеховской инфраструктурой медианета, установленной задолго до Вирусных Войн, когда был запущен первый из Орбитальных. Он носил имя Хроноса и был уничтожен через несколько лет — не наземным оружием, а следующим поколением электронных мозгов, двенадцатью существующими Орбитальными.

Чеглок вздыхает.

Уже поздно, скоро пора будить Феникса. Он возвращается на землю и снова обходит вокруг лагеря. Все тихо. Миновав гнездо термантов, он спускается к ручью, огибая тотемные деревья, которые при луне выглядят еще кошмарнее, будто тела, сложенные для сожжения, но все еще хранящие едва заметные остатки жизни. Падение насекомых и гляделок стихает, здесь слышно только журчание ручья у ног да шорох ветра неподалеку в зарослях нож-травы, где каждый лист прям и тверд, как копье. Из зарослей вспархивает москитылек, подлетает на прозрачных крылышках размером с ладонь, будто покрытых сахарной глазурью. Чеглок ждет, пока станет слышен приторно сладкий запах насекомого, и прогоняет его дуновением. Потом долго отливает в ручей. Слова Полярис звучат в мозгу отчетливо, будто сейчас: «Когда-нибудь она тебя бросит так же неожиданно и необъяснимо, как выбрала, вот что. Ты ей надоешь, и она выберет кого-нибудь из нас. Может быть, даже меня. И что тогда, Чег? Как ты с этим справишься?»

И правда — как?

Он поворачивается к лагерю и направляется к одинокой палатке салмандера.

* * *

— Ну, — шепчет Джилли почти неслышно, — как ты думаешь, давно это уже?

У Джека ноги подкашиваются от облегчения: все-таки он не одинок. Джилли верит и помнит. И снова они вдвоем против всего мира, близнецы Дуны, объединенные еще сильнее этим последним — и самым непонятным, — из общих секретов.

— Не знаю, — отвечает он, радуясь возможности сравнить мнения. — Может быть, вчера был первый раз.

— Не может быть, — говорит она. — Ты же их слышал.

Только тут до Джека доходит, что она говорит про дядю Джимми и Эллен, а не про его обретенную способность менять историю силой мысли. Чувствуя себя полным дураком, он подносит к губам банку «колы», чтобы скрыть замешательство и смущение. Дурацкая холодная жидкость попадает не в то горло. Он сгибается пополам, заходится в кашле, ловит ртом воздух, а смех Джилли звенит у него в ушах.

— Жадность губит, да?

— Заткнись, — кое-как выговаривает он.

— А у тебя «кола» из носа лезет, — радостно сообщает она.

— Спасибо, а то я не знал. — Но не может удержаться и смеется вместе с ней, и они идут дальше.

На пляже днем народу прибавилось. Семейные группы установили пляжные зонтики, словно флаги, объявляя свои права на полоски земли. Носятся футбольные мячи и «летающие тарелки». Юные спасатели в зеркальных очках, загадочные, как сфинксы, сидят на белых деревянных тронах, поставив рядом тихо играющие радиоприемники.

— *Я* думаю, они уже давно, — доверительно сообщает Джилли. — Даже не тогда, когда дядя Джимми приехал этим летом, а еще с прошлого лета. Или даже с позапрошлого.

— И никто их не застукал и ничего не заподозрил?

— Такие вещи не из тех, что подозревают, — говорит Джилли. — Если бы мы не оказались в том классе, мы бы тоже не подозревали.

Он пожимает плечами, на этот раз успешно глотая «колу».

— Ладно, когда бы оно там ни началось, а теперь мы знаем.

— Просто поразительно, как можно устроиться прямо у людей под носом, — говорит Джилли. — Заставляет задуматься, что еще тут может происходить.

— Ты считаешь, мы должны рассказать?

— А за каким чертом, Джек?

Джек задумчиво ковыряет песок на ходу.

— Не знаю. Это же нехорошо — то, что они делают. — Ощутив досаду и снисходительность со стороны Джилли, он добавляет: — Ну, считается, что нехорошо.

Она закатывает глаза.

— Много чего на самом деле не так, как оно *считается.* Другое дело, если бы он, ну, заставлял ее, или еще что. Тогда бы мы точно рассказали. Но этой ночью ничего такого не было.

Джек смеется, вспомнив настойчивость Эллен.

— Уж скорее она его!

— Да, Эл кого хочешь построит. Дядя Джимми, небось,

жалеет сейчас, что вообще с ней связался. Ты знаешь, что тут самое прикольное? Ему полагается следить, чтобы она ни под кого из окрестных ребят не легла! Ма и па жуть до чего трясутся, что она их опозорит — переспит с каким-нибудь спасателем и залетит, или что там еще. Ну, так дядя Джимми следит, чтобы этого точно не было!

— Черт его знает, что это за штука — секс, — говорит Джек.

— От него люди черт знает что выделывают, — соглашается Джилли. — Посмотри вот на всех этих: отличные счастливые семьи. Мамочки, папочки, деточки наперебой всем показывают, как у них все хорошо. Убеждая самих себя. Но заглянули бы мы за кулисы этого шоу, как тельпы, кто знает, что за фигню мы бы там увидели. Может, такое, по сравнению с чем у Эллен и дяди Джимми — просто невинная игра в бутылочку.

— От секса люди глупеют.

Джилли фыркает:

— Некоторым и так глупеть некуда. Слушай, я знаю, на что это похоже. Помнишь разумных вирусов из «Мьютов и нормалов»? Так вот, секс — именно такая штука. Это вирус. Только не разумный, а *дурной* вирус. От него люди становятся еще глупее, чем были.

— А что, если бы на самом деле были умные вирусы, превращающие людей в мьютов?

— Ой, зарази меня! — кричит она, раскинув руки, и вертится на песке. — Знаешь, кем бы я хотела быть? Тельпом! И тогда никто от меня ничего не скроет, я бы просто мысли читала. Знала бы все тайны про всех. И могла бы кого хочешь заставить делать что угодно.

— Похоже, у тебя это и так отлично получается.

— Заткнись! — Она толкает его плечом.

— Осторожно, ты! Рука!

Она глотает «колы» из банки, ничуть не обеспокоенная.

— Джек, а ты?

— Классно было бы летать, — говорит он. — Так что я, думаю, стал бы эйром. Только не так, как в игре. Другой породы мьютов.

— Какой другой породы?

— Ну, как мы.

Она смеется:

— Да нет, ты послушай! Мы умеем делать такое, чего не умеют другие, так? Каждый из нас знает, что чувствует или думает другой — по крайней мере достаточно часто. Иногда у нас даже сны одни и те же!

— Это потому что мы близнецы, а не потому что мьюты.

— А откуда ты знаешь, что мы только близнецы, а не мьюты тоже?

— Ну, просто знаю.

— Но ты должна признать, что есть люди, которые умеют что-то вроде чтения мыслей и предвидения будущего…

— Всегда есть люди, умеющие то, чего не умеют другие. Большинство людей — средние. Некоторые выше среднего уровня. Есть такие, что всех могут одним пальцем уделать. Но если какой-то пацан умеет бегать быстрее меня, или лучше рисовать, или дроби в уме складывать, это еще не мьют. Смотри, разве Эйнштейн был мьютом?

— Может, и был. И вообще есть разница между «сечь математику» и «мысли читать».

— Я ж не говорю, что нет. Но не слишком большая. Ты вспомни, Джек, люди даже половину своего мозга не используют. И представь себе, что мы могли бы делать, если бы использовали сто процентов. Может быть, люди с ментальными возможностями лучше используют мозги, или используют не те участки мозга, что мы, все прочие. Но и мы тоже могли бы этому научиться. Вот как я думаю.

— А как научиться?

— Ха, хотела бы я знать! Я только говорю, что это возможно, вот и все.

— То есть ты думаешь, что в реальной жизни мьютов нет.

— Я думаю, что есть объяснения получше, как люди читают мысли и прочее в этом роде. Ну, кроме шарлатанов, конечно, потому что большинство как раз мошенники.

— А вчера ты говорила, что «Мьюты и нормалы» — это взаправду.

— Я говорила, что это *метафора.* Это не одно и то же. По-моему, если хочешь что-то объяснить, надо найти самый простой способ. Вот вчера — это хороший пример.

Джек останавливается и смотрит на нее: ощущение такое, будто она читает его мысли, только сама не понимает. Вообще между ними это не так уж необычно, но сегодня довольно страшновато.

— А чего там вчера?

Джилли допивает банку, потом отвечает:

— Ты говорил, что помнишь, как ехал на какой-то охрененной волне, потом тебя сбросило и унесло в море. Но я ничего такого не видела, а я ведь все время стояла на берегу. Видела я вот что: ты зашел в воду по пояс, и тебя первой же волной перевернуло. Итак, почему у нас разные воспоминания о том, что было? Потому ли, что — ну, не знаю — тебя похитили

инопланетяне, потом подкрутили мне память, чтобы замести следы? Или ты стукнулся головой, когда тебя волна перевернула, и то, что ты считаешь памятью, на самом деле тебе примерещилось?

Джек мнется, не зная, что сказать. Навлекать на себя насмешку или презрение ему не хочется.

— Иногда правильным бывает самое дикое объяснение, — находится он наконец.

— А, так тебя на самом деле похитили инопланетяне?

— Ты сама понимаешь, что я не это хотел сказать.

— А что тогда? Слушаю внимательно.

— Да нет, не слушаешь. Ты уже все для себя решила. Ладно, проехали. Я иду обратно.

Он поворачивается, Джилли хватает его за руку — за больную, выше локтя. Он не может сдержать вскрик: как будто она нажала на болевую точку, о которой он даже не знал. Банка «колы» высказывает из онемевших пальцев, падает на песок и катится к воде, оставляя след карамельной пены. Джек вырывается в тот момент, когда Джилли его выпускает с выражением тревоги на лице.

— Ой, Джек, прости! Очень больно?

Боль в руке — как звенящий колокол, ясная и проникающая. Может, все-таки кость сломана? Глаза наполняются слезами, но он скорее умрет, чем прольет хоть одну.

— Я забыла про твою руку, — говорит она. — Честное слово, прости меня!

— Оставь меня в покое.

От дрожи в собственном голосе он ярится еще сильнее, отодвигает плечом Джилли и здоровой рукой поднимает опустевшую банку. И продолжает идти, не разбирая дороги, просто от Джилли подальше.

— Ну, не надо, Джек! — догоняет она его. — Не будь ребенком. Я не хотела, я же сказала.

— Джилли, я тебя предупреждаю.

— Слушай, давай ты меня тоже стукнешь? Я не буду давать сдачи, обещаю.

— Не хочу я тебя бить.

— Хочешь-хочешь!

— Не хочу! И заткнись.

— Я же знаю, что ты чувствуешь. Я же тоже это чувствую. Так что не пытайся мне соврать.

— Ладно, может, и хочу. Но я не дурак. Даже если ты не дашь сдачи, все увидят. И достанется мне, а не тебе.

Какое-то время они молчат. Джек снова может шевелить

пальцами, боль в руке уходит. И тут Джилли говорит:

— А давай влезем в океан.

— Чего?

— Никто не увидит, что делается под водой. И ты меня ущипнешь. Как захочешь сильно. Как захочешь долго. Я не шевельнусь и не пикну. И будем в расчете.

Это заставляет его остановиться. Он смотрит в синие, как бассейны, глаза сестры, жутко серьезные. Она встречает его взгляд, не говоря ни слова. Он знает, что она всерьез. Он ощущает ее честность и решимость, силу такую же мощную и потенциально разрушительную, как вихри урагана Белль, и столь же недоступную влиянию извне. Она пугает его не только своей неумолимой цельностью, не признающей препятствий и не знающей ни сомнений, ни колебаний, но и тем, что это вызов, как было вчера, когда она подначила его войти в воду. «Иди, а не то…» Он отворачивается.

— Все равно синяк будет.

— Мы сядем по горлышко. — Джилли все еще смотрит на него, не моргая. У нее на все есть ответ. — Ущипнешь меня через купальник. Тогда никто не увидит.

Джека слегка мутит. Как вообще до такого дошло? Был какой-то момент, где он чего-то сказал или сделал, с виду совершенно невинное, но это запустило цепную реакцию причин и следствий, приведших к *здесь* и *сейчас*? Если бы он только мог определить этот момент, удержать его мысленно и призвать достаточную волю и желание — или отчаяние, — мог бы он изменить его… и тем изменить историю? Не это ли случилось вчера, и не раз, а дважды? *По крайней мере* дважды, потому что это могло бы случиться и больше раз, только изменения такие мелкие, что он их просто не заметил. Может быть, это происходит непрерывно, и процесс ревизии идет секунда за секундой под поверхностью сознания, а результаты ему видны — если вообще видны — в мимолетном ощущении дежа-вю.

Джилли берет у него из руки банку, ставит на песок и свою ставит рядом. Стайка перевозчиков бежит прочь, ножницами мелькают черные, как у трубочистов, ноги. Джек будто от всего отстранен, будто он одновременно и проживает жизнь, и фиксирует ее как наблюдатель, на полмгновения впереди — или позади? В любом случае не синхронно с реальностью.

Океан тянется до горизонта, лежит, раскинувшись, под солнцем, и гладь его нарушают лишь всплески пловцов да чуть подальше — блестящие фиберглассовые корпуса да белые паруса прогулочных яхт и других лодок. Некоторые стоят на якоре, другие дрейфуют в течениях, а третьи движутся быстрее под

действием собственной тяги вдоль берега, и шум их моторов — как мурлыканье времени, разомлевшего на жаре. А совсем далеко видна пара больших кораблей — танкеры идут друг другу навстречу вдоль побережья Атлантики. Джеку они кажутся величественными и задумчивыми, словно айсберги, и при этом такими же воздушными, как дым, поднимающийся мазками к синему небу из их труб. Их вид наполняет непонятной тревогой, и Джек отворачивается, упирается взглядом в какую-то точку ярдах в двадцати от берега, где плавают на воде чайки, похожие на раскрашенных деревянных подсадных уток. Другие чайки патрулируют небо, и то и дело какая-нибудь из них падает камнем в воду, оставив едва заметный всплеск.

Сколько их, думает Джек, не всплывает обратно, пойманных неожиданно чем-то таким, чего не заметили их острые глаза сверху? И вздрагивает, вспоминая, как сам едва избежал гибели. Хочется ли ему снова туда? Если допустить, что там затаилось нечто, шевеление чего он ощутил в глубинах, а теперь оно совсем проснулось и ждет его возвращения?

— Смотри, какая вода спокойная, — говорит Джилли, чувствуя его нерешительность. — Бояться нечего.

— А я не боюсь, — отвечает он, сам зная, что это неправда.

— Тогда иди, а не то…

Забавно, думает он. Те самые слова, которыми она вчера его затащила в воду. Когда-то, когда родители еще были вместе, близнецы чем-то дико разозлили Билла (чем — все давно уже забыли), убежали от его гнева в свою спальню (у них тогда еще была общая спальня) и заперли дверь. Он дергал ручку и стучал в дверь, а они забились под кровать Джека, цепляясь друг за друга и дрожа.

— Открывайте! — орал он, как воплощение Страшного Серого Волка. — Пустите, а не то…

Уточнений не требовалось: неясная угроза была куда ужаснее своей неясностью, и наконец они отперли дверь и встали перед ним, держась за руки, трусливые отступники своего дела, предатели доверия друг друга. Наказание, как и преступление, уже никто не помнил, но слова Билла застряли в памяти и стали призывом к оружию: напоминанием о нехватке стойкости, приказом больше такого не допустить. Одну руку Джека сжимает Джилли, другую он сам стискивает в кулак и позволяет сестре завести себя в воду. На этот раз, думает он, она хотя бы идет вместе с ним.

Они медленно заходят поглубже, ежась от прикосновений воды, поднимающихся по горячей потной коже, выше колен, выше пояса, пока голова не начинает кружиться от контраста. Джек

жмурится на сверкание воды на солнце — словно рассыпанный мешок серебряных монет, и темнота под веками пульсирует цветными пятнами, как искаженное эхо зрения, пульсирует в ритме с подергиваниями в больной руке. Становится шумно: группа юнцов плещется и смеется неподалеку, громче слышны звуки ремонта, доплеровское глиссандо пролетающего рекламного самолета, пронзительные крики чаек, будто оплакивающие катастрофу, невосполнимую потерю. Ощутив намерение Джилли, Джек набирает в легкие воздух раньше, чем она ныряет, увлекая его за собой.

Он выныривает, отплевываясь, а рядом смеется Джилли. Джек смахивает с глаз воду, и ярко всплывает воспоминание, как он едва не утонул в бурных волнах, потеряв из виду безопасный берег и сестру; солнце сходит с неба, будто сорванное когтями волны. Он вспоминает, как швыряли его эти волны, словно кошачьи лапы мышонка, как он старался удержаться на плаву, как лезла в глотку вода с каждым вздохом. Как в конце алхимия усталости превратила руки и ноги в свинец, и он прекратил борьбу и опустился вниз, чтобы увидеть будто в растворенном свете погруженного солнца темные тени, тянущиеся к нему пальцами гигантской руки. И сейчас они еще к нему тянутся? И что сделают, если поймают?

Джилли сжимает пальцы.

— Ну, Джек! Спокойнее. Все путем.

— Может, мы это зря придумали.

Он тянет ее за руку, встревожено глядя мимо нее, выискивая какие-то нарушения гладкости воды: тень, скользящая под поверхностью, завихрение, как в старых фильмах о Годзилле, взлетающая вдруг стая чаек с криками и хлопаньем крыльев, уходящая от движения какой-то гигантской массы снизу.

— И что ты будешь делать? Всю оставшуюся жизнь шарахаться от океана?

— Так далеко я не загадываю. Отпусти руку!

Она не отпускает.

— Джек, посмотри на меня. Посмотри на меня, говорю!

Он смотрит. Выражение ее лица то же, что он запомнил с предыдущей ночи: свирепое и хищное. Только сейчас твердые самоцветы глаз смотрят на него, возбужденные, но холодные, пронизывая его лазером со всей силой ее сосредоточенной воли, как вчера, в реальности, которую никто другой не помнит, когда она подначила его влезть в штормовой прибой и смотрела, как он едет на самой большой в мире волне-убийце.

— Ты вдохни поглубже, ладно? И еще раз. Вот так. Смотри на меня, не отводи глаза! Теперь слушай. Ты не должен бояться

океана из-за вчерашнего. Я тебе не позволю бояться. Представь себе, что ты бросил учиться ездить на велосипеде после первого падения.

— Я чуть не утонул.

— И что тебе, медаль за это дать?

— Боюсь, у меня рука сломана.

— *Меня* бы это на берегу не удержало. Я бы заставила все стать как было; как бы ни боялась, что бы у меня ни болело. Самое важное — не быть трусом.

От этого он негодует в душе, тем более что знает: это правда… хотя боится не воды, а того, что под ней. Но если он расскажет, Джилл не поймет. Она подумает, что он про что-то вроде «Челюстей». Он сам себе не может описать, чего боится — как же объяснить это ей? Но отрицать, что боится, тоже не может. Слишком их чувства друг на друга настроены, она ощущает его страх прямо сейчас, как он ощущает ее презрительное нетерпение, ее решительное намерение подавить этот страх в себе и из него тоже вычистить.

— А шла бы ты, — говорит он.

— Сам иди, — отвечает она и брызгается водой.

— Нет, ты!

Водяная потасовка идет уже какое-то время, когда Джек соображает, что Джилли действует обеими руками. А это несправедливо, потому что у него рука прижата к боку, как сломанное крыло. Но главное — она его отпустила. Он свободен идти к берегу, да вот — не идет. Он уже не боится… ну, хотя бы *не так* боится. Что, как доходит до него, и было все это время целью Джилли. Они перестают плескаться. Он тяжело дышит, и она тоже.

— Ты это нарочно, — говорит он.

Она не может скрыть торжествующей ухмылки.

— Так ведь помогло же!

Легкость, с которой она им вертит, бесит Джека. И больше всего на свете ему хочется стереть ухмылку с этой рожи.

— Мы сюда не просто так пришли, — говорит он. — Пора тебе принимать свое лекарство. Если не сдрейфила.

Джилли не отводит глаз, и ухмылка не сходит с губ, когда она опускается в воду так, что только голова и плечи остаются над рябящей поверхностью.

И до него доходит, что она продолжает им вертеть. Но он не решается медлить. Он сокращает между ними расстояние, сам садится в воду, глядя ей прямо в глаза. И тянется здоровой рукой.

Джилли вздрагивает, когда он дотрагивается до ее бока.

— Не здесь, — говорит она. И переносит его руку на лифчик

своего купальника, покрывающего грудь почти такую же плоскую, как у Джека.

Лицо у Джилли становится еще более взывающим, когда Джек захватывает ткань и кожу между большим пальцем и фалангой указательного. Сжимая пальцы, он слышит резкий вдох, глоток воздуха чуть раскрытыми губами, но кто вздохнул — он или сестра, трудно сказать.

— Чего ты ждешь? — дразнит его Джилли. — Приглашения?

Он давит сильнее.

— Щекотно.

Но он слышит, каких усилий ей стоит сохранить спокойствие. Он ощущает железную стену ее воли и давление боли на эту стену, как наводнения на дамбу, чувствует возникшее напряжение не только в ней, но и более отдаленно — в себе, раздражение, начинающее разъедать самоконтроль.

— Малек меня клюет, — говорит она.

— А сейчас будет большой краб.

У нее в глазах блестят слезы, она прикусывает губу, будто пытается прогнать одну боль с помощью другой. Лицо ее бледно, ноздри раздуваются при дыхании. И оба они дрожат.

Но у Джека мурашки бегут по коже не от холода. Он пьянеет от смеси власти и беспомощности. Это как ехать на той волне, прицепившись к силе-большей-чем-жизнь, чья благосклонность — и он ощущал это тогда все время, хотя слишком далек казался этот шанс, чтобы о нем беспокоиться — может быть отобрана так же внезапно, как и дана, выдернуться из-под него без предупреждения, как ковер-самолет на высоте двадцати тысяч футов. Помня этот опыт, какая-то часть сознания хочет прекратить, перестать, пока еще можно. Но он ни за что не сдастся первым. Не доставит Джилли такого удовольствия.

— Скажи «хватит», — говорит он.

— Хватит дурака валять.

— Нет, просто «хватит».

— Хватит… — судорожный вдох… — дурака валять.

— Ну что ж, сама напросилась. Сейчас будет *лобстер*.

И он сквозь ткань бикини крутит ей сосок. Это вызывает стон, и Джек на мгновение думает, что победил, что сейчас Джилли сдастся, и все будет кончено, все будет нормально между ними, вернется прежнее равновесие.

А вместо этого ее глаза широко распахиваются. Румянец разливается по лицу, до сих пор такому бледному.

— Ох, — говорит она. И снова: — Ох. — Будто открылось что-то такое, что давно должно было быть очевидным. Кажется, она глядит одновременно за тысячу миль отсюда — и внутрь себя,

ушла куда-то, куда Джек не может за ней пойти, видит такое, чего не видит он. Как будто он подсадил ее перелезть через высокий забор сада, а сейчас стоит один на этой стороне, слушая доносящиеся оттуда ее восторженные вздохи.

И тут забор начинает рассыпаться. Не весь, не сразу, но достаточно, чтобы увидеть сквозь пролом цветы и фонтаны. Перед ним мелькает красота такая яростная, что ошеломляет все его чувства, он забывает время, забывает себя. И будто несется на волне чистого белого света, нет, он сам — волна, и Джилли тоже, кости, кровь и плоть растворились, атомы перемешались, рассеялись в воде и воздухе. Но это ощущение — как медленный рокот грома на крылатых следах молнии, и как бы ни был короток промежуток между ними, молния всегда хоть чуть-чуть, да опередит. Джек уже падает с этой волны, она уносится прочь, оставив их двоих за собой, и хотя он держится всем сердцем и волей, уже поздно. Всегда было поздно. Но все равно он держится, если не зато, что было, то за воспоминание о нем, уходящее почти так же быстро.

Он моргает — или это моргает мир. Пальцы его сжимают воду — Джилли в них нет. Он не помнит, чтобы отпускал ее. И он встает и поворачивается, тщетно высматривая сестру среди пловцов рядом или подальше, где плавают непотревоженные чайки. У него кружится голова, блестки океана — как танцующие алмазы, разбитые остатки волны света. Сердце стискивает страх, и секунду ему кажется, что ее *действительно* больше нет, что он ненамеренно изменил положение вещей самым ужасным, невообразимым образом. Или то, что тянулось к нему из холодных беспросветных глубин моря, схватило ее. Но она выныривает на пять-шесть ярдов ближе к берегу.

— Так помни, Джек! — кричит она. — Не рассказываем!

Нота торжества в ее голосе немного смущает, как и заповедь не рассказывать. Как будто он что-то не уловил. Но она ныряет, руслой исчезает под водой, и он не успевает спросить.

Будто определяя расстояние до уходящей грозы по времени между молнией и громом, Джек начинает считать секунды:

— Один гиппопотам, два гиппопотама, три гиппопотама…

В воду капает что-то, вроде как не вода. У него кровь идет из носа.

Загипнотизированный ужасом, он смотрит, как падает очередная капля, расплываясь алым облачком и тут же рассеиваясь. Он вытирает нос тыльной стороной ладони, глядит, потрясенный, на яркий мазок на коже. Сует руку в воду, испугавшись, что пятно останется навеки, как клеймо. Потом окунается сам.

Когда он выныривает, Джилли выходит на берег, облеченная водой как второй кожей. Он проверяет нос: остановилась кровь, слава Богу. Джек плывет к берегу, будто все носовые кровотечения можно навсегда оставить здесь… и с плеском останавливается в изумлении. Он работает обеими руками, и ему не больно. Осторожно, не веря себе, Джек поднимает левую руку — ту, которую повредил, может быть, даже сломал накануне, — сгибает ее, проделывает весь объем движений — и хоть бы что.

Он заходится радостным смехом, молотит по воде обеими руками, как не мог еще недавно, когда они брызгались с Джилли. Пловцы по соседству оглядываются на него как на психа, но ему плевать. Вот доказательство, которое он искал все утро, с таким трудом пытался построить. Он ничего не воображает, он действительно переменил одну реальность на другую. Как — он не знает, знает только, что не делал этого сознательно. Наверное, это была сила его желания, его гнева, его боли… но с деталями он разберется потом. Сейчас он уверен, что секрет этих чудес, каков бы он ни был, ему уже доступен.

— Джилли! — кричит он, шлепая по воде к берегу.

Она поворачивается, одной рукой подбирает с песка банку «колы», другой заслоняет глаза от солнца и смотрит, как он выбирается на берег.

Один раз он падает в спешке, пузом на мелководье. Потом встает и выходит, смеясь как сумасшедший.

— Рука! — кричит он, крутя этой самой рукой и направляясь к Джилли. — Посмотри, рука!

— Не брызгайся! — Она пятится, как от приближения мокрой и слишком дружелюбной овчарки.

— Прости. — Он останавливается, тяжело дыша. — Но ты посмотри! — Он снова делает рукой полный круг, на этот раз медленнее. — Прошла рука!

— Поздравляю. — На ее лице — полное непонимание. — А что с ней было?

— Очень смешно. Я…

Но естественно, она не помнит. Для нее этого ранения — этой реальности — просто не было.

— Ты что, Джек?

— Ничего, ерунда.

Все оказывается сложнее, чем он думал. И совсем не так весело. Даже если он ей все расскажет, она не поверит. И с чего бы ей верить? Он бы ей поверил, если бы она ему такое рассказала? Да ни в жизнь! Он бы решил, что она дурачится. Но что она тогда помнит? Только состояние его руки поменялось, или при этом он создал еще какие-то волосные трещины в ткани

мировой истории? Внезапно кружится голова, будто атомы, из которых состоят все вещи, разом утратили тот клей веры, что держит их вместе и придает им форму, и мир стал как домик из песка во власти ветра и волн. Одно движение, одна мысль Джека может оказаться куда разрушительнее Белль, и восстановить все будет куда сложнее.

— Джек, что с тобой?

Он выдавливает из себя ответ:

— Я вчера руку ушиб. Помнишь, когда волна меня перевернула?

— А, — говорит она, поняв ответ.

— Так сейчас все прошло, — продолжает он с облегчением: значит, волну она хотя бы помнит. Может быть, мир не настолько хрупок, как он боялся. Нет, конечно, не настолько. Да и как это может быть? Он всего лишь мальчишка, в конце-то концов. — Я боялся, что кость сломал, но на самом деле, похоже, просто ушиб.

— Ты должен был мне сказать. — Она подносит банку к губам, потом глядит на него, прищурившись: — А знаешь, все это время не было заметно.

— Она меня поначалу не беспокоила.

Он пожимает плечами, вспоминая совершенно ясно, как волна сбила его с ног — всего на миг. В этой новой реальности, не заменяющей прежних, а существующей рядом с ними, он не терял сознание, и Джилли не пришлось вытаскивать его из прибоя. Он прыгнул обратно, смеясь сквозь страх и шлепая по воде к безопасному берегу.

— Непонятно, почему я ничего не почувствовала, — не отстает Джилли. — Обычно я ощущаю, когда тебе больно.

— А нечего там было ощущать. — Вроде бы она подозревает, что он лжет. И действительно, на каком-то уровне подозревает: настолько они чувствительны друг к другу, что частично переживания каждого передаются другому. Но никогда ни одна ложь не сплетала столь сложной паутины, как эта серия несовместимых правд, каждая из которых для него одинаково реальна… но только для него. Это само по себе сбивает с толку. Что делать, думает Джек, если перемены будут продолжаться? Как создавать правдоподобие своих рассказов, если реальности в уме будут множиться?

— Ты уверен, что головой не стукнулся?

— В смысле?

— Ты как-то чудно себя ведешь со вчерашнего дня. Вдруг у тебя в душе носом кровь пошла. И ты думал, будто я переставила буквы в скрэббле.

— Кто-то же переставил, — говорит он с тайной улыбкой,

наклоняясь за банкой «колы» — на этот раз наполовину полной. Раз рука не повреждена, он банку и не ронял. Джек смеется.

— Что такого смешного я сказала?

Но если он не бросал «колу», и с рукой все в порядке, то что они с Джилли делали в воде? И если он помнит, когда новая реальность отделилась от старой, почему тогда он не помнит, что было несколько минут назад?

— Эй, Джек?

Он помнит, как они были в воде, помнит, как щипал Джилли через купальник. А чего не помнит — это почему, Или, точнее, старую причину он помнит, из прежней реальности, отмененной. Но не помнит новых причин, приведших к этому эффекту.

— Что ты минуту назад говорила — насчет «не рассказывать»?

— Видишь? Вот я про что. Ты где-то блуждаешь, задаешь жутко дурацкие вопросы.

— Не будь заразой. Просто ответь мне, ладно?

— Ты серьезно? — Она всматривается ему в глаза. — Ты в самом деле не помнишь?

— Клянусь.

Она закатывает глаза, вздыхает, опускает их снова.

— Ты хотел рассказать папе про Эл и дядю Джимми. Я не хотела. И я тебя вызвала на состязание, кто кого сильнее ущипнет. Теперь помнишь?

— Ага.

Как раз этого не хватало, чтобы включить память о споре с Джилли, когда они шли по берегу. И теперь Джек чувствует, что у него тоже болит сосок, и вспоминает: они оба сидят по шею в воде, с каменными лицами, не сводя пристальных глаз друг с друга, не моргая, а пальцы у них под водой щиплют и крутят кожу. Как будто разум сам защищает его от измененных причин и следствий, давая ему адаптироваться к новой реальности постепенно.

— Состязание по щипкам. И ты победила.

— Так я же всегда побеждаю. — Она расплывается в самодовольной усмешке. — Так что и не думай рассказывать.

— Не всегда, — возражает он.

— Ха! Помечтай, маленький братец.

— Черт побери, я тебе не ма…

— Кто последний — тот вонючка!

И она бросается бежать, смеясь, раскидывая за собой песок.

Джек стоит и смотрит, застигнутый врасплох. Потом бежит за ней, зная, что все равно не догонит.

По крайней мере в этой реальности.

Падение

Джек разламывает печенье «орео», половинку с начинкой передает Джилли, а себе оставляет пустую. Запихнув вафлю в рот, жует, запивает глотком «колы» из ледяной баночки, стоящей рядом. Новое печенье — и повторение того же процесса. Джилли ждет, пока у нее окажутся две половинки, соединяет их, создавая «орео» с двойной начинкой, и ест его, как сандвич с мороженым, выжимая тоненькое кольцо белой начинки, осторожно слизывает ее и скусывает, а потом заканчивает печенье в четыре приема. Известно, что пакет «орео» они уделывают за пятнадцать минут — Джек разнимает, Джилли соединяет с механической эффективностью сборщиков на конвейере.

Сейчас они едят уже не торопясь: достаточно ранний ужин, и их внимание сосредоточено на различных принадлежностях, разложенных на столе для пикников на закрытой сетками веранде, где они сидят рядышком, ожидая начала сегодняшней игры. Среди прочего есть и деревянная линейка с измазанным графитом металлическим краем, рассыпанная горстка желтых карандашей номер два (дядя Джимми пишет только такими остро отточенными карандашами), желтая четырехгранная кость, пять красных шестигранных костей (добытых из игры «Яхтзее»), зеленая восьмигранная кость, синяя двенадцатигранная и две прозрачные пластиковые двадцатигранные кости, блестящие в свете шестидесятиваттной лампы над столом, как пара неземных алмазов посреди бледных геометрических форм фальшивых самоцветов. И, конечно, толстая и затрепанная книга «Руководство играющего» и еще более толстая «Книга Шансов Мастера Игры» (запретная для всех, кроме дяди Джимми во время игры, хотя Джек и Джилли часами изучали ее страницы, мечтая когда-нибудь сами стать Мастерами Игры). Из портативного магнитофона дяди Джимми звучит гитара Боуи «Diamond Dogs», ворча и взлаивая под сырой поверхностью вечера.

Дядя Джимми сидит без рубашки на корточках с другой стороны стола, методично катая кости за импровизированной ширмой из двух коробок из-под хлопьев, «лаки чармз» и «каунт чокула», а крышка от самой игры вставлена между ними стоймя: цветная, как обложка комикса, с изображением эйра, взлетающего с усеянного руинами берега, а энергичная молодая русла плещется соблазнительно на мелководье. Над этим бастионом видны только черноволосая голова дяди Джимми да уходящая вверх струйка сигаретного дыма. Чего бы Джек только не дал, чтобы глянуть на карты и записки, спрятанные за этой завесой!

Но вместо этого он и Джилли должны вслепую брести по миру, построенному дядей Джимми, натыкаясь на чудеса и опасности без — или почти без — предупреждения, и если они (точнее, их персонажи) выживают, записывать все на графленой бумаге и учетных карточках три на пять дюймов. Это как если бы будущая легенда уже наполовину создана, закутанная в туманы, что поднимаются при их проходе… или не поднимаются, но густеют прямо на глазах, потенциальное существование становится реальным силой актуализации их взгляда и судьбоносным полетом костей из их рук. Ночь за сетками террасы, удерживаемая единственной лампочкой, будто наполнена нематериальными, полусформировавшимися предметами: скелетные контуры ветвей блестят сквозь туман листвы, мотыльки и прочие насекомые, притянутые светом как духи, жаждущие воплощения, бьются в сетки с шумом, напоминающим слабый эктоплазменный дождь. Звуки машин на шоссе № 1 — как ветры, дующие в других мирах, бессильные пошевелить листок в этом, — и волны, опрокидывающиеся на берегу, слышны на фоне музыки и проникают в самые кости, как будто этими приливами управляет какой-то погруженный в глубину двигатель, чьи неустанные вибрации проникают сквозь песок, взбираются по сваям дома, ввинчиваются в тела и создают чувство, что веранда — это плот в океане сонной тьмы.

Джек пересматривает измазанные серым и много раз стертые учетные карточки, на которых они с Джилли записали имена и свойства своих персонажей: сила, интеллект, интуиция, телосложение, ловкость, психонические способности, мутагенный потенциал, сила воли и число очков жизни, все это определялось в начале игры отдельным броском от двух до пяти (в зависимости от расы персонажа) шестигранных костей. В ходе игры основные показатели этих пяти качеств могут меняться вверх или вниз двумя способами. Во-первых, с опытом, когда персонажи что-то выигрывают во взаимодействии с другими персонажами (обычно убивают их). Когда накопится достаточно баллов опыта, персонаж переходит на следующий уровень, где его игрок мечет еще одну шестигранную кость, и результат указывает число дополнительных очков, которые надо разделить между девятью свойствами. А во-вторых, когда во владение персонажа попадает оружие, броня или другие предметы. Например, натянув пару антеховских перчаток, можно увеличить (или уменьшить!) силу персонажа, а контакт с разумным вирусом может на время или навсегда изменить психонические способности.

Поскольку Эллен шарахается от костей и графленой бумаги как черт от ладана, а для нормальной игры в «Мьютов и

нормалов» нужно как минимум пять персонажей, Джек играет тремя, и Джилли двумя. Джек ведет Чеглока, эйра, Халцедона, шахта, и Феникса, салмандера. Джилли играет за Полярис, тельпицу, и Моряну, руслу. Как ни странно, вклад Джилли больше, чем Джека, из-за псионических способностей тельпов. Полярис умеет проецировать своего вирта и виртов других мьютов в Сеть, а поскольку виртуальность Сети открывает возможности для действий, совершенно невозможных в физическом мире, — возможности, ограниченные лишь силой воли персонажа (изначально и для мьютов, и для нормалов определяется суммой очков на трех шестигранных костях), Джек и Джилли также играют (и вынуждены вести соответствующие учетные карточки) за виртов своих персонажей. Каждый персонаж управляет своим виртом — опять-таки за исключением Полярис, которая может временно брать на себя управление четырьмя другими персонажами-мьютами и их виртами, а не только проецировать своего.

Таким образом, в данный конкретный момент и в данной конкретной игре Джек иногда играет шестью персонажами: тремя реальными и тремя в Сети, а Джилли порой приходится жонглировать десятью — но недолго, потому что Полярис еще не набрала достаточно опыта, чтобы поднять свой уровень, а вместе с ним псионические способности (изначально для всех классов мьютов они определяются суммой пяти шестигранных костей, а для нормалов — двух) достаточно высоко, и пока не способна управлять и физическими, и виртуальными телами пяти объектов, даже при их согласии. Напряжение это огромно: каждый мьют, которого она виртуализует в Сеть, сжигает баллы псионических возможностей, а когда она объединяет всю пентаду в гештальт, расход еще больше. Когда кончаются псионические баллы, связь с Сетью истончается, ее становится труднее и опаснее поддерживать. Если уходит треть псионических баллов Полярис, Джилли должна в начале каждого тура решить, будет она поддерживать связь тельпицы или разорвет. И с каждым туром, когда она решает держать Полярис на связи, она должна делать прогрессирующе высокие спасительные броски на двадцатигранной кости, а если у нее один такой бросок не выйдет, связь прерывается автоматически, Полярис получает и физическую, и псионическую травму — жизненные показатели тоже падают, иногда до смертельного уровня, потому что ментальная сила тельпов компенсируется физической слабостью (тельпы для определения изначальных показателей свойств силы и телосложения бросают две шестигранные кости, а для определения баллов жизни — три кости; персонажи других рас —

четыре, иногда пять). Тельпы высокого уровня умеют поддерживать в Сети большее число желающих и не желающих субъектов более долгое время и с меньшими затратами, а еще — захватывать контроль над физическими телами и создавать субвирты виртов. Но Полярис добралась только до четвертого уровня, и за пределами основных телепатических способностей, свойственных ее расе, она практически ограничена умением виртуализовать членов своей пентады, при этом формировать и поддерживать гештальт мьютов, а также — если кости ей улыбнутся (что, должен признать Джек, происходит довольно часто) — иногда создавать субвирта.

Что Джеку кажется самым странным и удивительным в «Мьютах и нормалах» — так это то, что, несмотря на всю сложность: частые броски костей с разным числом граней и почти оккультные таблицы, по которым определяется даже не исход события, а происходило вообще такое событие или нет, огромное количество и разнообразие ситуаций, которые могут возникнуть между игровым и неигровым персонажем в придуманном мире, чьи глубинные тайны неизвестны даже его создателю, кропотливая работа вычерчивания надежных карт только по словесным описаниям Мастера того, что видят персонажи в конкретный момент плюс еще дополнительная трудность слежения за виртами, идущими квазинезависимыми путями игры в Сети, — несмотря на все это и многое другое, что превращает описание игры в непроницаемые изощренные арканы, отпугивающие непосвященных (Билл послушал объяснения Джека и Джилли минут пять и заявил: «Рассчитывать на счетах свой подоходный налог, ожидая в приемной дантиста — и то куда увлекательней», и столь же решительно, хотя и не так красноречиво, реагировала Эллен)… так вот, несмотря на все это, «Мьюты и нормалы» — без вопросов — самая захватывающая из всех игр, в которые Джеку приходилось играть. Ни одна другая игра не захватывала его воображение столь сильно и не казалась такой волшебной — и при этом такой реальной.

Когда Джек держит в руке карточку Чеглока, или Феникса, или Халцедона, чтобы посмотреть, что там написано, или добавить или изменить запись, воображение пробивается сквозь чащу карандашных цифр и слов, через изгородь тоненьких синих строчек к идущей на той стороне жизни. Не то чтобы он *видел* этих трех мьютов каким-то дурацким зрением другого измерения… хотя может их отлично описать, и не только благодаря иллюстрациям на коробке и в книге правил. Чеглок — высокий и, по меркам нормалов, худой, даже изможденный, с плюмажем на шее, как у сойки, а на голове развевается гребень из

перьев, будто ирокез у панка — развевается всегда, когда Чеглока что-то волнует, а это бывает часто. Феникс — безволосый, черная кожа изрыта трещинами, пылающими, как жилы магмы, а Халцедон — живая статуя, вытесанная из гранитной глыбы, слабые глаза глубоко сидят в морщинистом как камень лице, прикрытые от безжалостного наземного света парой черных очков, как у Стиви Уандера. Но Супермена и Шерлока Холмса Джек тоже мог бы описать, и это вовсе не значит, что они существуют независимо от его способности их себе представить. Тут другое. То, что он чувствует за картами или посредством карт, это что-то посильнее. Такое, что он представляет себе, а не создает воображением.

И даже Джилли, обычно из них двоих более скептичная, признает за этой игрой какую-то странную убедительность. Поскольку близнецы так часто осознают свое существование под углом к той плоскости, которую они полушутя называют «Страной Одиночек», идея других миров рядом для них не слишком чужда. Иногда ночью, когда они лежат в параллельных вселенных в своих койках, а запах травки и мешанина неразборчивых голосов доносятся сквозь открытое окно с верхней террасы, где дядя Джимми и Эллен делят свою тайну, о которой до вчерашнего дня никто и не подозревал, Джек и Джилли лихорадочно обсуждают массу абсурдных вопросов, как первокурсники колледжа — философию, все вполне серьезно и притом так умозрительно, что всерьез они это принимать не могут. Например, допустим, что Чеглок и все прочие где-то существуют, в какой-то форме. Зависит ли их судьба в этом «где-то» от перестука костей на столе для пикников в доме Дунов? Или же наоборот: их мысли, действия или желания каким-то образом управляют выпадением граней на костях в этом мире? Существовали ли мьюты и нормалы до того, как появилась игра, или игра их вызвала к жизни, словно какой-то магический обряд? Если верно первое, то не они ли вложили в мозг дяде Джимми идею «Мьютов и нормалов», как могла бы Полярис тайно вложить мысль в мозг нормала? А если да, то для какой цели? Или их притянула игра — точнее, идея игры. — инстинктивно, как мотыльков и прочих ночных насекомых тянет к окнам веранды на свет шестидесятиваттной лампочки над столом, где дядя Джимми выглядывает из-за барьера, сложенного из коробок, скрывая глаза за темными линзами (чтобы не показывать красноту, свидетельствующую о травке, которую он любит покурить перед игрой, а Джек и Джилли делают вид, будто не замечают этой привычки, как не замечает дядя Джимми исчезновений сигарет из своих заначек), а они ждут, пока дядя Джимми начнет

объявления.

— Ладно, — говорит он, отпивая «Будвайзер» из бутылки, первой за вечер. Обычно сеансы игры тянутся несколько часов, или столько, сколько надо дяде Джимми, чтобы выпить всю шестерку бутылок, а за это время в мире игры могут пройти и мгновения, и целые месяцы. — Если я правильно помню, до того, как нас так грубо прервала Белль, вы решили запрятаться на ночь в заброшенном доме. Так?

Вопрос риторический. Несмотря на травку и пиво, ещё никогда не бывало, чтобы дядя Джимми хоть что-то забыл из прошлого сеанса игры. Во всяком случае, когда Джек и Джилл пытаются втереть ему очки, он их ловит, хотя это не значит, что они не будут продолжать свои попытки. Уж в этом смысле они точно пошли в отца. Вообще-то всегда есть шанс, что дядя Джимми проверяет их память, пытаясь сам втереть им очки — в конце концов, он ведь брат Билла. Ну, наполовину — по отцу.

— Верно, — подтверждает Джилли. — И там в подвале нашли потайную дверь, которая сперва не открывалась, помнишь? Вирт, стоящий на страже, был по-настоящему старый, и никто не пытался его пройти или даже с ним говорить уже сотню лет. Он малость тронулся или просто в детство впал от такого долгого одиночества. И был не особо умен — у него даже имени не было.

— Лучшие из сторожевых виртов умом не отличаются, — говорит дядя Джимми. — Сделай их разумными, и они от большого ума станут сами решать, открывать или не открывать. Умных виртов можно запугать или подкупить — точно как людей и их виртов. А тупые программы упрямы и хранят верность, что бы там ни происходило.

— Да, но их можно перепрограммировать. Тельпы так делают с помощью псионики, а нормалы — псибертронными приборами. — Как обычно, Джилли не удержалась от роли всезнайки. — И вот это мы и сделали. У меня Полярис субвиртуализировала программу так, чтобы она пропускала нас, а все остальное — нет. — Джилли выбрасывает кулак в воздух: — Да здравствуют тельпы!

Еще одно свойство «Мьютов и нормалов», общее с некоторыми книгами и снами — способность создавать свою сетку времени. Не важно, сколько прошло между сеансами игры: как только Джек и Джилли ее возобновляют, будто возвращаясь к заложенной странице или согретой сном подушке, истинное время отступает на задний план, а на первый выходит время игры, с того места, где остановилось, будто остановки и не было. События, которые описывает Джилли, произошло несколько дней

назад, в четверг вечером, перед прибытием Билла (или приходом Белль), но в счете игры это было лишь мгновение назад.

— Полярис этой старой уродине даже имя дала, — продолжает Джилли со смешком, превращающимся в гогот. — Амбар.

Имя напоминает миссис Эмбер, местную вдову неопределимого, хотя почтенного возраста. Амбар, как ее уже наверняка не первыми окрестили Джеки Джилли, владеет лавочкой «Наживка и снасти Эмбер» — небольшим сарайчиком у бухты Литтл-бей, на велосипеде через шоссе № 1, где Дуны держат свою семейную яхту: потрепанное, но все еще мореходное (хотя бы по бухте) алюминиевое каноэ. Миссис Эмбер — маленькая, круглая, морщинистая коротышка, известная источаемым ею мощнейшим запахом лаванды, кожей, столь смуглой, что цвет ее напоминает апельсин, и собачкой Флосси — запаршивевшим и злобным той-пуделем, которого она с собой таскает, прижимая к надушенной груди, как ведьма — своего фамилиара.

— Не задирай нос, — ворчит дядя Джимми, тыча сигаретой, сменившей пивную бутылку. — Для тельпа четвертого уровня вроде Полярис перепрограммировать вирта, даже тупого — колоссальная удача. Тебе повезло с броском.

Джилли пожимает плечами с небрежностью вечного везунчика.

— Как бы там ни было, а сейчас утро, и пора убивать нормалов — правда, Джек? Смерть нормалам!

— Не торопись, красотка, — перебивает дядя Джимми, улыбаясь. — Там еще всякие мерзости бродят в ночи.

В самодовольной ухмылке Джилли смешались сахар и сладкий яд.

— Но мы же уже отстояли стражу, дядя Джимми! Перед концом игры это было последнее!

— Что-то не помню.

— Это от пива, дядя Джимми. От него у тебя забывчивость.

Дядя Джимми в пародийном салюте вскидывает бутылку вверх.

— За забывчивость! — Он отпивает приличный глоток и спрашивает: — Ладно, так кто первую стражу стоять будет?

— Но это же было в прошлый раз! — ноет Джилли. — Вот у Джека спроси!

— А что, он разве тоже не может соврать?

— Джек не врет!

— Брось, Джилли! — Злой свет лампы снимает тени с лица дяди Джимми, когда тот глядит в небо. — Джек делает то, что ты

ему говоришь.

Такую клевету Джек не может оставить без ответа.

— Дядя Джимми, не надо!

Дядя Джимми медленно затягивается сигаретой.

— Ладно, — говорит он, пуская клуб дыма. — Докажи.

— Давай! — Джилли толкает Джека локтем так, что он вздрогнул бы, если бы мир оставался прежним. — Скажи ему.

Как же такое случается?

— Правду сказать… — Они смотрят на него, так, будто знают заранее, что он скажет. Настолько он прозрачен? Он действительно всегда делает, что говорит Джилли? Если уж он может изменить весь мир, то себя — наверняка. — Правду сказать, мы стражу не стояли. Нам еще надо ночь пережить.

— Предатель! — шипит Джилли.

Дядя Джимми фыркает со смехом:

— Ладно, Джилли, в следующий раз повезет.

Она пожимает плечами, подбирает ноги под скамейку, будто инцидент исчерпан, а тем временем изо всей силы щиплет Джека за ногу под столом.

— Ой! — вскрикивает он, отдергиваясь. — Перестань!

Она с невинной улыбкой хлопает ресницами.

— Прекратить! — говорит дядя Джимми раньше, чем Джек успевает возмутиться. — С нормалами будете драться. А сейчас, если вы все еще хотите играть: кто берет первую стражу?

— Моряна, — вызывается Джилли.

— Что-то странный какой-то энтузиазм вдруг.

Она пожимает плечами:

— А ты брось двадцатигранную.

— Зачем?

— Мне, чтобы знать, а тебе — выяснить… может быть.

Джилли берет прозрачный двадцатигранник и мечет сверкающий кристалл по столу. Он отскакивает от коробки из-под «лаки чармз».

— Семнадцать, — объявляет Джилли, когда кость останавливается, и тон ее провоцирует дядю Джимми на самое худшее.

А он тем временем кидает точно такую же кость на своей стороне загородки. И отвечает, не глядя:

— Моряна ничего необычного не видит и не слышит.

— А Амбар?

— Амбар тоже. — Дядя Джимми делает еще глоток пива и рыгает. — Пардон, — говорит он, а Джилли хихикает. — Ладно, кто следующий? Джек, ты что-то до ужаса тих.

— Вроде бы, — отвечает он, пожимая плечами.

— Все в порядке?

— Конечно.

Джилли бросает на него предупреждающий взгляд, и Джек понимает, что она думает, будто он все еще возмущается из-за Эллен и дяди Джимми. На самом деле это его не беспокоит. Джек вне игры — в буквальном смысле слова. Он снова переживает тот же парадокс сочетания параллельных, но расходящихся реальностей у себя в уме. Фишка в том, что до сих пор у него и Джилли персонажи были *нормалами,* а не мьютами: пять рыцарей, молодых аристократов, покинувших двор Плюрибуса Унума искать славы и удачи в диких просторах Пустыни. Он знает их не хуже, чем Халцедона, Чеглока, Полярис, Моряну и Феникса. Знает их имена, их свойства, историю; их виртов, знает, как они выглядят во плоти и как в Сети, знает, какая псибертронная броня у каждого из них, какие у каждого оружие и сетевые приспособления. Знает, сколько очков опыта они набрали, помнит, как было получено каждое из них охотой на мьютов. Он помнит карты пустыни — и похожие, и не похожие нате, что лежат сейчас перед ним на листах графленой бумаги, нарисованные с помощью карандаша и линейки. Всего этого теперь нет. Оно не отменено, но для всех, кроме него, стерто из нового мира, вызванного им к жизни желанием, чтобы рука никогда и не была ранена. От этого одного измененьица пошли кругами волны дальше, чем ему хотелось, или чем он мог себе представить. Не только (относительно говоря) в будущее этого события (или не-события), айв прошлое.

Сейчас Джек помнит два варианта почти трех недель после приезда дяди Джимми с подарком — новой игрой, и эти варианты идентичны во всем, кроме одного пункта: в первой версии Джек и Джилли играли за нормалов, а в этой — всегда за мьютов. Более того, те нормалы убили этих мьютов, а теперь эти мьюты убили тех нормалов. И еще более — это произошло при одних и тех же обстоятельствах: стычка прямо здесь, в развалинах безымянного довоенного городка, в предыдущем сеансе игры. Для Джека обе версии реальны, хотя только последняя, позднейшая — если (в чем Джек далеко не уверен) такие временные различия сохраняют какой-то смысл — реализована, так сказать, физически. Вопрос в том, будут ли эти круги расходиться дальше в прошлое, и если да, то как далеко? Джек думает, сколько ему еще придется держать в уме параллельных версий, и его начинает подташнивать. Впрочем, может, он просто «орео» переел.

— Следующая стража моя, — предлагает он. — В смысле, Халцедона.

— Бросай двадцатигранник.

Он бросает.

— Двенадцать.

Дядя Джимми выглядывает из-за коробок:

— Халцедон слышит какие-то звуки за дверью.

— А что это?

— Неизвестно.

— Я приставляю ухо к двери и слушаю.

— Слышно, будто кто-то принюхивается.

— А голоса?

— Нет.

— А вирт? — спрашивает Джилли. — Амбар что видит?

Перед тем, как ответить, дядя Джимми обычно консультируется за своей ширмой с игральными костями (или делает вид, что их бросает — привычка, из-за которой Джеку и Джилли невозможно понять наверняка, действительно ли конкретное событие происходит случайно и ничего само по себе не значит, или же оно входит в более широкую систему событий, организованную дядей Джимми в его личине богоподобного Мастера Игры), но сейчас он не дает себе труда это делать.

— Если бы Полярис не спала, она могла бы сама спросить Амбара и выяснить, — отвечает он. — К сожалению, Джилли, как ты сама отлично знаешь, Халцедон — шахт, а не тельп. Ни с виртами, ни с чем еще в Сети он контактировать непосредственно не может. Может, тебе стоило велеть вирту разбудить Полярис, если кто-то будет принюхиваться с той стороны двери?

— Но я же велела, дядя Джимми!

— Давай не будем начинать по новой.

— Нет, правда! Когда я субвиртуализовала Амбара, в порядке перепрограммирования я велела ему нас всех впускать, и никого другого. Очевидно, что это значит: нас надо предупредить о любой возможной опасности!

— Я не тельп, Джилли, и не умею читать мысли. Ты должна мне говорить точно, что собираются делать твои персонажи, *перед* тем, как они это сделают.

Джилли пробует зайти с другого конца:

— Халцедон может разбудить Полярис. А она может поговорить с Амбаром.

— Именно это ты и хочешь сделать, Джек? — спрашивает дядя Джимми.

— Ну же, Джек! Там, может, нормалы лезут!

— Не знаю, — говорит он. — Судя по словам дяди Джимми, вряд ли нормалы. Скорее бродячие собаки.

— Иногда нормалы охотятся на мьютов с собаками, — замечает Джилли.

— По звуку похоже на собак, дядя Джимми?

Снова стучат кости за коробками.

— Как я уже сказал, ты слышишь, как кто-то сопит.

— Ты сказал «принюхивается», — цепляется Джилли.

— Какая разница? — Он присасывается к сигарете и пускает струйки дыма из ноздрей, как карикатура на салмандера. — Давай, Джек. Будешь будить Полярис или нет? Не сидеть же нам всю ночь.

— Разбуди меня, разбуди!

Джек думает. Если бы у двери слушал он, то разбудил бы Полярис сразу. Но дежурит не он. Он играет Халцедона, а не Джека Дуна, и действовать должен, как должен был бы действовать Халцедон. Как не раз говорил дядя Джимми, «не просто так игра называется ролевой». Шахты горды и упрямы, терпеть не могут зависимости от других мьютов, и больше всего — от тельпов, подозревая их (не беспочвенно) в том, что они считают шахтов низшей расой. И не только в этом дело, а еще и в том, что шахты — как руслы, салмандеры и эйры — не доверяют умению тельпов вертеться в Сети… не говоря уже про способность читать мысли и внушать действия. И потому вряд ли Халцедон сейчас обратился бы к Полярис, разве что деваться было бы некуда.

— Халцедон решает подождать, не уйдут ли те, кто там нюхает.

— Дурак твой шахт, — говорит Джилли, толкая его снова локтем в бок.

Он отвечает тем же:

— Это Полярис твоя дура.

— Она хотя бы на камень не похожа.

— Это лучше, чем быть похожим на нормала.

— То, что было за дверью, удалилось, — перебивает их дядя Джимми. — Если кому-нибудь еще интересно. До утра осталась одна смена. Кто берет на себя?

— Чеглок, — предлагает Джек.

— Моряна, — одновременно с ним говорит Джилли.

Дядя Джимми вздыхает, глядя, как они злобно таращатся друг на друга.

— Бросьте каждый шестигранную. Кто больше, тот и дежурит.

Как будто вопрос дежурства решит не самый удачный, а самый быстрый бросок, Джек и Джилли хватают кости как можно быстрее, как герои вестерна, стремящиеся опередить противника.

* * *

Остановившись перед двухэтажным домом, который, как показала воздушная разведка Чеглока, единственный из всех сохранил крышу, пентада укрывается за остатками какого-то заросшего служебного строения. Перепутанные стебли серебристо-зеленого плюща извиваются, как застывшие змеи, переплетаются лозы, скопления лиловых и желтых цветов беззвучно раскрывают и закрывают лепестки, напоминая Чеглоку рыбьи рты. Весь день прошел в мокрых и промозглых сумерках под гнетущим, сланцево-серым небом, а теперь, когда солнце садится, даже это скудное освещение угасает. Дождь припускает сильнее, где-то ворчит гром и сверкают зарницы, возвещая приближение бури, накапливавшейся целый день. Такой бури, которой Чеглоку не рассеять, хотя ее приход он задержал. Сюда, в этот город, который карты называют Дэгсборо, они заглянули в поисках крова.

Окна и двери обветшалого дома зияют неправильными дырами, проливающими в мир темноту. Но все равно острые глаза Чеглока различают большие черные буквы над черной дырой, где когда-то, наверное, был главный вход: **СР НЯ К ЛА «ОРД ЛТИМ»**, и граффити, покрывающие весь осыпавшийся фасад из красного кирпича: палимпсест выцветших фресок, грубые штрихи, изображающие половые акты, стилизованные имена и даты, нацарапанные ругательства и лозунги. Повсюду лемнискаты и священный символ нормалов: наложение Звезды, Креста и Полумесяца, Крестозвездный Полумесяц, и такие восклицания, как «СМЕРТЬ НОРМАЛАМ!» и «СМЕРТЬ МЬЮТАМ!». Живое напоминание, думает Чеглок, что Дэгсборо не всегда столь покинут, как повезло им найти его сегодня… или, точнее, не настолько покинут, как показалось ему в облете и Полярис в одновременном сетевом исследовании, но он ни тому, ни другому до конца не доверяет. Много есть мест, где можно спрятаться в разрушенном городе, и он не думает, что нормалы — или, кстати, гризлеры — больше любят торчать под дождем, чем он сам.

— Что ж, вид гостеприимный, — говорит Феникс.

Салмандер поднял температуру тела так, что дождь шипит и испаряется на его черной коже, как на горячей плите. От асбестового рюкзака идет пар.

Халцедон пожимает плечами, с капюшона и плаща льется водопад.

— Все лучше, чем еще ночь под открытым небом.

— После тебя, Халц, — приглашает Моряна.

Она сняла сухопутный костюм и осталась только в шортах. Для нее такая погода лучше всего, что бывает на суше.

Никто не двигается. Слышно лишь ворчание грома, стоны

ветра, ровное шипение и шкворчание испаряющихся капель.

Наконец Полярис встает, поправляет рюкзак под плащом.

— Смешно. Что, так и будем всю ночь здесь стоять?

— Не нравится мне мысль вот так, дуриком, войти в парадную дверь, — бурчит Халцедон. — А заднего входа тут нет?

Полярис вздыхает, явно услышав сомнения в ее квалификации.

— Есть задний вход, — сообщает она. — Но в нем нет необходимости. В такой развалине это одно и то же. Никого там нет, если не считать нескольких диких собак и кошек, развалины пусты. Весь Шансом проклятый город пуст, сечете? Если бы вы так не боялись Сети, дали бы мне вас виртуализовать и посмотрели бы своими глазами.

— Мы не боимся, — возражает Халцедон. — А только Сеть — это для нормалов.

— А я тогда кто? — резко спрашивает Полярис.

Все молчат.

Наконец говорит Феникс:

— Пол, осторожность не повредит.

Полярис закатывает глаза:

— Вот спасибо, Ложная Тревога!

— Я тебе сказал, чтобы ты меня больше так не называла!

— Слушайте, давайте проголосуем, — быстро предлагает Чеглок, пока они не разругались всерьез. — Кто хочет войти через задний вход, поднимите руки.

Поднимаются четыре руки.

— Ладно, — соглашается Полярис. — Тогда пошли.

Они обходят дом, Полярис впереди. Ступает непринужденно, будто на вечерней прогулке по бульвару в Многогранном Городе. Чеглок и другие спешат за ней, прячась в жалком укрытии неровного кольца кустов и деревьев. — Не слышно звуков, не видно движения, никаких признаков жизни в развалившемся доме — хотя Чеглок и не ожидал, что они будут. Наверное, — Полярис права, но и Феникс тоже. Здесь Пустыня, и паранойя себя оправдывает.

Задняя сторона здания настолько похожа на фасад, что какую-то секунду Чеглоку кажется, будто под дождем они не остановились вовремя и обошли полный круг. У него возникает чувство, что вся эта история не стоила возни, можно было бы найти и лучшее укрытие от бури. Но тут он замечает отсутствие букв над зияющей пастью двери, и недоумение проходит, оставив за собой чуть беспокоящее неуютное ощущение, будто он налетел на паутину в сумерках. Он проводит рукой перед лицом, словно смахивая ее.

— Так будем входить, Чег, — доносится голос Полярис, полный язвительности, — или ты предпочтешь голосовать еще раз?

— Шла бы ты, Пол!

Она со смехом поворачивается и направляется ко входу. Остальные в угрюмом молчании следуют за ней. А потом перед самой дверью Полярис резко останавливается. И сразу же Чеглок чувствует холодный, жесткий удар, с которым ее разум входит в его мозг, ее мысли проникают в его мысли. Псионическое вторжение быстро и соблазнительно… и все же это обнаженное проявление силы грубо — неотразимо, ему невозможно противиться, хотя можно негодовать, пусть даже отлично зная, что только в случае крайней необходимости тельпам разрешено воздействовать своей силой на других мьютов без предварительного согласия.

Нормалы! — звенит в голове голос Полярис. *Западня!*

И в тот же миг, не успев даже ахнуть от удивления или осознать первые искорки страха, Чеглок испытывает тошноту ментального разделения, сжатия и переноса, сопровождающую каждую виртуализацию. Как будто клочок его ума, его сущности, отделили, сложили в бесконечно малый комочек, выдернули, оставив привязанным парапсихической пуповиной, и та тянется, тянется, но никогда не порвется.

Он знает, что остальных Полярис тоже предупредила, она тащит их в Сеть, где сперва развернет их в виртов, потом виртуализованные разумы объединит в гештальт мьютов. Такие гештальты умеют действовать со сверхъестественной координацией на трех взаимопроникающих плоскостях реальности: физической, психонической и виртуальной. Процесс занимает в физическом мире около трех секунд, но Чеглоку он кажется куда более долгим. Как будто он в собственном теле стал пассажиром, в собственном разуме — зрителем. Это всегда было для него переживанием неприятным и дезориентирующим. Иррациональный страх Сети не отпускал его с тех самых пор, как он вышел из Врат Паломника, покинув Многогранный Город.

Формирование гештальта мьютов — это уменьшение и в тоже время усиление, потому что точно так же, как гештальт функционирует единым телом, управляет им единый разум, рожденный в слиянии отдельных виртуализованных разумов, его составных частей, и этот сверхразум удерживается от распада волей создавшего его тельпа. Но именно эта способность тельпов — требование покоряться которой один из инструкторов полета в Вафтинге назвал «невыносимой необходимостью» — дает мьютам самое большое их преимущество над нормалами. В больших

битвах сотни тельпов связывают тысячи или десятки тысяч солдат-мьютов в объединенные гештальты, нападающие с невероятной точностью, ослепляющей быстротой и смертоносным умением. Броня и оружие нормалов этого выдержать не могут. Зато у нормалов есть другое преимущество: простая численность. Даже гештальт мьютов не способен устоять против численного превосходства втрое или вчетверо. Вот почему программа размножения мьютов настолько жизненно важна: без нее противник победит армии Плюрибуса Унума, используя простейшую стратегию истощения.

В первую секунду перехода физические чувства Чеглока продолжают работать нормально, принимая информацию и транслируя ее в электромеханические импульсы, летящие в мозг. Там информация обрабатывается, нейроны посылают команды по нервам, и тело повинуется: крылья распахиваются, он взлетает с земли. В то же время он призывает ветер — выручить Полярис из беды. И все это на уровне примитивного инстинкта.

Потом, в следующую секунду, будто распахивается потайная дверь в глубине черепа, Чеглок ощущает расширение сознания, одновременно восхитительное и ужасное, когда пробуждается его вирт… или, точнее, когда он пробуждается в своем вирте: крылатое существо чистейшей, сияющей белой энергии, вооруженное мечом молнии, дергающимся, извивающимся, шипящим искрами в руке, рвущимся ударить. Самосознание раздваивается, у него теперь два тела: реальное и виртуальное, но оба эти тела, бесспорно, — он сам.

Он чувствует и виртов своих товарищей: гигантский клуб пламени — Феникс, непроницаемый кусок мрака в форме Халцедона, Моряна в Сети, как почти все руслы, имеет тот же вид, что в физическом мире, и отчетливое (пусть даже, по мнению Чеглока, предсказуемо скучное) самопредставление Полярис: сияющий золотой мозг, пульсирующий, парящий в воздухе — не имеющий головы, подобный нимбу — над телом мультяшной женственности, одетым в облегающий светло-синий наряд с лемнискатой, нарисованной на пылающем огненном кренделе над выпуклостью нереально раздутых грудей, которые даже не колышутся, когда она движется.

Теперь — в третью секунду после перехода — возникает гештальт, и чувство собственного «я» у Чеглока сливается с «я» других, пока между ними не исчезают четкие границы, и остаются лишь постепенные перекрытия. В этом полиморфном единении открываются самые глубокие тайники сознания: застарелая вина, тайные страхи, раны, которые не заживут никогда, изголодавшийся, инфантильный, несдержанный эгоизм. И ни от

чего нельзя отвернуться: ни от других, ни от себя, но ни стыда, ни осуждения нет. Потом, когда связь распадется и каждый вернется в свою отдельную личность, память об этом миге и о том, что он открыл, останется позади, тогда возникнет неясное, неоформленное и преходящее чувство неловкости, как из-за каких-то опрометчивых поступков, совершенных во сне, уже забытом. Всплывут на поверхность сомнения, отвращения и страхи Чеглока, и он поклянется, как клялся уже раньше, в следующий раз усилием воли придержать при себе большую часть своей личности, чтобы это его, так сказать, рука, а не рука Полярис держала поводок, привязывающий его физическую сущность к виртуальной проекции. Таким образом, кажется ему, он научится подавлять свой страх Сети, может быть, даже преодолеет. Но всегда, когда наступает время, оказывается, что сопротивление невозможно. Всегда, как вот сейчас, он может только покориться воле, которая сильнее (по крайней мере в этом), чем его.

Из слияния отдельных личностей рождается накрывающий их разум. Составляющие сознания остаются нетронутыми, но подчиняются ему. Способность Чеглока обрабатывать информацию виртуально, посредством гештальта, далеко превосходит способность его тела эту информацию поставлять, тем более на нее реагировать, и — по мере того, как единение близится к четвертой секунде, — он начинает воспринимать все события в мире так, будто время не идет, а ползет. Он видит, как Полярис ныряет к стороне дверного проема, когда первые порывы призванного им ветра доходят до нее: тельпица будто плывет в среде плотнее воздуха или воды, и каждая капля дождя — частица сконденсированного времени. Клубом исполинского дыма взлетает грязь там, где начал копать Халцедон, почти скрытый за фонтаном земли. Моряна создала из падающего дождя твердый, плотный, переливающийся шит, он окружает ее, выпирая наружу призматическим пузырем дутого стекла, и его граненая поверхность — скопление маленьких Морян, танцующих, будто пчелы вокруг царицы. И как новорожденное солнце, обернутое в пушистое одеяло туманности, в раздувающемся облаке пара пылает сине-белым калением Феникс, собирая свою силу, свою власть над термодинамикой столь точно отмеренную, что Чеглок, парящий в двадцати футах над салмандером и в стороне от него, едва ощущает изменение температуры воздуха. Невидимая лестница, уходящая спиралью в исхлестанное ветром и молниями сердце шторма. Перья и кожу уже покалывает электрической энергией облаков, которым отказано в естественной разрядке силы. Вокруг него воет ветер,

уши гудят от бесконечного треска, и вонь озона лезет в ноздри интимно и нагло. Скоро он запряжет эту фрустрированную энергию бури с помощью разума, выкует из нее молнии и обрушит на своих врагов.

А тем временем другое тело Чеглока, вирт, электронный сосуд, в который Полярис направила одну ветвь его струящегося сознания, тоже движется, но это движение другого рода. В реальном мире через три секунды после предупреждения Полярис пентада только начала реагировать, а нормалы еще не показались. Но здесь, в Сети, уже идет яростная битва.

Мощь сверхразума гештальта давно обнаружила точное местоположение нормалов, присутствие которых ощутила Полярис, пробив скрытую псибертронную броню. Их пятеро, они прячутся в этом здании. Ангелическими глазами своего вирта Чеглок воспринимает здание как трехмерную прозрачную схему (и это всего лишь один из многих доступных ему визуальных режимов), в которой фигуры нормалов — точнее, их виртов — представляются гибридами чудовища с машиной. Тела их защищены красно-золотой броней, щетинящейся мрачным антехом: все виды оружия, сенсоры и один Шанс знает, что еще, и часть этого всего бродит по броне, будто обладая собственной волей и целью, как рои ползающих и летающих насекомых (в этом смысле вирты напоминают свои прообразы из реального мира: рыцари нормалов окружены облаками крошечных смертоносных устройств, а также полуавтономными камерами-наблюдателями, которые дают круглосуточную картину их приключений в Пустыне, передавая звук и изображение в Сеть, а миллионы нормалов болеют, затаив дыхание, за своих фаворитов). Из бронированных плеч растут оживленные головы нечеловеческих созданий, из них одни реальные или бывшие когда-то реальными, а другие существовали только в мифах, но не во плоти. Вот ревущий лев с золотой гривой, оскалившийся в рыке; геральдический олень с рогами, подобными стальным клинкам, с зубьями, как у пилы, желтая тварь, похожая на кролика с черными кончиками длинных ушей, розовыми щеками и улыбкой нестерпимой сладости, черный пингвин с ощетинившимся гребнем на голове и раскрытым в усмешке желтым клювом, а вот и красноглазый вампир с кожей из лепного льда и волосами, подобными сугробу в лунном свете. Некоторые из этих масок исполнены реалистично, как будто образы, сколь бы фантастичны они ни были, записаны автоматическими камерами где-то в физическом мире, а другие — сюрреальны или гиперреальны, как ожившие мультики.

Перед нормалами прозрачными знаменами, колышащимися

на электронном ветру, плывут их боевые штандарты: трехмерные проекции, не только служащие защитой от атак в Сети, но и демонстрирующие — укрытые за прозрачным наложением Крестозвездного Полумесяца — гербы своих спонсоров: анимированные знаки, символы, торговые марки, талисманы, девизы и эмблемы великих и малых домов Империи Истинных Людей, с которыми эти рыцари связаны кровью и честью и которые финансировали их экспедицию в Пустыню в обмен на различные рекламные и эксплуатационные права. Запутанная пряжа отношений и соперничества между знатными домами Империи — которые все прослеживают свою историю до горстки корпоративных или правительственных сущностей, переживших Вирусные Войны — выражена также в гимнах, постоянно звучащих фоном, в лязгающих саундтреках, сшитых из обширного репертуара довоенной музыки, поддерживаемой нормалами: десятки миллионов записей, сохраненных от различных времен и культур — симфонические оркестры, западные и китайские оперы, мотивы бродвейских спектаклей, панк-рок, струнные квартеты, киношные саундтреки Голливуда и Болливуда, японские пьесы театра «но», рекламные мотивчики, рэп и хип-хоп, электроника, грегорианский хорал, гортанные песни монголов, ранний новоорлеанский и чикагский джаз, племенные обряды, записанные в далеких джунглях антропологами, транс, спазм, песни птиц и китов — все это собрали нормалы для своей лоскутной музыки, подчеркнуто вторичной и, с точки зрения мьютов, мерзкой.

Как только процесс перехода завершен и создан гештальт мьютов — чуть больше трех секунд с момента, как Полярис внезапно остановилась перед домом, — новорожденный сверхразум отрезает вирты и нормалов, и мьютов от схематического представления интерьера здания и помещает их на идеализированную арену боя, забитую ликующими толпами мьютов-зрителей: сценарий этот основан — и Чеглок, знающий кое-что о предвоенной истории, видит тонкий юмор положения — на гладиаторских боях в Колизее в древнем Риме… Хотя ценят ли нормалы этот юмор и воспринимают ли его (как и арену) — совсем другой вопрос, на который Чеглок сейчас не тратит времени. Вместо этого он с традиционным кличем «Смерть нормалам!» бросается в атаку, и его товарищи тоже. Сверхразум уже выбрал виртуальных противников на основе данных, собранных и проанализированных путем связи с Коллегией через Сеть. Эти противники — не обязательно те вирты, которых каждый может победить с наибольшей легкостью, скорее, подбирается такой баланс сильных и слабых сторон, а также

тактических и стратегических целей, который наиболее выгоден пентаде в целом в данный момент времени. В зависимости от превратностей боя цели меняются не раз в ходе битвы, идущей в трех плоскостях — виртуальной, физической и психонической, партнеры сменяются, как в квикстепе, поставленном хореографом-смертью с холодной жестокостью и логической непреклонностью.

— Смерть мьютам! — доносится боевой клич выбранного для Чеглока противника, вампира, когда Чеглок делает выпад молнией своего меча.

Мерцающее лезвие ударяет поперек Крестозвездного Полумесяца, наложенного на геральдические щиты вирта, с визгом разлетается фонтан алых и золотых искр, и звучавший гимн спотыкается, разваливается, замолкает. Этот удар заслуживает одобрительный рев зрителей-мьютов, то есть виртов с внешностью мьютов, почти все (если не вообще все) из которых — пустые оболочки, марионетки, созданные и управляемые сверхразумом (хотя всегда есть шанс, что среди них находятся виртуализованные наблюдатели из Коллегии Виртуального Разума или даже один или несколько Орбитальных, глядящие в выполнение какого-то непостижимого каприза). Они ревут так, будто Чеглок нанес смертельный удар. Антропоморфные эмблемы на щите нормала реагируют по-разному: зубастая улыбка черной мыши с огромными ушами превращается в овал рта, раскрытого в беззвучном крике, ухмыляющаяся скрепка для бумаг насмешливо приподнимает брови, толстый багровый тираннозавр съеживается, жалобно воя, за парой золотых арок, мальчишка с белой кожей и торчащими желтыми волосами поворачивается, сбрасывает штаны и показывает вирту Чеглока голую задницу, издавая оглушительный неприличный звук. Эмблемы — виртята, автономные программы, представляющие разные интересы и демонстрирующие влияние знатных домов, спонсоров этих рыцарей. Каждый из них находится на связи с другими и с тем нормалом, вирт которого несет их на своем щите, предлагая нескончаемый поток лозунгов, комментариев, анализов и советов; подходящих цитат из довоенных пьес, фильмов, стихов, книг, проповедей и песен, «продакт плейсмент» для соотечественников, наблюдающих из дома, даже анекдоты, хотя Чеглок этих анекдотов не слышит. Но Полярис, как все тельпы, способна подслушать этот сумасшедший поток болтовни, и она ему поясняет. Удивительно ли, думает он, что столько тельпов становятся почти сумасшедшими, зараженные безумием нормалов? Гротескный образ Мицара, его изрезанной шрамами головы и торса, привязанных как кусок горелого дерева к

идеальному телу святого Христофора, возвращается на миг, вызвав содрогание памяти.

Будто прочитав его мысли, вампир раскрывает бесплотные синие губы в язвительной усмешке, обнажая зубы, белые, как отмытые дождями кости, и острые, как колючки терновника, за ними свернулся язык, похожий на скрученный хоботок москитылька, развратно-алый, как бархатные лепестки махровой розы.

— Что там за ветерок на мой щит подул? — Издевательский голос тщательно изображает беззаботность.

— Ха! Флыфал, вовно мьютское? — шепелявит виртенок динозавра, выглядывая между золотых арок, трясущихся, как будто они сделаны из желе. — Скавыте ему, бошш!

— Да-да, — верещит желтоволосый парнишка, а мышь энергично кивает. — Выдайте ему, босс!

Вампир не обращает внимания на виртят.

— Я узнал бы твое имя, эйр.

Не отвечай, шепчет сверхразум, но это лишнее: Чеглок и так знает, что не стоит открывать свое имя в Сети, где каждый кусочек информации, какой бы невинный он ни был, может дать ключ к субвиртуализации, а то и к чему похуже. Он спрашивает:

— Отчего бы тебе не назваться первому? Или от страха в зобу дыханье сперло?

— А у кого тут зоб и перья? — нахально спрашивает мышь.

— Шэр Дракулот никого иж ваш не боитша! — добавляет динозавр, тут же бледнеет, становясь белее лилии. — Ой! Проштите, бошш!

Уловка виртенка прозрачна, как тот геральдический щит, на фоне которого он виден. Опасность сообщать информацию в Сети — штука обоюдоострая: Чеглок не более склонен верить тому, что скажет о себе нормал или его виртята, чем самому рассказать о себе хоть долю правды. Он презрительно смеется:

— И драться за тебя тоже будут твои виртята, как и говорить?

— Сейчас тебя ощиплют, птенчик, — отвечает сэр Дракулот.

При этих словах гимн вампира возобновляется громче, чем был. Подняв золотой лук, нормал выпускает стрелы ядовитого золотого огня, которые безболезненно тонут в сияющей серебряной коже вирта Чеглока, а та, дрожа, как озерцо ртути, поглощает и растворяет ядовитый код.

Двое противников вполне под стать друг другу: они отступают, осторожно кружа, выискивая друг у друга незащищенное место, а виртята продолжают сыпать издевками и оскорблениями, которые Чеглок пропускает мимо ушей. Феникс, Халцедон и Моряна пока держатся, но противник Полярис, вирт с

головой пингвина, теснит ее сильно. Размахивая переливающейся красным неоном саблей, Пингвиноголовый нападает, как пьяный берсеркер, с дикой, отчаянной яростью, будто нормал этого вирта бросает в бой все силы, гимн его гремит, и все его виртята выкрикивают разные боевые кличи. Даже в Сети (может быть, в особенности здесь) падают кости Шанса, и все остальные, мьюты и нормалы равно, кувыркаются вслед за ними. Спеша прийти на помощь Полярис, он удваивает усилия.

А тем временем Чеглок — или тот кусочек сознания Чеглока, что остался вне гештальта, наблюдая будто из-за непроницаемого стекла, старается подчинить себе свой страх перед Сетью. Если он поддастся страху, позволит фобии раздуться в слепую, бессмысленную панику, уже щекочущую внутренности, он обречет на гибель всех. Сила гештальта — одновременно и его слабость: эмоции распространяются среди членов пентады так же быстро, как информация, и эта паника разлетится, как лесной пожар. Спокойствие, уверенность, самообладание — вот качества, которые сейчас от него требуются. Но Чеглок не может забыть, что все, что он сейчас видит и испытывает — не больше (или даже меньше), чем виртуальное представление сцепившихся компьютерных алгоритмов, — а это осознание никак не успокаивает. Сеть может быть вселенной электронного представления информации, выраженного метафорически, но никогда это не будет значить, что она менее реальна, чем любой элемент физического мира. Столь же реальна — и куда опаснее. Здесь не только камни и палки ломают кости, но и имена могут убить по-настоящему.

Все и вся, каким бы невинным оно ни казалось (жест, взгляд, слово, цвет), может быть — и очень вероятно, что является на самом деле — атакой, и каждая атака, явная или скрытая, происходит на многих уровнях. Боевые песни виртят, например, пронизаны зловредными программами, пытающимися субвиртуализовать или развалить гештальт, разорвать созданные тельпами связи, что держат членов пентады в Сети; а еще в этих песнях закодированы инструкции для изготовления разумных вирусов, которые, инфильтрируясь вдоль псионических нитей, связывающих виртов с физическими телами, пытаются обратить биологию мьютов против владельцев. Конечно, сверхразум гештальта, защищая Чеглока и его товарищей от этих атак, субвиртуализации и инфильтрации, сам выпускает такое же смертоносное оружие.

И все же, как ни страшно и ни ужасно, выход в Сеть — то, чего требует дело. И ради этого дела должен сейчас быть использован Чеглок. И он *бывая* использован. Никогда раньше он

не боялся Сети — так, как сейчас. Никогда за все годы обучения или во время трудных экзаменов Испытания этот неразумный ужас не грозил им завладеть. Что же с ним случилось? Дело отнюдь не в сэре Дракулоте — этот ужас куда глубже и более диффузен, будто вся среда Сети насыщена каким-то присутствием, враждебным к нему… будто он чем-то прогневил Орбитальных, и электронные разумы тянутся к нему из бездны, насыщенной информацией, где обитают эти виртуализованные сознания.

Чеглок понимает, что было ошибкой прятать эту болезнь, отрицать ее серьезность перед самим собой и от стыда скрывать от других, даже от Моряны. Он должен будет им сказать. Но не сейчас. Не тогда, когда они все пятеро связаны в гештальт и дерутся за собственную жизнь. Нет, он подождет, пока большая битва будет выиграна, нормалы разгромлены. Гештальт или не гештальт, но тут он вынужден действовать в одиночку. Время, когда он должен сделать спасительный бросок, настало. Кости брошены, он может только молиться, чтобы, когда они остановятся, Шанс был на его стороне.

В физическом мире прошло пять секунд с момента, как Полярис начала виртуализацию. За это время Чеглок взлетел на сто футов вверх. Ветры бури завывают вокруг него, влажные и свирепые, как вздутые половодьем реки. Здесь, как и в Сети, он придаток к гештальту, его страхи — пока что — успешно подавлены. Плавая в сосредоточенном глазу собственной силы, он расправляет крылья во всю длину, впивает сдерживаемое электричество грозы, как живой аккумулятор, как ангел, распятый на небе гвоздями молний.

Под ним горит и пылает Феникс, разгоняя ночь, двигаясь против ветра и дождя, окружая здание кольцом розовых языков пламени, вращается быстрее и быстрее, посылая в воздух вихри искр, и неясные тени танцуют по земле фигурами безумного балета. На глазах у Чеглока кольцо начинает сжиматься, высасывая излома кислород для питания собственного пламени. И в пламени — нет, вместе с пламенем — танцует Феникс. Озаренный белым калением, он вертится и прыгает в радостном экстазе пиромана, который раздувает в салмандерах освобождение их силы. У салмандеров всегда есть соблазн обнять пламя без ограничений, отказаться от робкого удовольствия самоотречения и самоконтроля ради первобытной радости самоотдачи и самопожертвования. Салмандеры редко доживают до старости — большинство становятся собственным погребальным костром, поглощенные соединением, результат

которого — лишь жар и пепел.

А тем временем Моряна сливает миллиарды дождевых капель в гороподобную волну, сияющую, словно лист полированной бронзы, за стягивающейся петлей огней Феникса. Закрывшись внутри (хотя и видимая виртуализованным глазам Чеглока), она лениво плавает, как самоцвет на поверхности медового моря. Те же реки дождя, которые он, Чеглок, каналирует вокруг себя и низвергает с неба в ответ на псионические призывы руслы, вздувают волну наружу и вверх вызовом силам тяготения, превращают в цунами, собравшееся вдали от моря подобно одинокому острову воды посреди суши, и обрывы этого острова — водопады, взлетающие вверх круто, как стеклянные стены древних небоскребов. Белые гребни этих взлетающих волн мчатся навстречу Чеглоку взрывами цветов.

От Халцедона ни следа. Шахт закопался так, что его не видно, пробираясь к фундаменту здания. Несмотря на гештальт, Чеглок лишь приблизительно представляет себе его теперешнее местонахождение: скорость и ярость, с которыми он пробивает себе путь под землей, разрывает линии коммуникации между селкомами и электронными мозгами, собирающими данные для построения карты мира в Сети, где тельпы присасываются к ней своими псионическими силами, а нормалы — псибертронными аксессуарами Сети.

Кстати о тельпах: ветер, который послал Чеглок, чтобы убрать Полярис с уязвимой позиции, делает свою работу, подняв ее выше, чем достает жадное пламя Феникса, и он поставит ее в безопасном месте, за волной Моряны. А потом удары молотов четырех стихий обрушатся быстро, один за другим, начиная с Халцедона, который взорвет фундамент здания снизу. Затем налетит огонь, потом вода, и Чеглок нанесет последний удар ливнем молний.

И, думает он, самое время. В Сети Полярис уже почти повержена, ее оборона рушится под несдерживаемой яростью атаки Пингвиноголового, и ни Чеглок, ни кто-либо другой еще не успел покончить со своим противником или оторваться от него, чтобы прийти ей на помощь. Если связь Полярис с ее виртом будет перерезана, гештальт развалится, рассыплется, и поле битвы в Сети останется за нормалами. Но если она еще продержится…

Удар грома сильнее всех предыдущих сотрясает ночь. Секунда уходит у Чеглока, чтобы понять, что это совсем не с неба, а с земли. *Халцедон!* — думает он, и сердце его воспаряет.

Но потом видит под собой сверкающее облако битого кирпича, стекла, искореженного металла, взмывающее,

раздуваясь, к небу и во все стороны от места, где уже нет здания, и он знает, что Халцедон здесь ни при чем. Это работа нормалов. В состоянии тошнотворного ужаса, не в силах поверить глазам, он видит, как что-то задувает пламя Феникса, будто свечи на именинном пироге. Салмандер сбит наземь и не поднимается (в Сети огненный столп его вирта вздрагивает, вспыхивает ярко и опадает кучкой пепла). За упавшим салмандером передний фронт волны Моряны исчезает, испарившись, а остальная часть рушится, разбиваясь на множество мелких волн, которые русла еще как-то поддерживает, уклоняясь от кусков горячей шрапнели, пробивающей с шипением щит психически затвердевшей воды. Ударная волна доходит до Чеглока, заставляя его сосредоточить все силы на отражении осколков, грозящих сбить его с неба. Избавившись от его контроля, ветер, что нес Полярис в безопасное место, вдруг теряет цепкость. Чеглок не успевает среагировать, как она рушится на землю. Высота не более семи или восьми футов, но падает она неудачно, ударяется головой.

Гештальт рассыпается, лишенный объединяющей его воли. Связь Чеглока с другими обрывается — и с ней исчезает паническое ощущение глубины и ширины Сети. Это не больно, но дезориентирует, как если внезапно просыпаешься от одного сна и оказываешься в другом. Одно субъективное мгновение он глядит глазами своего вирта на усмехающегося сэра Дракулота… и вдруг алая с золотом броня начинает рассыпаться в случайный узор, в ржавый фон, будто вирт Чеглока уже не может транслировать алгоритмы Сети в соответствующие им визуальные метафоры. А потом, словно щелкнула резиновая лента, его собственный вирт выдергивается из Сети и влетает в собственное физическое тело.

Буря свирепствует, ветры завывают еще яростнее над кратером, где дымятся развалины здания. Чеглоку удалось рассеять первую волну обломков от взрыва, но сейчас на него летит рой наблюдателей-камботов размером с градину и другого оружия, поменьше. Еще ошалелый от взрыва, от вышвыривания из Сети (это значит, что Полярис без сознания, если не хуже, но сейчас об этом думать нельзя), Чеглок фокусирует собственную силу, держа всю концентрацию электрической энергии, которую он собрал, и точным проблеском разума бросает в воздух сеть молний. Ночь превращается в день с обнаженной и страшной красотой ядерного взрыва — брызги иссиня-белых дуг плеснули между мелкими металлическими предметами, расплавляя и поджаривая их схемы, в воздухе остро запахло озоном и горелым металлом. Чеглок подчиняет ветры своей воле и расшвыривает мертвые устройства, как пустые панцири насекомых.

И только тут он ощущает медный вкус крови и понимает, что

ранен. Он сплевывает, в ушах у него звенит. Кровь капает из носа, течет из множественных порезов и царапин на теле, но вроде бы ничего серьезного. Острые глаза его видят, как внизу Моряна нагнулась над неподвижным телом Полярис. Феникс лежит рядом, тоже недвижимый. Подавляя побуждение лететь к ней, Чеглок начинает поиск нормалов. Не имея доказательств противного, он должен считать, что они всё еще живы и опасны. Воздух потрескивает, когда он готовит новые молнии, надеясь прикончить противников или хотя бы отогнать, пока те не напали снова.

И тут он вспоминает про Халцедона. Неизвестно, был ранен при взрыве шахт или нет, но Чеглок не может рисковать, что тот вдруг выскочит из-под земли прямо под барраж молний. Халц мужик крепкий, но не настолько. И Чеглок сдерживает огонь. Обернувшись вихревым щитом ураганной силы, он спускается в кратер. Огонь все еще пылает среди развалин, несмотря на ветер и хлещущий ливень.

Нормалов он находит сразу же. Пять разорванных и окровавленных тел лежат неподвижно, словно смерть, в самом сердце ямы, в эпицентре взрыва. При свете колеблющегося пламени видно, что тела перекручены, как трубы и балки, упавшие вокруг, а в некоторых случаях пронзившие нормалов, пробившие, словно лист бумаги, красно-золотую броню. У двух тел не хватает конечностей, у третьего — головы. Шлемы с поднятыми забралами, изуродованные формы, которые Чеглок видел в Сети: пингвин, лев, геральдический олень и вампир. На искалеченных реальных лицах — выражение недоумения и предсмертной муки. На всех, кроме одного. Лицо сэра Дракулота измазано грязью и кровью, но нетронуто, выражение его мирное и сосредоточенное, и он с виду ни надень не старше Чеглока. Тело его прислонено к низеньким остаткам стены, остекленелые глаза, синие, как у Чеглока, будто с отстраненным интересом рассматривают зазубренную сталь, торчащую из разорванной груди.

Чеглок парит на высоте десяти футов, настороженно выискивая любые признаки жизни, как это ни маловероятно. Он осторожен и ближе не подлетает: много есть страшных рассказов о победоносных пентадах, терявших своих мьютов из-за минловушек псибертронной брони уже побежденных врагов. Он грезил о встрече с нормалами в бою, рвался пролить их кровь так сильно, что просто вкус ее ощущал. Сейчас у него отвращение, восторг и ужас — одновременно. Сердце колотится. Все случилось невероятно быстро, весь бой вряд ли шел дольше десяти секунд. И трудно поверить, что все позади, битва

выиграна. Он пытается понять. Нормалы напали врасплох, начали быструю атаку в Сети и едва-едва не победили… и почти наверняка победили бы, кабы не взрыв, породивший эту чудовищную бойню внизу. Взрыв разорвал гештальт и вышиб Чеглока со всей его пентадой из Сети, а в физическом мире его эффект был еще сильнее: сбился накал неотвратимой контратаки пентады, и обессилены, если не серьезно ранены, Полярис и Феникс… и Халцедон, быть может, от которого пока что ни следа. Но все же основная сила взрыва пришлась на нормалов — по всей видимости, они погибли.

Он сжимает кулаки, чувствуя, что у него украли честную победу… или хуже того: преподнесли победу, которую он не заслужил, но бессилен отвергнуть. Нормалы вовсе не были разбиты — они бросились в эту последнюю отчаянную атаку, чтобы погибнуть. Зачем? Обрести славу мученика, гибель в бою, что есть высочайшая честь, которой может достигнуть последователь Крестозвездного Полумесяца? Действительно ли нормалы столь фанатичны, столь легкомысленно относятся к собственной жизни? Вопреки чувству ненависти и отвращения, которые разве что усилились, но никак не ослабли, Чеглок почти жалеет древнего врага.

Не трать свою жалость на таких, как эти.

От психонического вторжения Чеглок вздрагивает. Он взлетает выше, ища, откуда это.

— Пол? — зовет он. — Это ты?

Несмотря на дождь, он ощущает, что из пор маслом проступает пот, чувствует вонь собственного страха. Весь тот ужас, который он оставил там, в Сети, вскипает в нем снова — внутренняя буря, столь же яростная, сколь и та, что бушует вокруг, только совершенно ему неподконтрольная.

* * *

Джек лежит в кровати, лениво слушая голоса, доносящиеся с верхней террасы, где дядя Джимми курит косяк с Эллен. Слов не разобрать, но бормочущие ритмы убаюкивают, как колыбельная.

Наконец голоса стихают, и покоробленные доски наружной лестницы скрипят под крадущимися шагами вниз. Джек не столько следит за этими двумя слухом, напрягая уши после каждого осторожного шага, сколько чувствует, как его неудержимо тянет вслед за ними…

Что-то со стуком приземляется около него. Он рывком вскакивает, вскрикивает, широко распахивает глаза и тут же

снова жмурится от бьющего в лицо луча фонарика.

— Тс-с! — Джилли, кто же еще. — Быстро за ними!

— Ладно, ладно…

Он скатывается с кровати, нащупывая на полу шорты и натягивая их на трусы. На Джилли вместо ночной рубашки большая пляжная футболка. Они подползают к двери и прислушиваются. Тихо. Джилли выключает фонарь, открывает дверь. Не до конца проснувшемуся Джеку чудится, что они играют в «Мьютов и нормалов», в какую-то версию этой игры, когда они проскальзывают через порог в еще более глубокую темноту дома, который, как пространство под куполом церкви, кажется совершенно пустым, но наблюдает за ним какая-то невидимая суровая сущность, сильный вирт, то ли желающий им зла, то ли нет. Джек вздрагивает, вспоминая: точно так же, когда его сбила волна и понесла кувырком по дну океана, он ощутил зияющую под ним бездну, будто нечто столь же древнее и огромное, как левиафан, заметило его, Джека, и зашевелилось. И оно до сих пор к нему тянется? Или это все уже позади — вместе с прочими подробностями отмененной реальности?

Они останавливаются, давая глазам привыкнуть к лунному свету, косо пробивающемуся сквозь занавешенные окна и превращающему дом в путаницу теней. Справа за сетчатой дверью — терраса; стулья, освобожденные Эллен и дядей Джимми, похожи на зернистые изображения черно-белой фотографии. За ограждением палубы неясные силуэты ветвей делают таинственные знаки на ветру, насыщенном запахом моря. Над приглушенным рокотом прибоя с морской стороны дюн то слышится, то пропадает шорох листьев.

— Пошли!

Джилли отворачивается от сетчатой двери, идет к винтовой лестнице, ведущей на первый этаж, и там останавливается. Джек у нее за спиной. Хотя — предположительно — внутренний звонок их собственной системы раннего оповещения даст им заранее заметить угрозу обнаружения, и они успеют спрятаться или удрать (как было вчера ночью в классе), все равно есть смысл быть поосторожнее. Они слышат и ощущают под ногами мерную работу водяного насоса в фундаменте дома. Проезжает по шоссе № 1 какая-то машина — как долгий, глубокий вздох. В остальном — тишина.

Джилли спускается по виткам лестницы, ноги ее стучат по железным ступенькам, словно капли дождя. Джек за ней. Перила у него под рукой закручиваются внутрь, и потому кажется, что спускаешься куда-то, где все теснее и теснее. Такое чувство, будто они с каждым тугим витком становятся все меньше, складываются

внутрь себя, как оригами.

— Что теперь? — шепчет он, когда они доходят до конца лестницы.

— Тсс! — отвечает Джилли. — Слушай.

Джек слышит неумолчный плеск океана, шелест листьев на беспокойном ветерке, приглушенный ритм насоса, правильный, как биение сердца. Верещание цикад и протяжные призывы других насекомых доносятся справа из открытой скользящей двери, а от пола, стен и потолка вечно «притирающегося» дома исходит морзянка постукиваний и поскрипываний.

— Не слышу я их, — говорит он.

Джилли сжимает его руку.

— Помолчи, ладно?

— Может, они на пляж ушли?

Она качает головой. Лампа на крыльце соседнего дома Бакстеров светит в окно кухни, как каждую ночь, и в ее бледном свете, тонком, словно снятое молоко, Джек видит, как лицо сестры озаряется уверенностью.

— Нет, не на пляж, — говорит она. — В местечко поукромнее.

Она включает фонарь, направляя луч на сосновые половицы, и Джек сразу понимает, что она права. Конечно же, они под домом. Где еще тут можно найти уединение?

Джилли ступает на цыпочках. Джек — за ней, гадая, не выдаст ли их скрип половиц. Но, наверное, изоляция поглощает все звуки. Или, еще вероятнее, дядя Джимми и Эллен слишком заняты, чтобы заметить.

Джилли замирает перед узкой нишей, где стоят стиральная и сушильная машины. Опускается на колени перед первой, ставит рядом фонарь лицом вниз в сужающийся круг его собственного света. Джек застывает рядом, не понимая, что она задумала, хотя улавливает, как ее жгучий интерес щекочет ему нервы, будто длинным кошачьим язычком.

— Мы точно над насосной, — тихо поясняет Джилли. — Спорить могу, они туда пошли.

— И что?

— Вентиляционный ход от сушилки идет прямо туда. Может, нам будет через нее слышно.

Джек миллион раз видел этот вентиляционный ход: труба из шелково-белого фиберглассa, обкрученного тонкими проволочными ребрами, свисает из забитого изоляционным материалом подпола, как сброшенная кожа исполинской змеи, свесившейся со стропил амбара. Но ни разу ему не пришла в голову мысль воспользоваться этим, чтобы подслушать кого-нибудь в насосной или рядом.

Ну и что? Подумаешь. Ну да, Джилли сообразительнее. Зато у него есть такая сила, которой нет у нее. И вообще ни у кого нет в этом мире.

Если бы только сообразить, как она действует…

И как ею управлять.

Тем временем Джилли распахивает дверцу сушилки. Они оба вздрагивают, когда вылетает кувырком одинокий белый носок, будто отчаянно удирая от набитого внутри белья. Запах ткани и ополаскивателя обдувает лица, Джек зажимает ноздри, чтобы подавить чих, еще раз, и барабанные перепонки каждый раз раздуваются наружу. Рядом то же самое делает Джилли. Они переглядываются и одновременно хихикают, зажимая себе рты. Наконец они успокаиваются, Джилли поднимает носок и кидает обратно.

— В мусоропровод, летунок!

От этой реплики из «Звездных войн» они снова ржут, толкая друг друга локтями и шипя, пока Джилли не роняет фонарь с шумом, который им кажется ударом грома. По полу разливается свет.

— Тихо, Джилли! — шипит Джек.

— Сам тихо, — огрызается она.

Голоса отдаются в барабане сушилки, и Джек задумывается, не двусторонняя ли это штука — подслушивание. Не звучат ли их слова, усиленные, на другом конце трубы? Лучше вообще помолчать. Он глядит на Джилли, а она, укрытая в тени, кивает. Это, думает Джек, не телепатия, но пока сойдет за неимением таковой.

Ерзая, они подбираются к дверце, лицом друг к другу, левое ухо Джилли и правое Джека ориентированы в сторону отверстия, как тарелки радаров. Сперва Джек ничего не слышит — точнее, ничего нового, только те звуки, что были изначально, только громче: работа насоса, например, почти прямо под ногами.

Они сдвигаются ближе, стараясь разобрать сплетение шумов, и соприкасаются лбами. Джек ощущает, как перышком щекочет дыхание Джилли, ее скулы — как песчаные дюны при луне. Это лицо он знает лучше собственного. Она — его зеркало… или он ее, не важно — важно, что они отражают друг друга. И каждый звук имеет свой тайный источник в них двоих. Он слышит не насос, а сдвоенное биение их сердец. Не ветерок, а тихий шелест крови по жилам. Шипящий шум жарки срабатывающих нейронов, поскрипывание костей. Мелькает воспоминание, когда они последний раз были так близко друг от друга: по горлышко в океане, спрятавшись под водой, и пальцы щиплют с вывертом… Он закрывает глаза, голова закружилась, проваливается в себя…

или в нее — трудно сказать, да и какая разница? Он сжимает пальцами руку Джилли, она в ответ сжимает его руку. С шоссе № 1 в сторону Оушен-сити проносится Фрэмптон, оживленный эффектом Доплера:

Чувствуешь ли
Ты то,
Что чувствую я…

Джек цепляется к уходящему кометному хвосту гитары и голоса, уносится с ними, пока звуки не смолкают совсем. Открыв глаза, он снова видит перед собой глаза Джилли, только уже ближе. Ближе — и в то же время дальше. Он уже видел такой ее взгляд: вчера ночью, под учительским столом, в свете другого упавшего фонаря, а еще до того, когда она стояла на исхлестанном ветром берегу и смотрела, как он ловит волну-убийцу… в том прошлом, которого теперь никогда не существовало ни для кого, кроме Джека. Он сглатывает слюну; ощущение такое, будто вращение мира со скрежетом остановилось, планеты повисли на небосводе, как барабан сушилки в кожухе или сердце у Джека в груди. «Снова то же самое?» — думает он. И этот застывший мир двинется дальше, будто ничего не случилось, только изменится, обновленный в промежутке, как карусель, где придали новую позу лошадкам и заменили мелодию в шарманке; механизм вращения мира переменился непонятным действием его, Джека, желания и воли, и никто не видит этого, кроме него самого? Никогда не было ему так одиноко, не было такого бессилия при всей той силе, которой он может распоряжаться, хотя явно не может — или еще не может — управлять. Надо рассказать Джилли. Пусть смеется или назовет его психом, он должен с ней поделиться. Иначе он *станет* психом.

Но стоит ему открыть рот, как она кладет ему на губы соленые пальцы, и он не успевает произнести ни слова. И тогда из глубины сушилки он слышит звуки.

Жутковатые стоны Эллен полны то ли боли, то ли желания, а дядя Джимми произносит что-то неразборчивое, потом смеется — резко, быстро, как собака взлаивает. И только облизнув губы, Джек замечает, что Джилли уже убрала руку. Это звуки вроде тех, что он слышал прошлой ночью, но тише, приглушенные расстоянием и маскируемые шумом насоса… почему, как он и догадывается, они выбрали это место: не только из-за его уединенности, отсутствия окон, спасающего от любопытных глаз (они с Джилли там хранят свою заначку украденных сигарет по

той же причине), но и оттого, что звуки будут скрыты. То есть были бы, если бы не мозговой штурм, предпринятый Джилли.

— Ты только их послушай, — шепчет она. — Теперь я понимаю, почему это помещение прозвали насосной!

Вспыхнувший на щеках Джека румянец столь же красноречив, как сорвавшееся с губ нервное хихиканье.

— Они там ебутся, — продолжает Джилли, тщательно произнося это слово, будто пробуя на вкус. Голос ее спокоен, подконтролен, но Джек слышит, какое она скрывает нервное возбуждение. — Он свой хуй сует ей в пизду.

Джек читал эти слова в книгах, слыхал от других ребят, даже иногда вставляет в собственную речь, чтобы казаться в школьных разговорах и конфликтах круче, чем в глубине души себя ощущает, но сейчас, когда слышит их из уст Джилли, это как откровение. До этого момента они у него в мозгу были окружены темной аурой запрета и силы, как слова древней магии, потерявшие свое значение, но сохранившие мощь, отчего стали еще опаснее. Но сейчас, как будто еще более сильным актом волшебства, эти архаичные значения вернулись. Слова стали реальными, точными, физическими, описывающими предметы и действия, как всякие другие существительные и глаголы. Однако темная аура запрета и силы не рассеялась, а разве что усилилась. Как будто Джилли одновременно и описывает события, и организует их. Джек чувствует, как замирает сердце, как неясное предвкушение охватывает все тело, как будто сегодня рассвет решил настать раньше, и солнце дрожит под самым горизонтом, готовое внезапно выпрыгнуть.

— Ты чего, Джек? Что ли, сказать этого не можешь?

— Чего — этого?

— Слова «ебутся», — подначивает она. — Ну-ка, скажи!

Джилли мало быть первой, думает он уже в который раз, ей еще надо, чтобы он был вторым. Первенство ничего для нее не значит, если он не пойдет за ней через запретную границу. Так было всегда, с момента, когда она проложила им обоим путь в мир, и он всё следует и следует за ней. До сих пор. Теперь первый — он, хотя она об этом даже не подозревает и не поверила бы, если бы он ей сказал. Но он найдет способ заставить ее поверить. Должен найти.

— Хуй, — говорит она. — Пизда. Он ее ебет хуем в пизду.

Джек не может сдержать смеха. Чушь какая-то, порнографический букварь для дошкольников.

— Чего смешного?

— Это Дик. У Дика хуй. Это Джейн. У Джейн пизда. — Джек отчетливо, с придыханием выговаривает каждое слово. — Дик

сует хуй Джейн в пизду. Еби, Дик, еби. Еби пизду Джейн.

— Иди ты в жопу!

— Еби жопу Джейн.

Тут не выдерживает и Джилли, и они оба затыкают рты руками, подавляя смех, катаются по полу, беспомощные, как перевернутые на спину черепахи. Их так трясет, что Джек боится обоссать штаны.

— Ой, — шепчет Джилли, у которой те же проблемы. — Мне надо отлить. Ты последи, я сейчас вернусь.

— Эй, мне тоже надо!

Но она уже встала, держа в руке фонарь. Джилли светит ему в глаза, он закрывается рукой, свет исчезает — и Джилли вместе с ним. За углом щелкает дверь туалета.

У Джека жжет пузырь. Он думает, не бросить ли свой пост ради туалета рядом с главной спальней, но отказывается от этой мысли. Можно еще подождать. И Джек придвигается ближе к сушилке.

Дядя Джимми и Эллен занялись своим делом еще энергичнее. Джека забавляет и одновременно слегка пугает мысль, что такие звуки исходят из человеческой глотки. Они столь же отвратительны, сколь и завлекательны.

А тем временем он ощущает волны тепла и мурашки-по-коже облегчения, проходящего по телу ссущей Джилли. Но от этого собственная потребность становится сильнее, насущнее. Он пытается думать о другом, но звуки, доносящиеся из отверстия стиральной машины, возвращают мысли на ту же снижающуюся орбиту. Да куда она запропастилась? Почему так долго? Он же больше не выдержит!

И тут Джек замечает, что дяди Джимми и Эллен больше не слышно. Сушилка тиха, как склеп. Последняя соломинка — что они уже направились вверх по лестнице. Он карабкается по винтовой лестнице в туалет. Закрывает дверь, включает свет, бросается к унитазу, сдирает шорты и трусы. Дрожа в благословенном блаженстве, облегчается в унитаз.

Когда это кончается, он спускает воду и осторожно выходит. Дверь в комнату Эллен заперта, из-под нее света не видно. И внизу темно и тихо.

Но из-под двери его комнаты свет виден. Внутри сидит Джилли на верхней койке, заведя руки за спину, болтает в воздухе ногами.

— Что с тобой стряслось? — спрашивает она.

— Со мной? Это тебя где носило? — отвечает он, стараясь говорить тише и осторожно закрывая за собой дверь.

— Не волнуйся, — говорит она. — Они пошли на пляж, я

видела.

— Кажется, у нас вышел спасительный бросок.

— Вышел, а если бы нет? Твоя была очередь следить.

— Мне надо было отлить. Чего ты так долго?

— А вот чего. — Она достает из-за спины левую руку и расцветает радостью. — Одна тебе. — Достает правую руку. — И одна мне.

Раскрывает кулаки и показывает два тоненьких косячка.

У Джека отваливается челюсть.

— Где ты это нашла?

— Как ты думаешь? В комнате у дяди Джимми. — Это комната рядом с туалетом внизу, обычно там живет Эллен. Когда приезжает дядя Джимми, Эллен переселяется наверх, в комнату Джилли, а Джилли подселяют к Джеку. — Там прямо у него на кровати лежала сумка, а в ней полно. Я подумала, что он не заметит, если будет на две меньше. Да и что он мог бы сделать? Пойти мамочке с папочкой пожаловаться?

Джек тянется за своим косяком, и Джилли ему передает. Он любуется, как туго свернута самокрутка — тоненький белый цилиндрик, утончающийся к кончикам, таким острым, что уколоться можно. Тут до него доходит, что сигареты с их плоскими концами — учебный реквизит, а вот это — штука настоящая. Поднеся к носу, Джек нюхает. Сигареты — куча собранных граблями листьев, приготовленных к сожжению осенью. А это — как оказаться в лесу после сильного летнего дождя.

— Спички есть? — спрашивает он. Раз в жизни он хочет оказаться в роли рискующего.

— Не будь дураком, — отвечает Джилли. — Завтра покурим. Я все придумала. Возьмем каноэ и выйдем в бухту.

— Я дурак? Да дядя Джимми ни за что не позволит нам выйти на каноэ самим!

— На спор? — подмигивает Джилли.

* * *

— Ты не дезертируешь, юный паломник — но ведь ты и так это знаешь? Знаешь. Завтра утром ты выйдешь из этих ворот со своей пентадой и пойдешь с ней к Голодному Городу. Но придут туда не все, кто выйдет. Ты не доверяешь своей пентаде, и здесь интуиция тебя не обманывает. Будет предательство, будет вероломство. Прольются слезы, прольется кровь. Но не отчаивайся, я вижу…

— Стоп, — перебивает Чеглок. — Что значит «предательство»?

— Этого я сказать не могу.

— Не можешь или не хочешь?

Мицар и святой Христофор зловеще улыбаются в унисон, и Чеглок впервые ощущает психоническое прикосновение тельпа, быстрое и мощное, как опытный удар клинка убийцы. Он не успевает и слова сказать, а виртуализация уже завершена. Чеглок крепко зажат в ментальных тисках Мицара, тело его застыло там, где стоит, ум тащат в Сеть, это царство кошмара, созданное нормалами, и переход туда внушает ненависть и страх всем мьютам, кроме тельпов.

Никогда Чеглок не испытывал подобной виртуализации. Ее сила, ее искусность превосходили все, что он знал… и это еще более удивительно из-за подавляющего психонического поля, одеялом накрывающего Многогранный Город. Мицар — понимает он, тщетно сопротивляясь железной хватке тельпа, — явно куда более значителен, чем прикидывается. Куда более. Сейчас не было головокружительного, дезориентирующего перехода в виртуальность Сети, как всегда бывало раньше. Вместо этого Мицар разворачивает Сеть в физический мир — или, точнее, разворачивает физическое сознание Чеглока, как сложенную игрушку-оригами, пока оно не ухватывает то, что все время присутствовало, скрытое в складках и трещинах. Чеглок не входит в своего знакомого ангела мщения, но у него вдруг возникает неуютная уверенность, что ангел входит в него, смотрит его глазами, как он сам мог бы выглянуть в окно.

Куда ни посмотри на площадь, повсюду суета, переливы цветов, формы, которые он не может воспринять… не хочет воспринимать, будто такая попытка доведет до безумия. Но Мицар не оставляет ему выбора, направляя его взгляд от одного ужасного зрелища к другому. Беспомощный Чеглок с благоговейным ужасом понимает, что видит инфраструктуру медианета. И этот хаос взаимопроникающих, схлестывающихся реальностей — вот так тельпы воспринимают мир?

Воздух полон бесконечным разнообразием прозрачных чудищ больших и малых, некоторые бесцветны, словно вода, другие окрашены разными цветами. Они кишат между небом и землей, как черви в трупе, достают до пределов кругозора Чеглока, и, внезапно понимает он, еще дальше, до самых Орбитальных, неустанно мыслящих в своих биотронных спутниках. Некоторые будто плывут в ветрах и течениях Сети или против них, проталкиваясь резкими или плавными движениями щупальцев и хвостов. Другие, крылатые, летят с тяжелой неуклюжестью жуков

или с головокружительной ловкостью стрекоз. Еще какие-то дрейфуют и танцуют, подобно пылинкам в броуновском движении. Он пытается от них уклониться, но Мицар не выпускает. Они не ударяют в него, эти сетевые сущности проходят его насквозь, одни быстро, другие — не торопясь, быть может, пробуя на вкус, хотя он не чувствует даже щекотки — только свой собственный панический ужас.

Его рука поднимается по собственной воле, и Чеглок ахает, видя сквозь прозрачную кожу откровение мышц, сухожилий, костей. А в следующий миг его передергивает, когда чистым увеличением масштаба он видит мельчайшие амебоподобные существа, работающие в фабрике его тела: они чинят, строят, извлекают питание из подложки, извергающие и абсорбирующие разумные вирусы, напоминающие изящные эффективные машины — самоспроектированные вирусы для целей, понять или вообразить которые вне его возможностей. Он видал раньше селкомы, но никогда — в своем теле, хотя, конечно, знал, что они там есть: антеховские симбионты повсюду, неизвлекаемо вплетенные в молекулярную и субмолекулярную ткань мира. Но одно дело знать, совсем другое — увидеть своими глазами.

Он крепко зажмуривается, ум мутится от метафизического головокружения и чувства, что кто-то в него вторгся, слишком даже физически. Только власть Мицара не дает Чеглоку рухнуть на камни мостовой. Однако тельп еще с ним не закончил. Глаза Чеглока открываются принудительно, и сквозь завесу слез он смотрит на соединенные фигуры Мицара и святого Христофора. Они, как была секунду назад рука, прозрачны для его взгляда. Он видит стеклистые мышцы, кости, органы, ток крови в венах и артериях. Видит селкомы, наводнившие ткани, кости и кровь, разумных вирусов, которыми они обмениваются, как репликами в беседе. И еще: какие-то силуэты, возникающие и пропадающие, подобно сияющим скарабеям, шныряющим в темных измерениях. Похоже, будто они что-то едят, но ничего телесного… данные, наверное. Информацию. Они особо многочисленны в голове Мицара и вокруг нее, они танцуют возле черепа лучащимся пчелиным роем. Их потоки то и дело снуют между тельпом и нормалом, связывая эту пару куда теснее в мире Сети, чем в физическом. Другие потоки лижущими языками выходят из тельпа и проливаются сквозь зрачок антеховского глаза нормала, играя над физическим телом Чеглока и сквозь него, и сквозь тело его виртуала, вложенного внутрь. До него доходит, что он видит виртуальное воплощение психоники Мицара, связь мысли и воли, которая привязывает к тельпу его, Чеглока, виртуализованного против воли, такого же раба, как святой Христофор.

В нем поднимается тошнота, Чеглок отводит взгляд и обнаруживает, что смотрит на мостовую, будто на опору, на что-то твердое под ногами. Но сама Земля стала стеклянной, открыв все странные и тревожные создания сети, которые видел он в воздухе и в своем теле. Он видит плотные колонии селкомов, симбионтов, живущих в почве подобно бактериям, развивавшимся миллиарды лет. Он смотрит на мощные приливы и отливы миграции разумных вирусов, и понимает, что видит работу единой нервной системы, соединяющей Землю и все, что на ней и в ней — мьютов и нормалов и мелкие электронные мозги — с Орбитальными. Чеглок, которому высота ужаса не внушает, узнает ужас теперь — при мысли, что камни площади могли бы треснуть, как корка льда, и втянуть его, утопить в этом населенном призраками океане камня и почвы. Далеко внизу, на пределе его усовершенствованного зрения, на глубине, куда даже шахты не могут докопаться, внутренность планеты теряет прозрачность, превращается в темный алмаз, хранящий свои последние тайны. Но даже там различается какое-то движение, формы более чудовищные в своих еле заметных очертаниях, как живые тени, отбрасываемые Орбитальными… или, быть может, единственная тень, слишком большая, чтобы воспринять ее как целое, многосоставный левиафан, свернувшийся подобно дракону, обвившему самоцветную яму планеты. Чеглок кричит от страха — не голосом, который ему уже не повинуется, но разумом.

И сразу же мир и зрение становятся такими, как были. Сердце охватывает ощущение колоссального облегчения и уверенности, но Чеглок борется с ними, зная, что они ложные, что им нельзя доверять, как нельзя доверять внешним органам чувств. Упорядоченный мир отчетливых предметов и устоявшихся форм, столь покорных его чувствам и утешительных для разума, — всего лишь, как знает теперь Чеглок, неполный и обманчивый фасад, если вообще не явная ложь. Он же видел правду? И память об этом еще пульсирует болью внутри — рана, которой не может коснуться исцеление.

И пронзительно звучит голос святого Христофора:

— А откуда ты знаешь, что ты видел всю правду или хотя бы часть ее? Может, я показал тебе ложь, а то, что ты видишь сейчас, есть и всегда было простой правдой вещей? А может, правды вообще нет, а есть лишь бесконечные вариации лжи?

— Зачем вы это делаете? — спрашивает Чеглок, разъяряясь не только от собственной беспомощности и страха, но и от издевательских слов тельпа, переданных рабом.

— Потому что могу, — отвечает святой Христофор, а Мицар

скалит зубы, показывая обрубок языка.

— Не имеете права! Коллегия виртуального разума…

Ничего мне не сделает, отвечает снисходительный голос пониже голоса святого Христофора прямо у него в голове. И вдруг Мицар и святой Христофор исчезают. На их месте стоит худой темноволосый тельп с горящими черными глазами. На его лице — тщательная мозаика разрезов.

Чеглок сразу понимает, что он видит Мицара, каким тот был до увечья: он снова стал целым в Сети. Не тельп, но вирт тельпа. И только сейчас до Чеглока доходит, что он по-прежнему виртуализован.

— В-вы… — лепечет он, — вы один из них. Невидимый…

Мицар щелкает пальцами, и вся площадь, кроме них двоих, застывает, будто застряла во времени. Парализованные прохожие замерли на полушаге, как восковые фигуры панорамы. Голуби повисли в воздухе орнаментом. *Браво, Чеглок,* звучит насмешливый голос под черепом.

Вы знаете мое имя, думает он глупость, потому что нет ничего, что не мог бы узнать о нем Невидимый, если бы захотел.

— И потому вы мне все это показали? — спрашивает он вслух. — Чтобы сказать, кто вы такой?

Мицар тоже переходит к слышимой речи — хотя, конечно, не на самом деле: просто очередной фокус виртуализации.

— Я тебе это показал, потому что мне захотелось, точно так же, как мне хочется иногда напомнить святому Христофору его прошлое положение придворного у трона Плюрибуса Унума. — Он небрежно машет рукой. — Вы, эйры, так горды своими крыльями, считаете себя над всеми мьютами, потому что умеете подниматься выше нас, представителей — какой там есть у вас прелестный эвфемизм? — ах, да, «низших рас». Но это всего лишь каприз мутации. Каприз Шанса, а не достоинство эйров. И есть другие меры высоты — или величия. Мне иногда приятно напоминать эйрам об этом.

Презрительная жестокость слов Мицара обжигает Чеглока, словно пощечина. Он соображает, что увечья тельпа изуродовали не только его тело, но и дух, сделали его желчным и мстительным.

— Юный эйр, — произносит Мицар, — ты очень мало разбираешься в ненависти и еще меньше — в тельпах. Но я немножко обучу тебя по этим двум предметам до того, как мы закончим. Большему, возможно, чем ты хотел бы знать…

— Что вы от меня хотите? *Я* не совершал преступлений…

Мицар смеется:

— У нас на факультете есть поговорка: охотнее всего

оправдываются виноватые. Мы знаем твои мысли. Мы знаем твои мечты о славе и жертве. Вот они меня к тебе и привели.

— Разве мечтать — преступление?

— Зависит от того, что за мечта… и кто мечтает.

Мицар снова щелкает пальцами. На этот раз Чеглок оказывается парящим над строем из тысяч рыцарей-нормалов, марширующих в кипящую битву, которая у него менее чем в миле за спиной. Тело его ноет болью дюжины ран. В мозгу звучит отчетливая психоническая команда тельпа, приказывающего отступить, интегрированная сеть гештальта субвиртуализирована, разбита, и войска отступают под натиском нормалов. Но Чеглок игнорирует приказ, летит дальше, за боевые порядки врага. Далеко внизу, на холме, он видит группу нормалов, верховых и пеших, посреди цветных военных вымпелов и алмазного блеска псибертронной брони. Центральная фигура на огромном скакуне определяется без сомнений. Чеглок, не колеблясь, бросается в пике…

И оказывается на площади Паломников. Конечно, он там все время и был, и сейчас он не там… то есть не на той площади, что он воспринимает, потому что эта площадь Паломников — всего лишь конструкция Сети. А другая? Та, на которой оказывается его физическое тело, когда в мгновение ока кончается его виртуализация?

Черные глаза виртуала Мицара блестят смехом, и Чеглок напоминает себе, что этот тельп в любом случае знает его мысли.

— Вся слава — герою-победителю! — провозглашает Мицар с насмешливым поклоном.

— Безобидная фантазия, — бормочет смущенный Чеглок.

— По-твоему, неподчинение прямому приказу вышестоящего начальника — безобидно?

Чеглок слишком потрясен, чтобы возразить.

— Несоблюдение субординации — преступление серьезное.

— Но… это же было не настоящее!

— Чувство, лежащее в основе — настоящее.

— И я должен быть наказан за чувство?

— Для тельпов чувства и мысли реальны не менее действий, или могут быть реальны. — Мицар улыбается своими белыми идеальными зубами. — Видишь, я тебя уже учу. И вот еще один урок: я тебе не враг.

— Вы выбрали странный способ это доказать. Сперва прикинулись уличным предсказателем и наврали мне про мое будущее. Потом виртуализовали меня против воли. Теперь угрожаете мне за мечтания. Это действия друга?

— У меня много личин и голосов, но я действительно

предсказатель… хотя и необычный. Все, что я предсказал тебе, сбудется в одном или другом будущем. Предательство, кровь, слезы — всё. Вопрос лишь вот в чем: какое будущее восторжествует?

Чеглок больше не испытывает ни злости, ни страха — без сомнения, опять психонические манипуляции Мицара. Он даже не может быть уверен, что мысли его принадлежат ему. И все же не уступает.

— Будущее решает Шанс, а не я — и не вы. «Кто может уменьшить Шанс? Пусть попытается, ибо только сам он уменьшится».

Снова лающий смех Мицара.

— И ты будешь мне цитировать «Книгу Шанса»? Есть в тебе что-то от Святого Метателя, юный Чеглок. Но позволь мне сделать то же самое и взять свой ответ из Сутуры Шестой, «Вслед кувырком»: «Действие приносит добрую удачу. Выбрать его — значит открыть». Это основы теологии вероятностей.

Когда Мицар цитирует сутуру, соответствующий узор разрезов — лемниската, знак Шанса — выступает из шрамов его лица и сияет под луной, как паутина.

— Вы были Святым Метателем, — говорит Чеглок. — Ваше лицо это выдает.

— А зачем бы мне это скрывать? В молодости я состоял в ордене Стохастиков.

Стохастики. Самая маленькая и самая изолированная секта Святых Метателей. Они полностью посвящают себя капризам Шанса, и каждое действие определяют броском костей, как бы мелко и тривиально оно ни было. Проживая жизнь чистейшей преданности и случайности, они обретают мудрость в темных мистериях теологии вероятностей.

— Вы стали солдатом. Неужто вы потеряли веру в кости?

— Напротив, я следовал костям. Как и сейчас.

— Значит, вы не слишком ясно видели свое будущее.

— Я видел возможности. Пока катятся кости Шанса, это все, что мы можем постичь. Но некоторые из этих возможностей, этих потенциальных будущих, вероятнее других. Выбор, который мы делаем тем временем, помогает определить, какое будущее восторжествует.

— Вы хотите сказать, что сами выбрали для себя *вот это?*

Нотка гнева звучит в голосе Мицара:

— Разве кто-нибудь выбрал бы для себя такую жизнь, как я веду, Чеглок? Калека, зависящий от тела и чувств нормала, становящийся целым лишь в Сети? Нет, я не выбирал этого будущего. Но я и не дрогнул, когда пришло время сделать

спасительный бросок. Сможешь ли ты сказать то же о себе?

— О чем вы?

— Как одно будущее бывает вероятнее другого, так и выбор и действия некоторых лиц играют ббльшую роль в определении, какое возможное будущее произойдет. Ты — один из таких. У тебя есть сила определить не только свое будущее, но и будущее самого содружества. Святые Метатели видели это, бросив кости при твоем рождении, и Коллегия подтвердила их расчеты.

— Вы не того эйра выбрали. — Чеглока охватывает слабость от облегчения: это ошибка, кошмар скоро кончится. — Ничего особенного во мне нет. Видит Шанс, я же инкубаторский!

— Может быть, это и делает тебя особенным. Единственное, что важно — что должно быть важно для патриота, — что ты нужен Содружеству.

— Вы хотите сказать — Коллегии.

— Это одно и то же.

— О Шанс! — произносит Чеглок в озарении понимания. — Вы меня вербуете!

— Слишком много о себе полагаешь, — холодно отвечает Мицар. — Только тельпам дозволено быть Невидимыми. Но любой мьют может послужить, если сделает такой выбор.

— А если я сделаю другой выбор? Наверное, тогда меня заставят?

— Нет, — говорит Мицар. — Ты волен отказаться.

— И волен быть за это наказанным.

— Не нами.

— Значит, Святыми Метателями.

— Ты не понял. Наказание мы оставляем Шансу.

Чеглок на это не покупается.

— Сперва вы сказали, что я нужен Содружеству. Теперь вы говорите, что не важно, буду я помогать или нет. Не может быть правдой и то, и другое.

— И все же это так. Таковы таинства теологии вероятностей. Независимо от твоего выбора, ты будешь оказывать влияние на будущее. Это открыли кости, а они никогда не лгут.

— Тогда зачем брать на себя труд все это мне рассказывать?

— Потому что так требуют кости. И потому что я верю, что больше чести бросить кости самому, чем ждать, пока они выпадут из руки Шанса, даже если результат будет тот же самый. Но не льсти себе, Чеглок. Не воображай даже на миг, будто ты единственный мьют, чье решение имеет силу изменить мир. Как это по-эйрийски! В своих усилиях осуществить лучшее из возможных будущих Коллегия использует мьютов каждой расы. Вопрос о том, выиграет наш род эту войну или проиграет — и,

проиграв, исчезнет из истории, будто нас никогда и не было, — слишком сложен, чтобы его решал один мьют.

— Что вы хотите, чтобы я сделал?

Мицар покачивает пальцем из стороны в сторону.

— Не спеши. Со всем должным уважением к философии прекрасной Моряны — да, я все знаю, что случилось в «Голубятне», — это испытание веры, а не упражнение в эгоизме. Сперва ты должен дать мне ответ. И я предупреждаю тебя: как только выбор сделан, обратной дороги нет. Согласись — и, может быть, ты об этом пожалеешь. Откажись — и станет так, будто мы никогда не виделись. Память об этом будет стерта из твоего разума. Но если ты решишь нам помочь, мы не окажемся неблагодарными. Сотрудничество несет с собой свои награды, как и свои опасности.

Чеглок снова начинает закипать:

— Если я решу помогать, то не из-за ваших Шансом проклятых наград!

— Конечно, нет, — деланно соглашается Мицар.

— Послужить Содружеству — само по себе награда!

— Никогда не говорил ничего иного. Значит… ты согласен?

— Я с детства мечтал сыграть такую роль, Мицар. Я могу не верить вам, не верить Коллегии, но я — патриот. У меня есть вера в Шанс. И не надо меня подталкивать к выполнению долга фокусами. Конечно, я согласен… как вы заранее знали.

Мицар сверкает своими идеальными зубами.

— Мало что определенного есть в этом мире, Чеглок. Но я рад, очень рад, что ты решил быть с нами.

Он протягивает руку, и Чеглок сжимает ее, скрепляя договор.

От соприкосновения рук виртуальное представление площади Паломников тает в воздухе, и теперь Чеглок держит руку святого Христофора. Он вздрагивает от неожиданности. Но на самом ли деле он в физическом мире? Чеглок украдкой глядит на Мицара: тельп такой, как был раньше: обрубленное туловище, привязанное к мускулистому торсу нормала. Он будто смотрит на Чеглока сквозь ленту черной тряпки на глазах.

— А это уже реальность? — спрашивает растерянно Чеглок.

— А разве похоже на виртуализацию? — отвечает вопросом на вопрос святой Христофор, и антеховский глаз вспыхивает, как лед на солнце.

Люди нормально идут через площадь. Но что это доказывает? Чеглок не ощущает связи с виртом, но он и не чувствовал, чтобы ее перерезали.

— Я… я теперь не знаю.

Тогда ты усвоил еще один ценный урок, звучит в уме голос

Мицара. *Теперь слушай внимательно. В Становление первые из нас вылупились полностью сформированные из коконов нормалов, зараженных разумными вирусами. С тех самых пор мы жили в надежде и ожидании Второго Становления, когда новый штамм вирусов поднимет нас настолько выше нас теперешних, насколько сейчас мы выше нормалов. Святые Метатели предсказали Второе Становление, бросая кости, — но не узнали, когда оно будет. Понятно, что Факультет Невидимых не удовлетворился ожиданием. Мы не можем ждать — нормалы не позволят нам этой роскоши. И поэтому уже несколько столетий Святые Метатели дни и ночи трудятся в инсеминариях, чтобы создать предсказанный вирус… пока что, увы, без успеха. Но это, как ты знаешь, не единственная их работа. Они превращали другие вирусы в мощное оружие против нашего врага и защищали нас от вирусов, выведенных нормалами. Однако все это время они работали и на вторую, тайную цель — воссоздать исходный вирус, из-за которого произошло Становление.*

Подумай об этом, Чеглок! Если бы мы могли заразить этим вирусом нормалов, они бы почти все вымерли, как было в Становление, а выжившие мутировали бы в наш род. Мы могли бы выиграть войну, истребить врага и решить проблему населения — и все это одним ударом! Но разумный вирус, породивший Становление, не пережил его: как и наши предки, он изменился, выродился во что-то меньшее. Он утратил эффективность, стал равно благоприятен для нормалов и мьютов. Сейчас он есть в крови обеих групп — он, или его безвредные потомки. И, несмотря на все усилия, Святым Метателям не удалось восстановить действенный штамм. Много столетий они экспериментировали на бесчисленных пленниках-нормалах. И за все это время ни одного нормала не удалось преобразовать в мьюта.

До сегодняшнего дня.

У Чеглока сердце прыгает в груди.

— Но ведь тогда война выиграна!

Не спеши торжествовать. Мицар трясет своей жалкой головой, а святой Христофор, поднеся палец к губам, призывает к молчанию. *Не Метатели преуспели. Это нормалы создали вирус, который запускает мутации Становления.*

Но разве это плохие вести? — думает в свою очередь Чеглок. *Я хочу сказать, чем нас больше, тем лучше?*

Боюсь, не все так просто. Нормалы, пережившие исходное Становление, трансформировались телом и духом. Они очнулись с инстинктивной ненавистью ко всему тому, чем они были, с сознанием принадлежности к новому, высшему порядку. Вот что связало пять рас воедино и позволило нам пережить первые

трудные годы, когда нас было ничтожно мало, и силой своей мы еще не овладели. Но в этот раз нормалы, подвергнутые воздействию нового вируса — как и в прошлый раз, ничтожное выжившее меньшинство, — приобрели внешний вид и псионическую силу мьютов, а в разуме своем, в сердце, в душе они остались преданы Плюрибусу Унуму.

Чеглок вздрагивает всем телом, сразу поняв опасность. *Шпионы. Убийцы.*

Да, подтверждает Мицар.

Святой Христофор берет Чеглока за руку и ведет его через площадь Паломников, которая, как замечает Чеглок, опустела. Даже голубей нет.

Как ты знаешь, продолжает тем временем Мицар, *уже много веков мой факультет подсылает к нормалам наших шпионов, и именно от одного из них мы узнали об этом прорыве, благодаря которому, как ты сообразил, нормалы могут проникать в Содружество — чего раньше им не удавалось. Согласно нашим разведданным, среди нас уже есть шпионы.*

Но разве не можете вы — Коллегия — выследить их псионически? — спрашивает Чеглок. *Даже если они выглядят, как мы, и обладают нашей силой, вы же тельпы, вы способны увидеть, что на самом деле у них на уме.*

Этот вирус, отвечает Мицар, *отличается от исходного в одном критически важном аспекте. Он придает силы тельпа любому мьюту, который из-за него мутирует. Станет ли выживший эйром или руслом, салмандером или шахтом, он будет обладать еще и псионическими способностями моей расы. И не только в этом дело. А еще в том, что они сильнее нас.*

Чеглок застывает как вкопанный.

Но тогда… война проиграна!

Не спеши отчаиваться. Святой Христофор снова тянет Чеглока вперед, через опустевшую площадь. *Разве ты забыл, что ничего еще не решено, пока кости не остановились? Шанс мог повернуться против нас, но всегда есть возможность спасительного броска!*

Но… но мы же дети Шанса, думает Чеглок, *Как мог Шанс повернуться против нас?*

«У Шанса нет любимцев, цитирует Мицар. *Не является он и беспристрастным». Ты знаешь слова этой сутуры не хуже меня, Чеглок. И все же, как очень многие мьюты, ты никогда их не понимал.*

Кажется, начинаю понимать, думает Чеглок.

Надеюсь на это, ради всех нас. Согласно нашим агентам, Плюрибус Унум внедрил к нам группу шпионов, чтобы испытать

наши способности и нашу оборону перед вторжением более серьезным. Эти шпионы, отточив свои псионические способности в сетевых имитациях, необнаружимы для самых сильных и опытных тельпов. И только вся мощь Коллегии, когда все ее тельпы соединены в гештальт, достаточна для их разоблачения. Но этот процесс сопровождается уничтожением. Чтобы сломать сопротивление столь мощного ума, приходится потрясти его так, что он уже не восстанавливается. Действительно, они уничтожают себя раньше, чем нам удается их сломать. Нормалы обожают самоубийственные жесты: их трехликий бог отвел на небе специальное место для мучеников, — так говорит их вера.

Чеглок не видит здесь проблемы.

Ну, так пусть убьют себя, избавят нас от хлопот.

Такая их смерть для нас бесполезна. Нам нужно больше, чем уничтожение лазутчиков. Нам нужно сделать их знание своим. Мы должны их субвиртуализовать, если это возможно, и послать обратно к их роду собирать информацию для нас. Более всего нам нужно добыть образец этого вируса для Святых Метателей, чтобы они его изучили и научились элиминировать факторы, которые заставляют этих мьютов хранить верность нормалам.

Ноу вас же уже есть образцы, думает Чеглок, *от пойманных вами шпионов.*

Шпионов? Пока что мы поймали всего одного. Трудная операция, которая едва не провалилась, несмотря на все предосторожности. Информация о некоторой женщине-салмандре дошла до нас от одного из самых высоко проникших агентов. Мы знали, что должны действовать быстро: нельзя было, чтобы она получила возможность переправить весть своим хозяевам. Мы подстроили аварию — с виду случайную, ничем не примечательную цепь неудач на улицах Многогранного Города, — и одновременно объединенный гештальт всей Коллегии ударил изо всех псионических сил. То немногое, что мы знаем о псионических способностях нормалов в обличье мьютов, мы узнали тогда, за миг до того, как ее виртуализованный разум, не в силах уйти от нашего контроля или субвиртуализовать его, разрушил сам себя. И невероятно: то, что не удалось ей в жизни, она почти сделала в смерти. Когда ее разум разлетелся на миллионы фрагментов, осколки, как какие-то протеи виртят, приняли самые разные формы и повели нас в головокружительную погоню по Сети. Несколько их едва не сбежали и чуть было не предупредили свое начальство. Если нормалы заподозрят, что мы напали на их след, они могут обрушить на нас волну самоубийственных атак. Даже ускорить свое вторжение. Честно говоря, мы не посмели рисковать. В любом случае у Святых Метателей появилась

возможность тщательно исследовать мертвую салмандру. И оказалось, что в процессе изменения своего хозяина вирус сам подвергается мутации, изменяясь до формы, идентичной безвредному потомку изначального разумного вируса, который есть в крови всех нормалов и мьютов. Так что, если мы хотим получить образец, его надо искать иным образом.

Но тут Чеглоку приходит в голову другая тревожная мысль: *Если эти шпионы так, Шанс их побери, сильны, Мицар, откуда нам знать, что они не слушают нас прямо сейчас?*

Они сильны, это верно, отвечает тельп. *И забывать об этом не следует. Однако считать их всемогущими тоже не надо. Они не боги, Чеглок. По отдельности они могут быть сильнее нас, но их все еще относительно мало. Даже в гештальте им не выстоять против всей мощи Коллегии. Но то, что правда сегодня, может перестать быть правдой завтра. Действовать надо сейчас, пока мы не утратили численного преимущества.*

Что я могу сделать? — спрашивает Чеглок.

Ты можешь нам помочь определить, кто из членов твоей пентады — шпион.

Нет! — Чеглок снова резко останавливается. *Этого не может быть!*

Мицар улыбается:

Говорил я тебе, что ты в своем паломничестве встретишься с изменой?

Да, но…

Вот что нам известно: перед твоим Испытанием была похищена группа соискателей, вероятно, убита, на пути в Мутатис-Мутандис, и их места заняли шпионы нормалов. Мы также знаем, что ты не из них. Откуда? Потому что кровь рожденных от инкубатора уникальна: только те, кто родился от союза мьюта и нормалки, имеют характерные генетические маркеры. Когда ты дал мне свой окровавленный платок, я проверил наличие этих маркеров с помощью антеховского глаза святого Христофора.

— Постойте! — говорит Чеглок вслух, упираясь, когда святой Христофор тянет его за рукав. У него в голове вихрь, но наконец-то он начинает соображать, что к чему. *Сегодня утром, когда Полярис сбила меня и разбила нос — это тоже было подстроено? Она — Невидимая!*

Невидимая? — У Мицара оскорбленный вид. *Это вряд ли. Но все тельпы служат Коллегии.*

Тогда шпионом должен быть Халцедон, Моряна или Феникс.

Полярис под таким же подозрением, как все прочие, отвечает Мицар. *Она выполнила задание, которое мы ей поручили, но так*

поступил бы любой тельп без вопросов и колебаний. Откажись она — это было бы подозрительно. Мы ей ничего не сказали о цели этого действия, как и о том, разумеется, что сейчас сказал я тебе. И не соверши ошибки, Чеглок, предполагая, что в твоей пентаде только один шпион. Да, информация от наших агентов заставляет думать, что именно так. Но агентам случалось передавать заведомую дезинформацию.

Так, значит, их может быть более одного, думает Чеглок.

Все возможно по капризу Шанса.

Чеглок с минуту размышляет.

Но почему именно моя пентада? Что в нас такого особенного?

Опять ты! Я же не говорил, что ваша пентада — особенная. Мы считаем, что нормалы инфильтрировали все новосозданные пентады.

Но ведь пентады выбираются Святыми Метателями! — возражает Чеглок. *Вы хотите сказать…*

Что среди Метателей тоже есть шпионы? Мы этого не исключаем. Но все пентады имеют один и тот же состав: по одному представителю от каждой из пяти рас. Нормалам нужно только представить достаточно большую расовую выборку соискателей Испытания, используя агентов, для которых вероятно пройти наш процесс тестирования, а после этого простая вероятность говорит, что агенты будут случайно распределены по пентадам. В некоторых может оказаться один шпион, в других больше, в третьих вообще ни одного. Учитывая эти факты, ты сам поймешь: наиболее разумно считать, что шпионы есть во всех.

Да, конечно, соглашается Чеглок, а тем временем святой Христофор продолжает вести его через площадь. *Но я не понимаю, почему вы допустили, чтобы это так долго тянулось. Паломничество начнется завтра утром, когда же вы собираетесь действовать против шпионов?*

А мы и не собираемся, отвечает Мицар. *Не хотим предупреждать нормалов, что мы против них выступили. Пока что. Кроме того, это бы лишь посеяло панику в Многогранном Городе. Шпионы убили бы себя раньше, чем мы узнали бы что-нибудь ценное. Лучше дать процессам идти нормально и внимательно присматривать издалека, ожидая, пока шпион или шпионы себя разоблачат. И если не обойдется без крови, то пусть лучше кровь прольется в Пустыне, чем у нас в Мутатис-Мутандис. В каждой пентаде есть хотя бы один инкубаторский — мьют, которому мы можем доверять, это мы обеспечили. Они должны стать нашими глазами и ушами. А если необходимо — то и нашими руками. Ну вот мы и пришли!*

Они стоят перед воротами, которых Чеглок раньше не видел.

Само по себе это вовсе не удивительно: Многогранный Город изобилует воротами, и даже живущие здесь всю жизнь не помнят всех. Но эти конкретные ворота расположены на другом конце площади Паломников, напротив Врат Паломника, на месте, где, как точно знал Чеглок, никаких ворот нет… по крайней мере в физическом мире. Но, напоминает он себе, это не физический мир, каким бы настоящим здесь все ни казалось. Он все еще виртуализован, все еще под властью Мицара.

Ворота выполнены в виде головы русла. Она возвышается, омываемая ленивым течением и переливами цвета, подбородок покоится на земле, тонкие губы сжаты в ниточку на уровне коленей Чеглока. Лоб нависает футах в двадцати над ним, изгибаясь, как выпуклость восковой луны. Чеглок вздрагивает и шарахается от фигуры, которая из-за хроматического зрелища кажется не статуей, а живым руслом, гигантом, вмурованным в камни площади. Словно бы все его тело закопано под ней. Огромные глаза черны, как смоляные ямы, но не кажутся слепыми — наоборот, Чеглок ощущает, что от этого пристального взгляда не укроется ничто, и уж точно не он. Потому что, когда святой Христофор, все еще держа за руку, ведет его вперед, огромный лоб хмурится, пещеры ноздрей раздуваются, будто принюхиваясь, а игра цветов на лице — не мужском и не женском — становится темной и бурной, как на изборожденном бурей небе.

— Каждые ворота в городе имеют своего виртуального стража, — говорит Мицар голосом святого Христофора. — Не бойся.

Чеглок не успокоен, но все же собирает всю свою храбрость и спрашивает:

— А что это за ворота?

— Те, которых ты не найдешь ни на одной карте города, не наткнешься, бродя по улицам. Специальные ворота только для моего факультета.

— Куда они ведут?

— Скоро узнаешь. — При этих словах мрачное лицо открывает рот, будто хочет проглотить путников целиком. Снова Чеглок отшатывается, снова святой Христофор тянет его вперед.

Не бойся, психонически повторяет Мицар. *Я иду с тобой.*

Это Чеглока тоже никак не успокаивает.

— Постойте, Мицар…

Когда ты пройдешь через эти ворота, ты все забудешь, предупреждает Мицар. *Когда пройдешь через них второй раз, все вспомнишь.*

— *Я* не понимаю…

Ты пойдешь в паломничество так, будто ничего этого не было. Но все это время ты будешь виртуализован. Такой глубокой, такой тонкой виртуализацией, что ни один шпион не сможет ее заметить. Я буду с тобой, поеду на тебе, как сейчас на святом Христофоре, только изнутри. Я буду слышать то, что будешь слышать ты, видеть то, что ты видишь, ощущать то, что ты ощущаешь. Но ни ты, ни кто-либо из твоих товарищей не заподозрит моего присутствия, и даже Полярис, виртуализуя вас и формируя гештальт, не обнаружит моего вирта.

В мрачной глубине открытого рта вирта Чеглок видит живую игру огня и сверкающие вспышки чего-то вроде молний. Он чувствует запах расплавленного пластика и едкие дымы горелых схем. И жирную вонь горелой плоти. В ужасе он закрывает глаза, а святой Христофор грубо толкает его вперед…

Когда Чеглок снова открывает глаза, он висит высоко в штормовом воздухе. Сколько прошло времени? Секунда? Меньше? Внизу, в дымящихся развалинах, он видит вирты мертвых нормалов, наложенные на физические останки, накрывающие их призрачными цветными саркофагами. Он глядит сквозь разбитую оболочку псибертронной брони, внутрь тел — или того, что от них осталось, где в мясе роются селкомы, переваривая своих хозяев изнутри, разбирая по молекулам. Скоро не останется ничего, селкомы набросятся друг на друга в каннибальской оргии, и победители рассеются в воздухе, в земле, продолжая служить медианету и — по-своему — Орбитальным. Физические формы мьютов после смерти тоже подвергаются такой же быстрой молекулярной деструкции, пожираемые селкомами, что поддерживают в них жизнь, но только мертвые мьюты — в отличие от зомбированных виртов мертвых нормалов — не проснутся в виртуальной послежизни сверкающего рая или мучительного ада. Вместо этого живая память каждого уникального мьюта будет сохранена в точных последовательностях ДНК и глубоком нейронном картировании, созданном селкомами, чье жадное пожирание есть одновременно глубокое запоминание, и эти данные вольются в интегрированную гештальт-сеть, доступную Коллегии Виртуального Разума, а также Святым Метателям, что трудятся в своих инсеминариях.

Однако сейчас Чеглок способен думать только о своей встрече с Мицаром на площади Паломников и запутанном рассказе тельпа о шпионах, интригах и контринтригах… и самое неприятное — откровение, что он все это время был виртуализован, уже несколько месяцев до этого момента. Что объясняет леденящий ужас перед Сетью, который в нем

нарастал… более того, он *до сих пор* виртуализован, что ясно доказывается возможностью его взгляда проникнуть под оболочку лежащих внизу трупов.

Мицар! — кричит он мысленно в гневе. *Отвечай, будь ты проклят!*

Успокойся, Чеглок, доходит психонический ответ тельпа. *Я здесь.*

Это настоящее? — спрашивает Чеглок. *Или очередная виртуализация?*

Ты сражался с нормалами, ты видишь внизу трупы.

Это ничего не доказывает. Вполне возможно, что я все еще на площади Паломников.

Слишком ты подозрителен. Да, ты действительно виртуализован с самого момента нашей встречи. Но только чтобы мы могли следить за продвижением вашей пентады по Пустыне и знать, не проявились ли шпионы.

И это вы эйров называете высокомерной расой? Да вы сами, тельпы, никого другого в грош не ставите! Вы считаете, что имеете право виртуализовать всех подряд, просто потому что можете…

Ты согласился нам помочь.

Но не виртуализоваться на целые месяцы! Не чтобы мне стирали память, отбирали волю, будто я — раб из нормалов, и…

Молчи, неблагодарный эйр! — гремит голос Мицара в голове Чеглока с такой яростью, что она одеялом ужаса накрывает огонь возмущения. *Не смей вопрошать Факультет Невидимых! То, что мы делаем, мы делаем ради Содружества. Мы знаем, что делаем, и не собираемся отчитываться перед такими, как ты. Твоя память восстановлена. А что до воли… Тебе хватает безрассудства сравнивать себя с рабом вроде святого Христофора?*

Вдруг, откуда ни возьмись, Чеглока захлестывает глубокая, всеохватывающая волна благодарности. Он знает, что это ложь, что его эмоциями управляет тельп, но это знание — чепуха по сравнению с чувством. И так же быстро, как пришла, благодарность исчезает, оставив пустоту, лишенную любых чувств.

Теперь ты понял, как это могло быть? — говорит Мицар, снова спокойным голосом, будто сожалеет, что показал свою силу — или что пришлось это сделать. *Ты думаешь, мы не могли бы быть тиранами, если бы пожелали? Но это не для тельпов. Факультеты Коллегии, видимые и невидимые, служат Содружеству и его гражданам. Мы не ищем власти. Отбрось свои предубеждения, Чеглок. Оставь свой гнев. Сейчас трудные времена, мы все должны приносить жертвы. Ты видел, что отдал этой*

борьбе я. От тебя я прошу не большего, а — надеюсь — куда меньшего на самом деле.

А вот это угрызение совести — настоящее? Никогда не узнать.

Я… я постараюсь.

Молодец, парнишка! Когда такие бойцы в наших рядах, кто может сомневаться, что Шанс отдаст победу нам? Но нельзя терять времени. Ваша стычка с этими нормалами может показаться случайной, но уверяю тебя, это не так. Так было задумано. Вас сюда привели.

Тогда… вы разоблачили шпиона? Кто… и тут до него доходит: *Полярис? Ну да, конечно! Она же нам сказала, что здание чисто.*

Не позволяй личным чувствам уводить тебя в сторону. Псибертронная броня нормалов вполне в состоянии скрыть присутствие такой малочисленной группы от тельпа с опытом Полярис — сравнительно низким.

Значит, Халцедон. Это он предложил обойти дом и зайти сзади.

Да, но обнаружил дом и предложил в нем укрыться ты. Себя тоже будешь обвинять?

Это был не я, Мицар. Ты меня все это время дергал за ниточки. Может, нормалы и могли укрыться от Полярис, но не от Невидимого, за которым — вся мощь Коллегии. Не от тебя.

Огнем вспыхивает хохот Мицара:

Все еще не доверяешь мне, Чеглок? Что ж, может, ты и прав. Может быть, надежнее вообще никому не доверять. Но нет, я не обнаружил этих нормалов. Не пытался. Это выдало бы мое присутствие шпиону. Пусть я твой всадник, но повод не в моих руках.

Тогда кто же? — у Чеглока кровь стынет в жилах. *Нет, не Моряна!*

А если она? Что тогда? Смог бы ты действовать?

Я… я не знаю…

Но не возможность, что Моряна — шпионка, что ему придется ловить или убивать ее с помощью Мицара или Коллегии, главное для него сейчас. Главное — осознание, что все это время Мицар был с ними в самые интимные минуты, как какой-то мерзкий паразит сердца: он видел то, что видел, слышал то, что слышал, ощущал… Ощущение, что наплевали в душу, было невыносимо.

Тельпу в моем состоянии редко выпадает случай насладиться несравненными чарами руслы, говорит голос Мицара. *Неужто ты бы для меня на это поскупился?*

И еще как! Ты не имел права!

Ты не знал. Ничего не изменилось, никто не пострадал. Но тебе не приходило в голову поинтересоваться, с чего это вдруг такая русла, как Моряна, выбрала эйра вроде тебя как эксклюзивный предмет своей благосклонности? И всего лишь после одного раза?

Тут весь гнев уходит из Чеглока, как вода в песок, и на его место приходит ужас, тяжелый, холодный, как змея, ленивая спросонья, но просыпающаяся и расправляющая кольца, готовясь нанести ядовитый укус.

Что ты сказал?

Разве я не говорил тебе на площади Паломников, что за помощь ты получишь награду?

Чеглок стонет от вонзившихся в самое сердце ядовитых клыков. Он забыл, как злобен и жесток бывает этот тельп.

Ты лжешь!

Бедный Чеглок! Такой невинный, такой наивный…

Но не такой наивный, чтобы поверить, будто ты рискнул себя обнаружить, воздействуя своей силой на Моряну. Шпионкой вполне могла оказаться она.

Может быть… но наверняка ты никогда уже не узнаешь, правда? Отныне, когда бы ты ни посмотрел на нее, в уме у тебя всегда будет сомнение, а в сердце яд.

За что ты ненавидишь меня, Мицар?

Я не ненавижу тебя. Напротив, я желаю тебе добра.

У тебя странный способ это проявлять.

Бывают времена, когда для доброты требуется быть жестоким. Когда-нибудь ты это поймешь.

Надеюсь, что нет. Это будет значить, что я стал таким, как ты.

Лучше таким, как я, чем как те трупы внизу.

Яне боюсь умирать.

Правда? Тогда тебе не страшно будет узнать, что ты и твоя пентада заражены неизвестным вирусом — очень возможно, если учесть его источник, что смертельным.

Ужас заново сжимает сердце Чеглока.

Заражены? Но как…

Шпион. Вероятно, он или она — или они, потому что мы до сих пор не знаем, со сколькими имеем дело, — передал вирус при половом контакте. С тех пор он латентно находился в каждом из вас, ожидая сигнала. Этот сигнал пришел прямо сейчас, во время вашего боя с нормалами. Мы его обнаружили и дешифровали.

Так вот почему нормалы взорвали себя! Они поняли, что вы перехватили сигнал.

Взрыв и был сигналом. В нем была закодирована команда

активизации вируса.

Тогда… значит, они не пытались убить нас?

Очевидно, нет. Они могли вас перебить до последнего, и не принося себя в жертву, если бы хотели. Этот взрыв был отвлекающим маневром, маскирующим истинную атаку.

Звучит так, будто ты ими восхищаешься.

Я восхищаюсь их хитростью, их беспощадностью, их фанатической преданностью идеалу. Этими качествами мы должны обладать в большей степени, чем наш противник, если хотим выиграть войну.

Сейчас Чеглок гораздо больше беспокоится о том, как пережить войну, а не о том, как ее выиграть.

И что с нами будет, Мицар? Как действует этот вирус? Что он делает? Я не чувствую себя больным…

Мы не знаем его назначения, не знаем, какой у него показатель смертности. Еще несколько секунд назад мы вообще не знали, что он существует. Но можем быть вполне уверены, что он не предназначен для убийства… по крайней мере открыто. Это могло быть достигнуто самим взрывом, если бы им хотелось. Сейчас самое главное не паниковать.

Тебе легко говорить.

Боюсь, что ваше Паломничество закончено, юный эйр.

Но мы же еще полпути не прошли до Голодного Города!

Пусть ты не чувствуешь себя больным, Чеглок, но ты болен. Симптомы скоро проявятся. Вашей пентаде не придется встречать их в одиночку. Мы посылаем группу, чтобы забрать вас и привести в инсеминарий для лечения.

Опыт Чеглока подсказывает ему, что попадающие в инсеминарий чаще всего оттуда не выходят. Впрочем, если Мицар и слышит эту тревогу, то не отвечает.

Тот факт, что вирус был включен здесь, в изоляции Пустыни, наводит на мысль, что нормалы ставят какой-то эксперимент. Испытание нового оружия. Это делает вас для них ценными. И нет сомнения, что Плюрибус Унум тоже выслал за вами группу. Нет необходимости говорить, что, если вас схватят нормалы, для Содружества это будет катастрофой.

Думаю, нам тоже это не понравится.

Этот новый вирус может для нас быть куда опаснее того, другого, продолжает тельп. *Для нас императив — получить образцы для изучения.*

Так вот кто мы для тебя, Мицар? — горько думает Чеглок. *Живые образцы?*

Ты бы предпочел быть мертвым образцом?

Я вообще не желаю быть образцом.

Желаешь? Что значат желания мьютов или нормалов по сравнению с капризом Шанса?

От этих слов Чеглок заливается краской стыда.

Что мне необходимо сделать?

Пока что — запомнить, что любой из остальных, в том числе твоя милая Моряна, может оказаться шпионом, нормалом в шкуре мьюта. Будь начеку, но старайся не вызывать подозрений: это может спровоцировать очередную атаку на вас… что, впрочем, все равно может произойти. Я только надеюсь, что в этом случае успею тебя как-нибудь предупредить.

Другими словами, я предоставлен сам себе.

Я все еще с тобой, шепчу тебе мысленно, готов взять управление на себя, если придется. И не забывай: помощь уже в пути.

И долго ей сюда добираться?

Меньше часа. Но нормалы могут появиться раньше. Если так, тебе придется драться снова.

Это хорошо. Я не против кого-нибудь убить.

Сохрани этот гнев, юноша, но как следует его спрячь. Сейчас мы в твоих руках, Чеглок. Никому больше я не могу доверять. Только тебе.

Чеглок чувствует, как повод воли снова оказывается у него в руках. Он взмахивает крыльями, удерживаясь ровно на мечущихся ветрах бури. От развалин взлетают угли: оранжевые камешки, подмигивающие и вертящиеся, мелькают в полосах дождя. Он действительно был виртуализован с самой площади Паломников? И он действительно заражен разумным вирусом, который уже начал атаку, хотя ни малейших признаков болезни он не ощущает? Вирусом, тайный источник которого — один или несколько из тех мьютов, которым он привык за последнюю неделю доверять жизнь, и даже — если это Моряна — любить всем сердцем?

Чеглок все еще любит ее, и откровения Мицара ничто не изменили. Впрочем, он не сомневается в правдивости тельпа, как бы ни было злобно его поведение. Конечно, когда возвращаешься из виртуализации, сперва это несколько дезориентирует — то, что в реальном мире прошло совсем мало времени, но опыт виртуализации-внутри-виртуализации оставил у Чеглока чувство нереальности, большее обычного.

Нормалы лежат внизу, раскинувшись в неестественных позах, кровь их мешается с дождем, хлещущим по остаткам псибертронной брони. Чеглок, к своему облегчению, уже не видит их виртов, не видит жадной возни селкомов и вирусов внутри тел. Повернув голову, он замечает Моряну, склонившуюся над

Полярис в неверном свете мелькающих огней. Феникс лежит недвижимо, от него поднимается пар. Халцедона по-прежнему ни следа. Сколько продержал его Мицар психонической хваткой?

Ответ тельпа падает в мозг легче перышка:

Менее секунды.

Посмотрю-ка я, что с Фениксом, думает Чеглок, но не успевает осуществить намерение, как снизу вырывается фонтан грязи и камней, футов на десять слева. Вскрикнув от удивления, Чеглок взмывает выше, сплетая одновременно ветры в щит и готовясь ударить молнией. *Нормалы! Добрались первыми…*

Не стреляй! — доносится голос Мицара, и Халцедон вырывается из земли. Массивные кулаки воздеты над головой, шахт бросается к Чеглоку, но тут же узнает его и резко останавливается. Руки падают вниз, когда он замечает масштаб разрушений.

— Видит Шанс! — бурчит он. — Кажется, я самое интересное пропустил.

— Зато вылез вовремя, Халц, — отвечает Чеглок, приземляясь рядом. — Ты что, заблудился там, внизу?

Или, шепчет Мицар, *зная заранее, убрался подальше?*

Тише, Мицар!

Он нас не слышит.

Может быть, но я чертовски путаюсь, ведя два разговора сразу!

— Очень забавно, — рокочет тем временем Халцедон. Темные очки по-прежнему на лице у шахта, хотя одно из стекол треснуло, и, как разбитое зеркало, дает множество отражений окружающих огней. И Чеглоков тоже много. Дождевые русла коричневой земли и красноватой глины сбегают по грубо тесанному телу, будто шахт плавится. — Взрыв вызвал обвал. Не сразу смог откопаться. И то, что вдруг выбросило из Сети, тоже не слишком помогло. Что там с Пол?

— Моряна сейчас смотрит. Фена тоже здорово покорежило.

— Он салмандер крепкий, выкарабкается. Чего не могу сказать об этих нормалах. Жаль, ты мне одного не оставил, Чег.

— Не моя работа. Они сами себя взорвали.

Халц хмыкает, тряся головой:

— Мудаки тронутые. Если так хотят умереть, какого бы Шанса им не истребить себя дома, не задавая нам хлопот?

— Когда я начну понимать нормалов, я тебе скажу.

— А они точно не притворяются?

Чеглок мрачно улыбается, вспоминая сетевое видение их внутренностей.

— Мертвы надежно.

— Эти гады хотели меня закопать. Отплачу им услугой за услугу.

Чеглок не успевает ответить, как Халцедон топает ногой. Земля начинает дрожать, у его ног появляется трещина. Чеглок распахивает крылья, видя, как она идет к нормалам, расширяясь на ходу. В щель летят камешки, льются потоки грязи. Потом под нормалами расступается земля и проглатывает тела. Еще секунда — и щель закрылась. Даже следа не осталось от нормалов — и от трещины, что их сожрала.

И, указывает Мицар, *от любых улик.*

— Халц, Шанс тебя побери! — кричит Чеглок, раздувая гребень. — Какого черта ты это сделал?

— Если они и не были мертвы, то мертвы сейчас.

— Ага, и Пол теперь не посмотрит их барахло!

Улыбка Халцедона меркнет.

— Кажись, занесло меня. Виноват.

Стандартная оперативная процедура в паломничестве: тельп проводит с помощью Сети исследование псибертронной брони, сетевых аксессуаров и антехов убитых нормалов, пока селкомы и вирусы не успели их разрушить. Добыча может быть использована тельпами или выменяна у других пентад и изгнанников на еду и снаряжение, или даже продана с приличной прибылью Коллегии или богатым частным коллекционерам по возвращении в Содружество. Конечно, вопрос спорный, вспоминает Чеглок, поскольку паломничество закончено. Но Халцедон этого не знает.

Или знает?

Подозреваю, что очень скоро мы это выясним, звучит голос Мицара.

Чеглок трясет головой, будто пытается вытряхнуть тельпа. Черт побери, Халцедон ему *нравится!* Он не хочет, чтобы шпионом оказался шахт. Но Мицар правильно ему напомнил: не важно, чего он хочет.

— Ладно, проехали, Халц, — говорит он. — Никто из нас не покрыл себя славой. Влетели в засаду с закрытыми глазами!

— Мы выжили, Чег! — Шахт хлопает его по плечу, и Чеглок растягивается на земле. — Сделали свой спасительный бросок, да? И это больше, чем можно сказать вот о них! И научились кое-чему. В следующий раз мы такой ошибки не повторим.

— Ага, — сердито глядит на него Чеглок. — Новых наделаем.

Если, думает он, *следующий раз будет.*

Мицар для разнообразия молчит.

— Что я в тебе люблю, Чег, так это то, что ты всегда видишь хорошую сторону! — смеется Халцедон. — Пойдем, мой мрачный друг. Я посмотрю, как там Феникс, а ты проверь, что с Полярис и

что делает Моряна.

Полярис лежит, вытянувшись на земле под хилым прикрытием полурассыпавшейся стены, и лоб у нее замотан окровавленным бинтом. Ее лицо — точнее, та половина, что не в тени, — блестит страшной бледностью в свете воткнутого в рыхлую землю люмена. Моряна, присевшая рядом, психонической силой прикрыла их обеих от дождя, создав пузырь сухого пространства, куда входит Чеглок. Она глядит на него, темные глаза сияют, ленты весенней зелени и розового румянца пульсируют на шее и плечах, и она подносит палец к губам, призывая к молчанию. Он быстро и неуклюже опускается рядом, обнимает ее, тело его трепещет от взрыва эмоций. Она тоже обнимает его с силой, обычно приберегаемой для момента уединения. О Шанс, если с ней что-нибудь случится, он…

Но что-то уже случилось. Неизвестный вирус уже действует у нее внутри, у них всех внутри…

И вдруг он плачет, стыдясь слез и не в силах остановиться, он знает, что Мицар смакует все его чувства — наплевать; Моряна держит его крепче, прижимает лицом к теплой впадине своей шеи и плеча и тихо шепчет ему на ухо:

— Ну-ну, тихо, мой эйр. Что такое? Я невредима, и Пол тоже не сильно ранена.

Действительно Мицар заставил ее соединить с ним палатки? Это он с помощью своей психоники наложил на ее сердце принуждение, легкое, как поцелуй мотылька, и все же неотразимое, неодолимое? Она — его награда за помощь Коллегии?

Ему хочется верить, что Мицар солгал, что риск психонического принуждения Моряны был бы слишком велик, но уверенности нет. Он не может выполоть сомнение, посеянное столь искусно и злобно. Потому что знает: ничего особенного он не представляет собой. И Моряны он *не заслуживает.* Почему же тогда она выбрала его одного? У него чувство, что его обгадили. Но хуже, куда хуже — та рана, что Мицар нанес ей, и оттого, что Моряна про нее не знает, рана не становится менее серьезной, а его собственная вина — менее тяжкой оттого, что он сам не знал ничего до сих пор. Он высвобождается из объятий, резко подавляя слезы.

— Прости. Так, ерунда.

— Эмоциональная вы раса, эйры, — замечает Моряна уже не в первый раз.

— Ты плачешь обо мне, Чег? — звучит слабый голос Полярис. — Вот уж не знала, что тебе не все равно.

Он поворачивается к ней. То, что он принял за покрывающую лицо тень, сейчас, когда она пытается сесть, оказалось багровым синяком.

— Ой, — говорит Полярис. — А ведь больно.

— Всем досталось. У меня до сих пор в ушах звенит. Похоже на легкое сотрясение. А ты как?

— Царапины да синяки. Повезло мне. Что там с Халцем и Феном?

— Халца горой не придавишь. Сейчас он смотрит, что с Феном. Ты не могла бы…

— Своей силой их проверить? Пыталась уже. Псионики нет. — Она пожимает плечами и вздрагивает от боли. — Но мы, тельпы, быстро восстанавливаемся, не волнуйся. Просто чувствую, как малыши-селкомы трудятся изо всех сил. А пока что, боюсь, я беспомощна, как последний нормал.

— Мы тебя прикроем, ничего с тобой не случится, — говорит Моряна.

— Это точно.

Но Чеглока слова Полярис не убедили. Конечно, они весьма правдоподобны. Неврологические травмы могут нарушать психонические возможности у всех рас мьютов, не только у тельпов. Иногда нарушение временное, иногда необратимое — все зависит от природы и серьезности травмы. Но Чеглок не может избавиться от сомнения, не симулирует ли она потерю своих способностей.

Нет, шепчет Мицар. *Насколько я могу судить, не обнаруживая своего присутствия, она говорит правду. И я ей верю.*

Почему?

Потому что ей нет нужды врать. Если бы Полярис хотела использовать свою силу против вас, вы бы все равно не могли ей помешать. Меня волнует не то, потеряла ли она свою силу, а то — почему это произошло: Это может быть ранним проявлением вируса. Возможно, он бьет по психонике.

— Чег, что с тобой? — Моряна протянула руку и поддержала его, когда он пошатнулся. — Ты весь побледнел.

— Я… — начинает он, но не успевает ничего сказать, как в пузырь врывается Халцедон, держа на руках салмандера.

— С Феном что-то случилось! — кричит он почти в панике. — Он болен — он сгорает!

Совсем пропал

— Тпру, полегче! — говорит дядя Джимми с той стороны стола для пикников, когда Джек и Джилли запихивают вилками в рот черничный пирог. На его футболке черным по белому написано желание быть чьей-нибудь собакой. — Куда спешим?

— Хотим начать пораньше, — отвечает Джилли.

На столе — никаких следов вчерашней игры, кроме мясистых розовых катышков от ластиков.

— Что именно начать пораньше?

Джилли перед тем, как ответить, делает хороший глоток апельсинового сока. Времени — чуть больше половины восьмого утра, понедельник. Практически ни ветерка. С пустого синего неба жарит солнце. Намечается еще один знойный день.

— Мы с Джеком хотим съездить в «Наживку и снасти» и взять наше каноэ, — заявляет она, будто провоцируя дядю Джимми возразить.

Они даже уже оделись соответственно: Джилли — в линялые джинсовые шорты и футболку «I♥NY» поверх ярко-зеленого бикини, Джек — в плавках и темно-малиновой футболке с эмблемой «Краснокожих» — головой индейца.

— Правда? — Дядя Джимми прихлебывает кофе. Джек все время гадает, заметил ли он уже пропажу двух косяков, но такое ощущение, что сегодня утром он мало чего замечает. Клочки туалетной бумаги прилипли к подбородку на месте порезов: он до сих пор не научился бриться опасной бритвой. Билл считает чудом, что он вообще еще горло себе не перерезал. — Впервые слышу. Вы так и собирались прямо после завтрака туда рвануть или сначала хотели спросить разрешения?

— Я и спрашиваю.

— А такое ощущение, что просто ставишь меня в известность.

Сидящая рядом с дядей Джимми Эллен вносит в дискуссию самодовольную усмешку.

— Эллен, заткнись, — предупреждает Джек.

— А я ничего не сказала!

— Ага, ты только *собиралась* сказать.

Этим Джек зарабатывает презрительный смех с отбрасыванием назад обесцвеченных локонов — нокаутирующий удар, отработанный перед бесчисленными зеркалами.

— Ты кем себя вообразил, Джек Дун? Чтецом мыслей из этой глупой игры… тюльпаном, да?

— Тельпом, — поправляет ее хор из трех голосов.

— Без разницы. — Обворожительно улыбаясь, Эллен

наклоняется к Джеку, глядя ему в глаза: — Прочти, что я о тебе думаю. Я высказываюсь ясно и понятно?

— Дядя Джимми…

— Прекратите оба. — Дядя Джимми берет сигарету из пачки «Марльборо» и прикуривает. Выдыхает дым налево, в сторону от Эллен. — Рано сегодня заводитесь.

— Это она начала!

— А я заканчиваю.

— Так можно нам идти, дядя Джимми? — спрашивает Джилли секунду погодя.

— Не знаю, хотели бы ваши предки, чтобы вы выходили в бухту одни.

— Так мы же много раз уже это делали. Правда, Эл?

Наглая ложь, и Эллен это отлично знает. Но сейчас Джек, хоть и лишенный способностей тельпа, видит, как у нее шестеренки в мозгу вертятся. Когда Джека и Джилли не будет, весь дом окажется в распоряжении ее и дяди Джимми. По крайней мере на несколько часов им не придется остерегаться, что их поймают. И они сразу могут пойти *в кровать*.

— В такую погоду, как сегодня, мама и папа их отпустили бы, — подтверждает она.

Если дядя Джимми что-то и заподозрил, то по его пожатию плеч этого не видно.

— Что ж, тогда ладно. Только чтобы к пяти тридцати вечера были дома. И обещайте надеть спасательные жилеты.

— Обещаем! — восклицают Джек и Джилли абсолютно синхронно.

Эллен фыркает и смеется.

— Чего такого смешного? — спрашивает возмущенный Джек.

— Вы, — отвечает Эллен. — Близнецы-ля-ля-ля, Траляля и Труляля.

— Ты просто завидуешь, — говорит Джилли. — Потому что сама — *одиночка*.

— Размечталась, тебе завидовать!

— Прекратите! — предупреждает дядя Джимми. — А вообще-то я бы не был так уверен, кто одиночка, а кто нет.

Эллен заглатывает наживку:

— У меня близнеца нет.

Дядя Джимми давит окурок в пепельнице из перевернутой раковины.

— Конечно, *сейчас* нет.

— Вообще нет. — Эллен трясет головой. — Я бы знала.

— Ты думаешь? Близнецы встречаются чаще, чем люди привыкли думать. Почти половина беременностей начинаются

как многоплодные, а некоторые ученые считают, что процент еще выше.

— И что?

— Подумай сама. Что происходит с этими близнецами? Почему их рождается намного меньше?

— Не знаю. Выкидыши, наверное.

— Конечно, отчасти и они. Но в основном потому, что в утробе творится то же самое, что вне ее. Конкуренция за ресурсы. Зародыши сражаются за еду, пространство — за все. Даже за кровь. Иногда еды не хватает на всех. И тогда именно это и происходит — более сильный зародыш поглощает более слабого. Съедает — в буквальном смысле.

— Брррррррррр! — Это Джек и Джилли хором.

— Не может быть, — говорит Эллен. — Ты это сейчас придумал.

— Вот те крест! — настаивает дядя Джимми с серьезным лицом. — Ты разве не слыхала про яйцественный отбор?

— Дядя Джимми! — взвывает Эллен.

— Клянусь, там джунгли. — Он закуривает новую сигарету, с удовольствием развивая тему. — Как об этом узнали? Бывает, что когда сдают кровь, оказывается, что у одного и того же человека две разные группы крови. Единственный вариант, когда это возможно — это если двое разнояйцовых близнецов вроде Джека и Джилли сливаются в утробе, один поглощает другого. Пока все ясно?

Все кивают.

— Но понимаете, когда сливаются однояйцовые, идентичные близнецы, это никак не обнаружить, потому что у них одни и те же гены и одна и та же кровь. А значит, ты можешь носить в себе остатки своего идентичного близнеца, Эл, и никогда об этом не узнать.

— И не хотела бы знать. Мне об этом даже думать противно!

— Но дальше куда интереснее, — продолжает дядя Джимми. — Понимаете, иногда находят не только разные группы крови. Иногда встречаются кусочки костей, зубов, даже обызвествленные органы.

— Иди ты!

— При отсутствии различий в группах крови или генетического материала объяснение только одно: не полностью поглощенный однояйцовый близнец. — Он выдыхает дым в сторону от стола. — Однажды, когда один старик умер от сердечного приступа, врачи услышали биение второго сердца, такое тихое, что первое его начисто раньше заглушало. Когда тело вскрыли, нашли высохшего человечка, свернувшегося в

грудной клетке, как гномик в скорлупе желудя. Он тоже был стар, с бородой и так далее, но совершенно нормален, если не считать, что очень маленький. И без глаз — они ему были не нужны. Но рот был. И голосок, тоненький-тоненький, плакал и звал: «помогитееее!» Один близнец умер, второй оказался погребен заживо в трупе брата. Конечно, ничего нельзя было сделать. Он тоже умер. Но тут-то и началась жуть. Когда сделали вскрытие, оказалось, что мозг большого близнеца до конца не развился. Он должен был стать растением, а не успешным бизнесменом, каковым был. Зато у маленького близнеца мозг был в прекрасном состоянии. Оказывается, все это время он дергал за ниточки, управляя изнутри телом брата.

— Ух ты! — говорит Джек.

— Да ладно, Джек! — Эллен закатывает глаза. — Даже ты не такой тупой, чтобы поверить в эту туфту!

— Правда удивительнее выдумки, — отвечает он. — Я хотя бы не съел свою сестру-близнеца.

— Я не…

— Людоедка!

— А может, ты ее вовсе не поглотила, Эллен, — задумчиво произносит дядя Джимми. — Может, она все еще жива там, внутри.

— Помогитееее! — скулит Джилли дрожащим голосом. И не выдерживает, хохочет вместе с Джеком и дядей Джимми.

Эллен резко встает из-за стола.

— А жаль, что вы друг друга не переварили там, в животе. Я была бы тогда единственным ребенком!

Она берет со стола тарелку и решительным шагом удаляется в дом.

— Может, и не совсем единственным, — говорит дядя Джимми ей вслед.

Помыв после завтрака посуду — задание, полученное от дяди Джимми перед уходом, — Джек и Джилли стоят возле кухонного столика, собирая яблоки, бананы, палочки гранолы, арахисовое масло, сандвичи с вареньем и бутылки воды в рюкзаки, уже пузатые от пляжных полотенец, лосьона для загара, репеллента, перочинных ножиков, свернутых пластиковых анораков (синее небо — не гарантия от дождя, по крайней мере в августе), горстки фейерверков «прыгучий Джек» (остатки от Четвертого июля, сохраненные Джилли для особых случаев, к которым данный явно относится) и запрятанные в разных местах, по секрету друг от друга на случай, если одного поймают — косяки, украденные у дядя Джимми накануне вечером.

— Слушай, со всем этим мы неделю можем выжить на необитаемом острове, — говорит Джек, впихивая в рюкзак еще одно яблоко.

У него такое чувство, что он собирается выйти в пустыню. Следующая станция — Голодный Город.

— Ага, — вдруг доносится сзади голос Эллен. — Так что вы задумали, сволочата?

Джек и Джилли оборачиваются одновременно, вздрогнув. Эллен и дядя Джимми ушли после завтрака на пляж, и потому несколько неожиданно увидеть ее, опершуюся на край открытой скользящей двери, скрестив на груди руки. Светлые волосы забраны в хвост, но выбившуюся прядь задувает на лоб над черными очками. Вообще-то стук сетчатой двери предупредил бы их о ее возвращении — наверное, она очень аккуратно закрывала дверь за собой, чтобы подобраться незамеченной. И кто знает, как давно она слушает? Джек не помнит, чтобы они говорили что-нибудь предосудительное, но ведь они, думая, что никто не слышит, не особо за собой и следили. С другой стороны, никто из них не услышал то самое знаковое предчувствие — так что, наверное, беспокоиться не о чем.

— Нехорошо за людьми шпионить, Эллен, — говорит Джилли. — Тебе бы понравилось, если б за тобой шпионили?

Эллен игнорирует вопрос.

— Вы отлично знаете, что мама и папа не позволили бы вам одним выйти на каноэ.

— Так отчего ж ты не сказала об этом дяде Джимми? — ухмыляется Джилли.

— А ты бы мне сказала спасибо. Я вас выручила.

— Хорошо, спасибо. — Джилли закидывает рюкзак на спину. — Пошли, Джек. Хватит резину тянуть.

Но Эллен становится на пути к двери.

— Я вас спросила, что вы задумали.

— Ничего мы не задумали, — отвечает Джек.

— А если бы и так, тебе какое дело? — спрашивает Джилли.

— Я ваша старшая сестра, и мне есть дело.

Этим она зарабатывает презрительный смешок Джека.

— Отличная сестра, Эл.

Эллен пытается зайти с другой стороны.

— Послушайте, мы тут отлично устроились. Дядя Джимми в качестве воспитателя — то же самое, что полное отсутствие воспитателя. Я просто не хочу, чтобы вы все испортили.

— Мы ничего портить не будем, — возражает Джек.

— Я ж не говорю, что вы нарочно. Но достаточно, чтобы вас поймали за какими-нибудь глупостями, за чем-то, чего делать не

следует, и все. Остаток лета проведем дома с мамой или с папой — сами знаете, как это будет весело.

— Ну и что? — спрашивает Джилли, нисколько не испугавшись.

— А то, что и думать забудьте.

— О чем?

— О том, чтобы угнать каноэ.

— Ты спятила! — восклицает Джек. — У нас и в мыслях не было его угонять!

— Да? То есть когда Амбар скажет, что не даст вам лодку, вы тихо повернетесь и пойдете домой? Потому что так оно и будет. Она вас на нем в бухту не выпустит — и родители бы не выпустили.

Джек бросает на Джилли озабоченный взгляд. Об этом он не подумал, но Эллен права.

— Так вот почему ты сказала дяде Джимми, что это можно, — говорит Джилли. — Ты решила, что без разницы, разрешит он нам или нет, потому что Амбар нас все равно отправит домой. Чтобы мы смотались до «Наживки и снастей» и обратно за просто так.

— Ага, — соглашается Эллен. — Только я, придя на пляж, подумала, что вы, долбоюноша и долбодевушка, «нет» за ответ не сочтете. И поняла, что у вас хватит дурости попытаться угнать каноэ. Так что, детки, забудьте лучше. Можете даже туда не ездить.

— А дяде Джимми ты сказала? — спрашивает Джилли.

— Нет пока. Но скажу, если понадобится.

— Не беспокойся, не понадобится. Мы ничего не будем угонять. Посмотри вот. — Джилли вытаскивает из заднего кармана шортов сложенный лист бумаги и протягивает Эллен на глазах заинтригованного Джека.

Эллен разворачивает листок:

— «Дорогая миссис Эмбер! Я даю Джеку и Джилли мое разрешение пользоваться каноэ. Подпись: Билл Дун». — Она смеется и поднимает глаза: — Неплохо.

Джек сегодня утром несколько тормозит.

— Ты подделала записку от папы? Джилли, чего ж ты мне-то не сказала!

— Ладно, не дуйся. Сказала бы по дороге. — Она сует листок обратно в карман. — Видишь, Эл? Беспокоиться не о чем.

— Согласна, подделка хорошая, а если Амбар проверит у папы? Что тогда делать будешь?

— Она не станет.

— Этого ты не знаешь. — Эллен качает головой. — Извините,

ребята, но я вам не дам испортить мне остаток лета, так что можете снимать рюкзаки. Никуда вы не едете.

— А ты нам помешай, — фыркает Джилли.

— Я могу сказать дяде Джимми или позвонить Амбар.

— Можешь, но не станешь.

— А ты проверь.

— Не станешь, потому что иначе я расскажу папе, чем вы тут с дядей Джимми занимаетесь.

Эллен вздрагивает, внезапно бледнеет.

— Не понимаю, о чем ты.

Джилли закатывает глаза:

— Да мы с Джеком вас слышали! Мы даже *унюхали*.

Эллен вцепляется в собственные руки так, что они дрожат.

Джек думает, что сейчас она либо разревется, либо со всей силы влепит Джилли пощечину. Его самого тоже тянет дать ей по морде. Снова она прыгнула, не глядя, и его потянула за собой. А Эллен спрашивает голосом таким же зажатым, как ее руки:

— Что унюхали?

— Травку, которую вы на крыше курили ночью. Мы же не идиоты, чтоб не понять.

Эллен испускает прерывистый выдох.

— Вы не идиоты, вы сволочи, вот вы кто.

— Мама с папой так не подумают.

— Можете рассказывать что хотите, я буду все отрицать. Не докажете.

— А надо будет доказывать? Ты сама знаешь, как папа ненавидит наркоту.

— Если расскажешь, — произносит Эллен медленно, ледяным голосом, с такой злостью, какой Джек никогда от нее не слышал, — я тебе отплачу, Джилли. Клянусь.

— А мы не скажем, если не скажешь ты. Ты же сама сказала, Эллен, мы хорошо устроились. И мы с Джеком хотим портить эту малину не больше тебя.

— Обещаете не говорить?

— А ты?

— Ладно, — кивает она, крепко сжав губы. — Договорились.

— Договорились, — эхом отзывается Джилли.

— Я от тебя тоже хочу это услышать, Джек.

— Договорились, — произносит он, почти утратив от восхищения дар речи. Джилли не прыгала наугад, Джилли все это время его опережала. И Эллен тоже. Но, кроме восхищения, Джек ощущает еще и горькую зависть. Джилли умнее, Джилли храбрее… как будто ухватила львиную долю всех крутых качеств, когда родилась первой. А он, когда появился через семь минут,

получил только объедки. Зато есть нечто, что выделяет его среди всех… иногда. Это как обладать сверхмощью, которая включается и выключается, когда хочет: скорее проклятие, чем благословение.

Смотри, там в небе, это птица, это камень, это Супер-Джек… ну, иногда Супер.

Зато эта штука спасла ему жизнь. Волна, которая засосала его в море. Он помнит, как ловил ртом воздух, пытаясь остаться на плаву, как тонул, уходил вглубь… «А что же включило эту силу?» — думает он. Опасность утонуть? Ответ почти в руках, но чуть-чуть не дотянуться.

Тем временем Эллен смотрит на них из-под темных очков и говорит:

— Если Амбар вас поймает, я здесь ни при чем, ясно?

— Тем более что так оно и есть, — отвечает Джилли, глядя на нее в упор.

Игра в гляделки тянется долгое мгновение. Потом Эллен отступает в сторону, освобождая проход.

— Ладно, проваливайте на хрен.

Близнецы, не теряя времени, протискиваются мимо нее, бегут по террасе, через наружную дверь в горячее сияние утреннего солнца. Смех Джилли звонко скатывается вниз по скрипучим ступеням, дверь за ними со стуком захлопывается.

— Джек, ты видел ее рожу? Ей-богу, она чуть не умерла!

Джек застывает внизу лестницы как вкопанный, и озарение звенит в нем набатным колоколом. *Чуть не умер?* Никаких «чуть»! *Я утонул.* Он утонул… и вернул себя к жизни в момент смерти, создал новую реальность, где не было не только его смерти, но и обстоятельств, которые ее вызвали. Он отмотал ленту истории назад к определенному моменту — когда Джилли подначила его войти в воду, — а потом снова запустил вперед, и те же начальные условия привели к иному результату. Его не смыло в море, а выбросило на мелководье. Он не утонул, а только ушиб руку. А потом и эту травму, эту реальность тоже стер, на следующий день, создав еще одну — ту, в которой сейчас живет он и все прочие.

Я утонул.

Ноги делаются ватными, и он резко оседает на песок.

— Джек! — Джилли уже здесь. — Что с тобой?

Он не может говорить. Как бы там ни было, а объяснять ей он не станет. Он и себе-то не может объяснить.

— Вставай, — говорит она, поднимая его с песка. — Давай с солнца уйдем.

Он позволяет увести себя в тень под домом, едва соображая,

что ему помогают идти. Потрясение собственной смерти вызвало тогда срабатывание силы в каком-то рефлексе самосохранения — это кажется осмысленным. Но с тех пор сила срабатывала еще дважды (как минимум — это те случаи, о которых он знает). Первый раз — позавчера, во время игры в скрэббл. Второй раз — вчера, когда они с Джилли устроили состязание по щипкам под водой. Оба раза его жизни ничего не угрожало.

А точно ничего?

Что, если оба раза была какая-то опасность, о которой он не знал? Опасность, которую он — или эта его сила — обнаружили втемную, неосознанно… как вот он и Джилли умеют ощущать нависшую угрозу, ничего не зная о ее природе, пока она не реализуется? Или только, *если* она реализуется, потому что иногда вопреки настоятельности предупреждения не происходит ничего, и остается лишь гадать, какой судьбы они избегли и что для этого сделали или чего не стали делать…

Он знает, что Джилли ему что-то говорит, но вместо того чтобы прислушаться к ее словам, думает о том, что же такое тянулось к нему из морских глубин. Он не видел этого, но ощущал: огромное осмысленное шевеление, оборачивающееся к нему с интересом хищника. От воспоминания сердце начинает биться чаще. Оба раза эта штука к нему тянулась? И взрыв трансформатора на той стороне шоссе № 1 — это в него чуть-чуть не попали?

И сейчас это тоже там — и тянется к нему.

Но что это такое? И зачем оно за ним охотится?

— Джек! — трясет его Джилли. — Ты что, заболел?

— Все нормально, — раздраженно отвечает он, отодвигаясь.

— С виду не похоже.

Тут ему приходит в голову, что результаты последних проявлений — перестановка букв в скрэббле, исцеление его руки, периферийные, но все же существенные перемены в мире — все это вторично по сравнению с настоящей целью. Побочные эффекты. Видимые признаки деятельности, необнаружимой человеческими чувствами — как температура указывает на войну в тебе между микроскопическими агрессорами и защитниками. Вспомнив носовые кровотечения, предшествующие, сопровождающие или следующие за сменой реальности, он проверяет, нет ли крови, но пальцы остаются сухими. И все же, думает он, что, если все время идут какие-то другие войны? Не только в его теле, но и вне его, и не слишком малые для человеческого восприятия, а напротив — слишком масштабные? Что, если его проснувшаяся сила бросила его прямо в гущу самой большой войны из всех… и в каком-то смысле самой малой тоже:

войны, ведущейся во всех масштабах за право определять, что реально и что нет? Все стороны такого конфликта должны бы обладать такой же силой, как у него, и каждый (сколько же их может быть?) запутывает и распутывает реальности с двойной целью: сохранить свое существование и стереть существование других, как будто сумасшедшие боги ругаются над ткацким станком вселенной, играя в фантастически сложную и совершенно беспощадную игру.

— Вот, выпей.

Будто повинуясь ментальной команде тельпа, Джек берет пластиковую бутылку воды, которую достала из своего рюкзака Джилли, и пьет. Сколько раз он умирал? И кровь из носа — это всегда признак проигранной битвы, неверного хода, смерти и воскрешения, произошедших столь быстро, что поток осознания не прерывался, и сила включалась точно вовремя каждый раз, пока наконец — а рано или поздно так должно случиться — поток не прервется, и реальность, жизнь не пойдет дальше без него?

Я всего лишь мальчишка, думает он в ужасе, сжимает бутылку так, что вода выплескивается. *Я не могу играть в эту игру. Я даже правил не знаю.*

— Господи! — Джилли вытаскивает бутылку из его сжатых пальцев. — Да тебя трясет…

Она смотрит на него с заботой и страхом. Он должен ей рассказать, должен, как никогда раньше. Но не сейчас. Не здесь. Он ощущает невидимые силы, тянущиеся к нему в зловещем намерении, щупальца темной энергии, пробирающиеся сквозь моря времени, пространства и вероятности. Как будто бы стены и потолок, сама земля смыкаются вокруг него, словно лепестки цветка-мухоловки. И бесполезно твердить себе, как он все время делает, что все это — только его представление, потому что ужас реален. Испарина выступает на лбу, пот стекает по пояснице — это реально. И реальны ледяные пальцы, сжимающие в кулаке его сердце. Он должен выбраться. Убраться.

Оттолкнув Джилли, он бросается к велосипеду, стоящему у стены рядом с велосипедом Джилли.

— Эй!

Будто не слыша, Джек выкатывает велосипед из-под дома на солнце, пока Джилли, ругаясь и крича ему, чтобы подождал, возится со своим у него за спиной. Он врубает десятую скорость и уносится, не сказав ни слова, крутя педали в сторону Бейбери-роуд, мимо припаркованных машин пляжников с той стороны шоссе № 1, где частные дома Мидлсекса тянутся еще полмили до совершенно другой экосистемы: болотистая местность с господствующим сосновым лесом, чьи высокие переплетенные

ветви дают прохладную тень просторным одноэтажным коттеджам на участках в четверть акра, которые едва, кажется, могут сдержать неустанное наступление лесов, наполненных змеями-черепахами-опоссумами. Здесь, на океанской стороне шоссе, песчаная почва гостеприимна лишь для жесткой травы, карликовых сосен да прочей неприхотливой растительности, под которой тощие кролики роют свои норы, а самые высокие предметы тут — дома, торчащие на сваях над песком, вроде его собственного, и ничего, кроме их крыш, не дает укрытия от неба.

Дрожащий зной поднимается от асфальта и аккуратно расположенных рядов припаркованных на каждой стороне машин, воздух вокруг Джека рябит, и легко представить себе, что едешь в псионическом поле вроде того, что мог бы создать Чеглок: пузырь воздуха, собранный и выкованный его волей в прозрачную мембрану тоньше яичной скорлупы, но тверже алмаза. Джилли уже не кричит ему, чтоб подождал, но он чувствует, как она сокращает расстояние у него за спиной. Он налегает на педали, будто пытается уйти от нее, переключает передачу — велосипед под ним спотыкается, потом бросается вперед, горячий воздух бьет в лицо. Молодая женщина, извлекающая сложенный шезлонг из багажника оливково-зеленого «вольво», улыбается ему, пролетающему мимо. Двое мальчишек, перебрасывающихся летающей тарелкой на дорожке перед каким-то домом, глядят вслед с откровенной завистью. На пересечении Дюна-роуд и Бридж-роуд пожилой охранник, сидящий за круглым белым столом под красно-белым полосатым зонтиком, похожим на гриб-мутант, поднимает глаза от бумаг с улыбкой доброго дедушки и машет рукой; когда Джек входит в поворот, шины проскальзывают на миг по песку и гравию, потом снова твердо вцепляются в асфальт.

Джек спрашивает себя, что прячется за этими лицами. Они в неведении об игре, которая вокруг них идет? Или он только что увидел, сам того не зная, одного или нескольких противников, стремящихся пробить его оборону и стереть его с доски? Снова он вспоминает, как они с Джилли играли по-настоящему в «Мьютов и нормалов» в таинственных коридорах и пустых классах средней школы «Лорд Балтимор», пока снаружи завывала и рычала Белль, словно самый страшный из страшных серых волков. Эта игра была реальнее, чем он тогда думал… или то была тень, отброшенная чем-то более реальным, чем он думал: этой игрой, в которой он играет за свою жизнь с неизвестными ему противниками… но один из этих противников, как понимает он сейчас, должен знать — или знает — о нем, иначе на него бы не нападали и его сила не отвечала бы, возвращая его к жизни, а с

ним и весь мир… но не к той жизни, не тот мир.

Джек чувствует, что сходит с ума, а мысли все приходят и приходят, падают в мозгу, как костяшки домино, одна за другой, волнистой линией, с инерцией, которой невозможно противостоять, ведя к концу, которого невозможно избежать. И вот он здесь, кувыркается следом, пойманный в зону низкого давления кошмарной логики. Потому что: кто изобрел игру «давайте притворимся»? Кто хвастался, что играет в нее годами, выискивая мьютов в облике нормалов?

Дядя Джимми, вот кто.

Тяжело дыша, Джек останавливается перед четырьмя полосами шоссе № 1. И пока он ждет перерыва в двустороннем движении, Джилли его догоняет.

— Какого… — Она тоже запыхалась, пот блестит на золотистой коже. — Какого хрена ты это устроил, Джек?

— Просто так, — отвечает он и бросается в случайный просвет, резко обрывая разговор.

Джилли проскальзывает в тот же разрыв, догоняя Джека на разделительном газоне. Отряд машин, сбившихся плотно с правильными интервалами, как косяк рыб, мчится в сторону Оушен-сити.

— Выкладывай, Джек, — требует Джилли. — Мне-то ты не соврешь.

Джек все еще в шоке от мысли о дяде Джимми как своем тайном враге, убийце, скрадывающем его в лабиринте многочисленных реальностей. Сердце отвергает, но мысль укореняется в мозгу. Он знает, что должен все рассказать Джилли. Давно надо было рассказать.

— Ну ладно, — говорит он, потрясенный чудовищностью всего того, чтобы сейчас понял. Как найти слова? — Кое-что есть.

— Я так и знала.

— Ты подумаешь, что я спятил.

— Я и так это знаю. Выкладывай.

Проехали последние машины. Джек трогается с места, переезжает две ведущие на юг полосы, опережая следующую группу. Джилли держится рядом, не отставая: второй раз он от нее не оторвется. Но он не собирается отрываться. Слишком долго он был наедине со всем этим. Без нее он только половина своей лучшей, истинной сущности. А этого уже мало. И всегда было мало. Оказавшись на обочине, он тормозит, останавливается, наклоняет велосипед, чтобы опереться ногой о землю.

— Я… — Он сглатывает слюну, начинает снова в ответ на ободряющий кивок. — Дядя Джимми…

Он прерывает речь. Так тоже неправильно.

— Ну, так что с ним такое? — раздраженно спрашивает Джилли.

Он качает головой. Выходит еще труднее, чем он думал.

— Не здесь.

Он снова жмет на педали, направляясь к югу, Джилли догоняет справа, со стороны берега.

— Я тебе потом скажу, когда выйдем в бухту. Это все очень сложно.

— Да ну, Джек! — настаивает она. — Что там с дядей Джимми? Намекни хотя бы.

— Да не в нем дело по-настоящему, — говорит он, пропуская машины, оставляющие за собой рваную ленту музыки и голосов по радио, переплетающуюся и вьющуюся на ветру, словно хвосты воздушных змеев. — То есть в нем, но… — Он запутывается. — Мне сначала надо самому разобраться.

— Ладно, будь по-твоему!

Джилли едет дальше. Джек хочет ее окликнуть, но прикусывает язык. Его жалит ее злость, но он еще не готов рассказывать — пока что. Не здесь, не у обочины дороги. У него ощущение уязвимости, открытости, будто слова могут подслушать, выхватить в потоке проезжающих машин и отнести к вражеским ушам, как в мифе про Мидаса. Ему хочется уехать подальше от дома, от океана. Хотя воды в бухте солоны той же морской солью, у него ощущение, что бухта под другой властью: нейтральная территория, как Бесплатная Парковка в «Монополии». Там для него будет убежище, как для местных охраняемых видов. Когда они выйдут на каноэ, все будет хорошо… по крайней мере какое-то время.

Или так ему хочется думать.

Джилли уже далеко оторвалась, она миновала дома Саут-Бетани, за которой возобновляется Делавэр-стейт-сишор, полоска нетронутой земли на побережье океана и бухты, заканчивающаяся в миле с лишним у границы штата Мэриленд, где цивилизация мстительно берет свое. Но так далеко им не надо.

Джилли сворачивает направо, на однополосную дорогу, ведущую к «Наживке и снастям». Через несколько секунд Джек тоже туда сворачивает. Камыш по краям занесенной песком дороги стоит выше его роста, скрывая болота. Вскоре камыш и болота уступают место аккуратным домикам с подстриженными зелеными лужайками, с декоративными кустами и белым штакетником изгороди среди сосен и таких экзотических растений, как вишни и плакучие ивы. В аккуратных садиках благоденствуют цветы, овощи и травы. Кормушки для птиц и

ловушки для насекомых висят на верандах и ветвях вместе с эоловыми арфами, чья бессмысленная музыка звучит целый день легким диссонансом. В каждом дворе реет американский флаг, на гаражах висят повыше баскетбольные корзины, на одной из подъездных дорожек два юнца без рубашек таскают друг друга на плечах для тренировки. А вокруг — газонные украшения: якоря, статуи оленей, птичьи купальни, солнечные часы, штурвалы кораблей, всадники с фонарями в руках, чьи кукольные лица можно было бы раскрасить черным и белым, пластиковые серые и белые цапли, стеклянные шары, окрашенные в яркие павлиньи цвета, лежащие на булыжниках или пьедесталах в виде поддельных мраморных могил языческих держав… хрустальные шары, которые (как воображается Джеку) преломляют не только свет, но и время, показывая будущее столь же искаженное, как и настоящее, отраженное в этих полных значения поверхностях.

За домами, где висит на веревках белье, находится сеть каналов, проложенная так же логично, как улицы любого пригорода. Сверкающие моторки, парусные лодки, катамараны и прогулочные катера под яркими тентами качаются у деревянных причалов, на которых загорают девушки или черепахи (но никогда вместе) одинаково неподвижно, а в одомашненных водах гребут лапами семейства гусей и уток и скользят по воде чайки.

Обогнув вместе с дорогой заросли кустарника, Джек внезапно чуть не налетает на ожидающую Джилли. Он резко тормозит, останавливается, а она задиристо улыбается.

— Догоняй! — кричит она и срывается с места раньше, чем он успевает сказать хоть слово.

Джек бросается вдогонку, изо всех сил крутя педали. Никто из них не умеет долго злиться на другого: слишком глубока их внутренняя связь, чтобы отстранение не причиняло физическую боль. Оно их уменьшает, рвет плавное двустороннее движение по той парапсихической пуповине, что соединяет их. В таки минуты они куда менее ясно ощущают эмоции друг друга — как будто песня по радио тонет в шипении помех. И эти помехи не только звуковые, это песчаная буря, бьющая по нервам, которые для движения в этом направлении не рассчитаны. Такое абразивное движение против шерсти жалит. Сначала это едва заметно — наказание, которое каждый готов выдерживать, чтобы наказать другого, но оно становится все сильнее и сильнее, пока наконец песчинки не превращаются во взбешенных пчел, и единственное, что нужно — избавиться от них, даже если цена этому — примирение. Самое большее сколько они продержались против такого настояния — два дня, да и то заболели с температурой, ознобом, рвотой и судорогами, так что в конце концов озверевшая

Пегги доставила их в «скорую помощь». Им тогда было девять, Пегги еще не развелась с Биллом, но он, как всегда, был в дороге, ведя какой-то там репортаж, и потому она взяла с ними Эллен, надувшуюся на переднем сиденье за то, что пришлось пропустить любимую телепередачу. А когда приехали в больницу, Джек и Джилли мирно спали друг у друга в объятиях на заднем сиденье, с ангельскими улыбками на изможденных лицах — температура упала. Разбуженные и приведенные внутрь, они без единого слова жалобы выдержали долгое ожидание и последовавшее короткое обследование. Пегги качала головой от удивления и облегчения, когда доктор назвал их припадок ерундой, а Эллен лишний раз убедилась, что они все время притворялись, только чтобы она пропустила «Семейку Брейди».

Джек прибавляет скорости, крутит педали стоя, но без толку: резкий старт Джилли уже ни честными, ни нечестными средствами назад не возьмешь. Он ищет внутри себя ту силу, но в очередной раз ничего не находит. Она действует вслепую, в ответ на угрозу — или можно научиться пользоваться ею как инструментом, как оружием?

Сидя верхом на велосипеде, Джилли демонстративно подавляет зевок, когда он влетает на пустой передний двор (заодно и парковку) «Наживки и снастей» Амбар. Он резко тормозит, отворачивая переднее колесо в сторону, чтобы юзом подъехать к сестре, рассыпая струи песка и гравия. Она даже глазом не моргает на это театральное появление, но когда пыль оседает, улыбка уходит с лица Джилли.

— У тебя кровь из носа идет, — говорит она деловым тоном.

Прикосновение это подтверждает. Джек смотрит на мазок крови на тыльной стороне правой руки. Так он все же включил свою силу? Или она действовала независимо, отбивая очередную атаку? Чем сейчас отличается мир от того, каким он был минуту назад?

— На, возьми.

Всегда готовая ко всему, Джилли протягивает ему бумажную салфетку.

Джек берет ее онемелыми пальцами. В тот же миг распахивается с грохотом входная дверь за спиной Джилли, и из обшарпанного беленого дома, который служит хозяйке жилищем и конторой, появляется Амбар. Эта женщина едва ли выше близнецов, хотя намного-намного шире: складки кожи на руках и подбородках трясутся на ходу, как и жировые валики, скрытые канареечно-желтым балахоном. Ярко-красные ногти на ногах сверкают из-под розовых шлепанцев, взбрыкивающих на каждом шаркающем шаге: движется она так, будто ноги у нее скованы

невидимой короткой цепью. Над головой парит облако редеющих рыжих волос. К груди она прижимает, как младенец мягкую игрушку, тявкающего той-пуделя Флосси.

— Я вам говорила, чтобы у меня во дворе на велосипедах не гоняли? — перекрывает Амбар визгливую злость Флосси. — Вам тут не спидвей!

Красивые синие глаза смотрят с такой злостью, будто во дворе полно дорогих и хрупких вещей: антикварные статуэтки, хрустальные бокалы, младенцы.

Джилли прислоняет велосипед к специальной стойке возле темно-синего мусорного ящика, морщит нос от рыбного запаха помойки, вокруг которой пьяно жужжат мухи и пчелы.

— Извините, миссис Эмбер.

— Вот разобьется кто-нибудь когда-нибудь, — бурчит она, сжимая собачку, как волынку, отчего та замолкает, вывалив розовый язык между белыми зубами, а налитые красные глаза смотрят на Джека и Джилли со злобой идиота. — Поздно будет извиняться.

Все знают рассказы миссис Эмбер о том, как она работала медсестрой в отделении «Скорой» в Селбивиле, пока однажды, десять лет назад, санитары не вкатили ее мужа, искалеченного в автомобильной катастрофе. Это, как она поведала Пегги, а Пегги рассказала Биллу, а Джек и Джилли подслушали, заставило ее понять, что весь мир — отделение «скорой помощи». Сейчас она, подозрительно щурясь, глядит на Джека, промокающего нос салфеткой.

— Опять подрались?

— Нет, мэм, — отвечает он. — Просто у меня кровь носом пошла.

— Вот прямо так? Сама по себе? — Вскинув голову, Амбар подходит ближе.

Джеку, сидящему до сих пор на велосипеде, деваться некуда. Сделав глубокий вдох, чтобы не так оглушал аромат лавандовых духов, он пытается не вздрогнуть, когда миссис Эмбер протягивает руку (ногти того же цвета, что на ногах). Но тут Флосси дергается к нему с тявканьем, Джек вскрикивает, отскакивает от щелкающих зубов, велосипед мешает. Он опрокидывается назад.

Рука Амбар смыкается у него на руке и не дает упасть. Эта женщина быстрее, чем кажется, и сильнее.

— Тихо!

Джек не сразу понял, к кому из них двоих она обращается. Флосси самодовольно пыхтит в своей постели из руки хозяйки. До чего же Джек не выносит эту псину! Есть одна вещь, которую

он точно изменит, если научится управлять своей силой.

— А теперь, — говорит Амбар, выпуская руку Джека, — посмотрим, что там с твоим носом.

— Да все в порядке, — протестует он, но бестолку. Ему уже приходилось испытывать на себе ритуалы сестры Амбар. Он запрокидывает голову. — Видите? Уже не течет.

— Сколько пальцев я держу?

— Один.

— Хорошо. Теперь, не поворачивая головы, следи за моим пальцем.

Она поводит указательным пальцем влево-вправо перед глазами Джека, будто благословляя его, и глаза ее следят за его глазами, а Флосси приподнимает ушки и вертит головой туда-сюда. Тем временем Джилли высунула язык и строит рожи за спиной Амбар.

— Джилли! — предупреждает Амбар, не поворачиваясь. Потом: — По-прежнему только один палец видишь, Джек?

— Угу.

— Ты засыпаешь, — гудит Джилли голосом какого-то трансильванского гипнотизера.

— Джилли, брось, — говорит он.

— Тихо оба. — Наконец Амбар отступает, опускает руку, гладит Флосси. — Такие вот внезапные носовые кровотечения могут быть признаком чего-то более серьезного. У тебя оно уже не первое?

Он пожимает плечами, собираясь соврать, но Джилли его выдает:

— У него их много последнее время было, миссис Эмбер. Его несколько дней назад стукнуло волной, может быть, он голову ушиб.

— Ну, аномального расширения зрачков у тебя нет, других признаков сотрясения тоже. Движения глаз в порядке, нистагма нет, удвоения нет. У тебя было так, чтобы двоилось в глазах в каком-нибудь из этих случаев?

— Нет, мэм, — врет он. К счастью, об этом симптоме Джилли не знает.

— Приступы головокружения?

Он мотает головой, грозно глянув на Джилли. Та молчит.

— К врачу ты, как я понимаю, не обращался.

— Нет, мэм.

Зряшная потеря времени: он знает, что с ним — врачи такое не лечат. Кроме того, он и не хочет, чтобы его вылечили. Не врач ему нужен, а учитель.

— А очень стоило бы. Твои родные знают?

— Их здесь сейчас нет. С нами тут дядя Джимми.

— А он знает?

— Вообще-то нет, — ежится Джек.

— Ты ему скажи. Тебе в самом деле надо врачу показаться.

— Я не болен.

— Нет, правда? И когда же вы получили диплом, доктор Дун?

Джилли втихаря хихикает и тут же замолкает, поймав недовольный взгляд Амбар, а та продолжает:

— Дети всегда думают, что они бессмертны. Поверь мне: это не так.

Для меня — так, думает Джек, подкатывая велосипед к стойке и ставя его рядом с велосипедом Джилли. *Или могло бы быть так.*

Любое чудо будет ему доступно, когда он поймет, как подчинить собственную силу собственному сознанию. Где-то между моментом, когда Джилли вызвала его на гонку, и моментом, когда он въехал вслед за ней на парковку, сила эта включилась, но в ответ на внешнюю атаку, или потому, что он сам этого захотел, неизвестно. Если второе, то желаемый эффект явно не был достигнут: гонку он проиграл. Но какой-то эффект все же должен быть: пока что по крайней мере бывал всегда. Даже если основное назначение этой силы — самосохранение, она делает больше, чем просто возвращает его к жизни: она меняет его. И мир вместе с ним. И всегда (опять-таки, до сих пор) благоприятным для него образом. Но верно также и то, что в прошлом он не узнавал сразу эти перемены, как будто его ум еще шагал в колее прежнего импульса, словно призрак, который продолжает думать, что он все еще жив. И разве не таков он в самом деле в этот момент, думает он с содроганием, — призрак прежнего Джека, живущий в теле нового?

— Я пойду подготовлю каноэ, — говорит Джилли, поворачиваясь спиной к стойке велосипедов. — Жду тебя там.

Она ныряет за дом раньше, чем он успевает ответить, оставляя его наедине с Амбар. В чем дело? Почему она не достала поддельную записку?

— Ты обязательно скажи дяде, Джек, — говорит тем временем Амбар. — И вот что запомните: чтобы у меня во дворе на велосипедах не гонять!

При ее словах печать на памяти отлетает прочь. В этой реальности Билл разрешал им с Джилли брать каноэ все лето.

И записки нет. Она не нужна.

* * *

Тело в массивных руках Халцедона не проявляет признаков сознания. Ленты пота испаряются на голой коже салмандера, исчерканной сложной паутиной кипящих линий — тонких шрамов давних разрезов. При взгляде на него Чеглоку приходит на ум паззл, распадающийся по швам.

— Он такой и был, когда я к нему подошел, — говорит Халцедон. — Боюсь, эти блядские нормалы его чем-то инфицировали. Вот почему он столько жара качает — тело пытается выжечь вторгшийся вирус.

— Какова бы ни была причина, а температуру надо сбить, и быстро, — говорит Полярис. — Внезапный ее скачок может испепелить нас всех.

— Это я могу. — Для Чеглока просто отвести тепло из водного пузыря, созданного Моряной, во внешнюю атмосферу, где его тут же развеют завывающие ветры.

Мицар! — думает он тем временем. *Что с ним такое? Это тот вирус?*

Похоже на то. Сперва Полярис, теперь Феникс. Такое впечатление, что новый вирус бьет по психическим способностям. Ты себе представь, какая была бы катастрофа, если бы заразилось достаточное число мьютов — например, население Многогранного Города.

— Если Фен инфицирован, — говорит Моряна, будто подслушала разговор, — то и мы все можем быть…

Мицар! — спрашивает Чеглок. *Откуда ей знать?*

Вполне логичный вывод.

— Шанс! — выдыхает Халцедон. — А я ж к нему прикасаюсь!

Но он не опускает салмандера на землю, только перекладывает на руках, будто тот вдруг стал тяжелее.

— Кто-нибудь чувствует себя больным? — спрашивает Полярис.

Никто не чувствует… или, во всяком случае, не сознается.

— Давайте по порядку, — продолжает тельпица. — Прежде всего надо найти укрытие. Мы здесь слишком на виду, а насколько мы знаем, нормалы уже могут к нам подкрадываться.

— А чего тебе не глянуть в Сети? — предлагает Халцедон.

— Я психоники лишилась, Халц.

— Шанс побери!

— Меня хорошо приложило головой, когда нормалы взорвали здание. Боюсь, мозги чуть-чуть переворошило.

— Другими словами, — говорит Халцедон, — нас голыми руками брать можно.

Шахт еще более прав, чем он думает, произносит голос Мицара. *Полярис отрезана от сети, но я — нет. К вам*

приближаются нормалы, Чеглок. Много. И они придут раньше, чем наша эвакуационная команда.

Тогда будем драться.

Вас убьют или возьмут живыми. А я могу вас отвести туда, где безопасно.

А шпион? Минуту назад ты говорил, что не готов себя обнаружить.

Я — Невидимый. Если я не захочу, никто не заподозрит моего присутствия.

Так как же ты тогда нас поведешь?

Смотри и увидишь.

И будто от этих слов Полярис вздрагивает:

— О Шанс! — пораженно вскрикивает она. — Псионика… псионика вернулась!

Ты ее виртуализовал, думает Чеглок. *Точно так, как меня.*

Не «точно так». С ней все гораздо деликатнее, она все-таки тельп.

Но шпион…

В данных обстоятельствах, перебивает Мицар*, риск приемлем.*

— Похоже, ты сделала спасительный бросок, Пол, — говорит Халцедон, ухмыляясь во весь рот.

— И как раз вовремя. К нам идут гости. Нормалы.

— Сколько? — спрашивает Моряна.

Полярис качает забинтованной головой, морщась от этого движения.

— Не могу определить. Полная сила не вернулась, все как в тумане. Но слишком много, чтобы драться, особенно без Фена. И я себя тоже не чувствую в силах виртуализовать нас всех, тем более образовать гештальт.

Мицар, я только теперь понял… Ты же можешь сейчас сказать, шпионка она или нет?

Конечно. Я прозондировал ее разум, как только у нее отрубилась псионика.

И?

Она наша.

— Хвала Шансу! — Остальные глядят на него с любопытством. — Я про то, что к тебе вернулась сила, — говорит он, ощутив, как краснеет, а Мицар у него в голове хихикает.

— Нормалы будут нас искать, — подытоживает Полярис. — Но они не знают, пережили мы взрыв или нет. Если мы от них спрячемся достаточно надолго, они могут бросить это дело и уйти.

Халцедон сплевывает в грязь.

— Не прикалывает меня прятаться.

— Все лучше, чем погибать, — возражает Моряна.

— Да, согласен.

Ты должен был мне сразу сказать про Полярис, упрекает Чеглок Мицара, пока идет этот разговор. *Значит, подозревать надо только Халца или Фена.*

Не забывай про Моряну. На самом деле Феникса я тоже зондировал, и он тоже не шпион. Так что остаются русла или шахт. Или оба сразу.

Моряна не может быть. Я это знаю.

Скоро выяснится. Будет сделана попытка связаться с нормалами и сообщить ваше местонахождение.

Почему тогда не вступить в бой?

Чем дольше нормалы будут возиться, тем лучше. Наша группа эвакуации уже в пути.

Чеглок пытается осмыслить тактическую ситуацию. Но он не в силах отогнать мешающую мысль, что Моряна — мьют только с виду, шпионка, обладающей псиникой тельпа помимо способностей русла, и притом лояльная Плюрибусу Унуму. Это кажется невозможным. Но равно невозможно, чтобы шпионом был Халцедон. Возлюбленная и друг. Однако он знает, что Мицар прав: либо кто-то один из них, либо оба. Если бы никогда не приезжать в Мутатис-Мутандис, остаться в Вафтинге! Если бы не встретить Мицара в тот день на площади Паломников, никогда не выходить из Врат Паломника в путь к Голодному Городу! Но чего бы ему ни хотелось, а прошлое не изменить, не изменить того, что сбылось по капризу Шанса… или, кстати, того, что сбудется дальше. Это даже самому Шансу не под силу. Великие кости еще катятся, и единственное, на что можно надеяться — на спасительный бросок.

Тем временем Полярис обратилась к интегрированной сети гештальта Коллегии и сообщает о наличии неподалеку укрытия — нетронутого подвала под рассыпавшимся домом, меньше чем в миле отсюда. Чтобы дать возможность лазутчикам-тельпам передвигаться по Пустыне, Коллегия держит несколько домов, защищенных мощными виртами. Они предназначены только для своих, пентадам их использование запрещено, кроме самых чрезвычайных обстоятельств. Если удастся добраться до убежища раньше нормалов, Полярис уверена, что там они спасутся.

— Пошли, — говорит она. — Чеглок, ты не мог бы выключить свет?

Он не может сдержать смеха от обыденности просьбы, и остальные присоединяются к нему, высвобождая нервную энергию, когда он достает и гасит люмен. После этого Моряна

убирает пузырь, который закрывал их от бури, и они бредут сквозь хлещущий ливень, через обломки, по угрюмым развалинам пустого города.

Чеглок дорогой поглядывает на Моряну и Халцедона. Может, Мицар все-таки ошибся, и никто из них не шпион. Может, это Феникс. Или вообще шпиона нет. Но такие размышления — всего лишь фантазии, он сам это знает. Можно не доверять Мицару, но сомневаться в псионике этого тельпа, сильнейшего из всех, кого он видел, оснований нет. Если Мицар говорит, что шпионы есть, значит, шпионы есть.

Мицар еще сказал, что ему, Чеглоку, отведена в пьесе важная роль, что его действия могут повлиять на исход событий, помочь решить, какое из возможных будущих окажется реализованным… хотя как он должен будет проявить это влияние на кости Шанса, Невидимый не сказал, а Чеглок сам понятия не имеет. Он всего лишь обыкновенный эйр, а будучи инкубаторским, даже меньше, чем обыкновенный. И даже Факультет Психотерапии не мог излечить его от постоянного ощущения неполноценности, этого врожденного психического дефекта, который и породил фантазии об одержанной в одиночку победе в войне с нормалами. И сейчас, каким-то скрытым путем, эти его мечты становятся явью, но не кажутся реальнее, чем были, напротив — реальная будничная жизнь начинает казаться сном.

Частично дело здесь в его долгой виртуализации, о которой он даже не подозревал, подрывающей ощущение времени, ощущение самой реальности. И все, что он узнал — присутствие шпионов-нормалов в его и других пентадах, существование не одного, а двух новых вирусов, один из которых живет внутри него, пытаясь выполнить свою загадочную, но смертоносную работу, хотя он пока не ощущает ни лихорадки, ни боли, ни слабости, никакого следа болезни, и ощущение власти над собственной псиникой тоже не покачнулось, — дало свой вклад в чувство, что все не так, как кажется, что его восприятие реальности ускользает, что ускользает сама реальность, временно заслуживая веры в себя не больше, чем ее заслуживает Мицар. Он вспоминает, что говорил ему Невидимый о Моряне: что она пришла к нему, выбрав его из других, не из-за каких-то присущих ему качеств, а просто потому, что так сделал Мицар, дергая ее за ниточки, несмотря на риск выдать себя, и все для того, чтобы наслаждаться чувственным удовольствием, недоступным ему более во плоти. Чеглок с трудом верит, что Мицар был настолько безответственен, но понимает, что такое возможно: этот тельп вполне мог действовать по мотивам эгоистическим и злобным.

Но даже не важно, так это было или нет, достаточно знать,

что так *могло* быть. И сейчас, как и предсказывал Мицар, Чеглок не может не смотреть на Моряну в другом свете, не может не думать, не была ли она, как он сам, как Полярис, тайно виртуализована. Отлично зная, что он ее не заслуживает, слишком хорошо сознавая свои многочисленные недостатки, он начинает сомневаться в ее чувствах к нему… и, начав сомневаться в ее чувствах, уже не может быть так уверен в своих, потому что, спрашивает он себя, почему бы Мицару и на них не повлиять? Но еще хуже мысль о том, что, если Мицар действительно ни при чем, что Моряна выбрала его, исключив всех остальных, то этот выбор тоже следует отнести за счет чего-то. В некотором смысле это становится непонятным… кроме варианта, если она и есть шпион и действовала ради своего задания, каково бы ни было это задание и стоящие за ним мотивы. Но этому Чеглок верить не хочет. Любовь его к Моряне сильна и неколебима вопреки сомнениям, которые посеял Мицар с обычной своей изощренной злобностью: не важно, родилась эта эмоция из внутренней работы его сердца или наложена извне… или, думает Чеглок, он сам старается делать вид, что это не важно. Посреди всех этих неопределенностей надо за что-то держаться.

* * *

Джилли уже вытащила их каноэ из ряда остальных, уложенных за зданием «Наживок и сетей», когда Джек медленно вышел из-за угла. Их лодочка была потрепанной алюминиевой моделью, купленной несколько лет назад на дворовой распродаже. На носу по трафарету шли неровные черные большие буквы: «ДУНЫ».

— Не стой столбом, тащи весла, — говорит Джилли, волоча каноэ по утоптанной земле, пожелтелой траве и песку заднего двора к длинному деревянному причалу, где гички, каноэ, парусники, моторки и катамараны покачиваются бок о бок в мелких водах узкой бухточки. Рюкзак и футболку она сняла, лимонно-зеленый верх бикини горит неоном на бронзовой коже.

Двор забит лодками и моторами, поставленными на блоки, на разных стадиях ремонта… точнее, разборки. Другие каноэ поставлены ветхими рядами вдоль заднего крыльца, где можно увидеть тень, движущуюся позади мешковины грубо сшитого занавеса, — это Амбар или ее сын Майк, который подрабатывает в «Наживке и снастях». Некоторые из этих лодок продаются или сдаются напрокат, другие, как лодка Дунов, находятся здесь по договору. Также присутствуют во дворе ловушки для крабов,

бухты желтого каната, пустой, серьезно проржавевший трейлер для лодок, где греется на солнышке полосатый кот, водные лыжи, сети, старые кулеры, пара велосипедов такого вида, будто их здесь бросили год назад и больше не трогали, россыпь инструментов, шезлонги и пляжные зонтики, металлические подвески, позвякивающие на ветру, корабельный колокол, мрачно молчащий в позорной грязи, серебристый флагшток без флага — на его сферической лысой верхушке неподвижно застыла чайка, все перышки на месте, и трудно сказать, настоящая это птица или невероятно тонко разрисованная скульптура. Пахнет краской, скипидаром, смолой, разлитой нефтью и свежераспиленным деревом, к этому букету примешивается запах свежей рыбы.

Весла и оранжевые спасжилеты хранятся в сыром и затхлом мраке деревянного навеса, где Джек годами видел страшноватых пауков. Сунув туда руку, он берет два весла, пару спасжилетов и несет это все в охапке к причалу. Каноэ уже на воде, а Джилли уже в каноэ. Она щурится на Джека, держась одной рукой за край причала, устроив рюкзак и футболку позади себя в середине качающейся лодки.

— Ух ты, какой паучище! — говорит она, закатив глаза.

Стук весел по доскам причала. Джек отпрыгивает, отряхивает футболку, волосы, будто гася на себе огонь.

Джилли ржет.

Джек, вспыхнув, скидывает с себя рюкзак и швыряет рядом с рюкзаком Джилли на дно каноэ. Промокшая от пота футболка липнет к спине.

— Ну и рожа у тебя! — Джилли продолжает хохотать.

— Да пошла ты, — говорит он.

Выбрав весло и жилет для себя, он забирается в каноэ с кормы. Лодка дает дифферент на корму и качается.

— Эй! — кричит Джилли, цепляясь обеими руками за причал.

— Чего такое? Намокнуть боишься?

— Перевернешь лодку — рюкзаки потонут, Эйнштейн!

Джилли сердито смотрит на него через бронзовое плечо.

— Не переверну, — отвечает он, стаскивая футболку.

Но если честно, знает, что не думал так далеко, и Джилли это хорошо известно.

Она тянется через причал и берет оставшиеся жилет и весло. Они надевают жилеты, не застегивая лямок, и отталкиваются от причала веслами. Сразу же, отойдя, принимаются грести в легком ритме, по два удара с каждой стороны, направляясь в бухту.

Джек набирает в грудь воздуху, когда они проплывают мимо аккуратно подстриженных, на удивление зеленых газонов соседей «Наживки и снастей»: он уже не может откладывать. Он должен

рассказать. И знает, что само по себе, как бы ни было это трудно, еще полдела. Главное — ее убедить.

— Джилли, — говорит он.

— А?

— У тебя еще эта записка?

— Какая записка?

— Сама знаешь, — говорит он. — Которую ты Эллен показывала.

— Ничего я ей не показывала. О чем ты?

— У тебя в кармане нет записки?

— Я же уже сказала, что нет. Я вру, по-твоему?

— Нет, — говорит он. — Но я должен был убедиться.

— Убедиться в чем? — Она кладет весло поперек колен и поворачивается к нему. На ее лице — выражение раздражения и тревоги. — Знаешь, может, Амбар правду говорила насчет того, чтобы сходить к врачу. У тебя мысли путаются.

Он смотрит на нее, собрав всю свою уверенность.

— Я вполне здоров, Джилли. Клянусь.

— Да? Тогда откуда эта кровь из носа? И тот приступ головокружения?

— Я и пытаюсь объяснить.

— Задавая идиотские вопросы о записке, которой никогда не было?

— Сейчас ее не было. А раньше она была.

— Ты псих.

Она отворачивается, снова берет весло и делает резкий гребок, рассыпая холодные сверкающие брызги.

Представление отличное, но Джек ощущает за маской презрения, насколько она взволнована. Джилли действительно считает, что с ним что-то не так. Ее страх колет ему сердце, и его страх тоже, совсем другой.

— Это была записка от папы для Амбар, — продолжает давить он. — Ты ее подделала. И перестань брызгаться!

Брызги становятся гуще, изумрудные радуги повисают в воздухе между гребцами.

— Подделала? Зачем?

— Чтобы она думала, будто у нас есть разрешение брать каноэ.

— Я тебе скажу потрясающую новость, Джек: у нас *есть* разрешение брать каноэ. Все лето было.

— В *этой* реальности.

Тут она перестает брызгаться. И грести тоже.

— А это что значит? — спрашивает она, не оборачиваясь, но плечи у нее напряжены.

— Замолчи на минутку, и я тебе объясню.

Ее молчание — возможность, которую нельзя упускать. Взяв за образец Холмса, Джек выкладывает факты и свои выводы, гребя медленно, ровно, приспосабливая собственный голос к этому успокаивающему ритму, будто так получается убедительнее… или, как гипноз, делает Джилли податливей к убеждению. Он начинает с той волны, что унесла его в море, переходит к игре в скрэббл, к сломанной руке, смене персонажей в «Мьютах и нормалах», к записке. Он воспоминает обстоятельства как можно подробнее, отмечая физические эффекты — кровь из носа, головокружение, удвоение зрения, — что и предшествовали проявлениям его силы, и следовали за ними. Он ей говорит, как только он один способен запомнить, что осталось после отмененной реальности — словно полустертое домашнее задание мелом на доске; хотя на самом деле помнит не только он, и он объясняет, почему верит, будто есть конкуренция не на жизнь, а на смерть между ним и по крайней мере еще одним лицом с тем же умением изменять прошлое, настоящее будущее, с кем-то, чье движение он ощутил в чернильных глубинах океана, как гигантского спрута капитана Немо, чудовище, которое с тех пор за ним охотится. Он говорит ей все, опуская только свои подозрения насчет дяди Джимми: это и без того достаточно сложно.

Он рассказывает, а Джилли снова начинает грести, приспосабливаясь к его гребкам, не прерывая ни словом, ни всплеском. Каноэ выскальзывает из заливчика к северо-восточному берегу бухты Литтл-бей. Здесь вода глубже, синева ее темнее, с вплетенными прядями мигающих алмазов от стоящего над головой солнца. К югу, где бухта расширяется до максимума, ходят несколько парусных лодок и катамаранов, грациозные и расцвеченные, как стрекозы. Две ворчащие моторки тянут визжащих водных лыжников. На заднем плане нависает далекая горная гряда, дрожащий воздух заволакивает на горизонте отели и кондоминиумы Оушен-сити.

Поделиться своей тайной с Джилли — колоссальное облегчение, хотя Джек прекрасно понимает, что она ему не верит. Это было бы очевидно даже без их особенной связи, но он и не ожидал, что убедить ее будет легко. Хорошо, что она его хотя бы слушает, что не перебила, не обозвала сумасшедшим, а этого он боялся. Боялся еще того, что казавшееся ему убедительным наедине с собой прозвучит фальшью, если произнести это вслух. Но сейчас он чувствует, что становится все более и более убедительным, и последние сомнения исчезают.

Они поворачивают лодку к северо-востоку, где дрейфуют

лениво три других каноэ и одна шлюпка: этот тихий угол бухты облюбовали рыбаки и краболовы. В четверти мили впереди находится Каменный остров, его плоский берег представляет собой смесь песчаного пляжа и густых болотистых пятен серебристой зелени, за которыми возвышается щетинистая стена сосен. Самый большой из всех островов Литтл-бей, с бухтой, которая сама по себе является самой маленькой в цепочке соединенных бухт, тянущихся от Реховот-бич до Оушен-сити, Каменный остров изрезан туристическими тропинками, площадками для пикников и палаток, а с задней стороны соединен с материком однополосным деревянным мостом, по которому приезжают отдыхающие на велосипедах и машинах, и олени тоже пользуются этим мостом, как и еноты, опоссумы, лисы, а бывает — и черный медведь. Джек и Джилли презирают этот форпост цивилизации, но, к счастью, за ним есть острова поменьше, особенно те, что рассыпаны у северо-западного края бухты, где вьется ручей Мельника через сердце заповедника Фенвик — остающегося пока нетронутым, если не считать редких утиных охот. Безымянные, отсутствующие на навигационных картах, продающихся в «Наживке и снастях», некоторые островки так заросли, что стали непроходимы, другие — всего лишь пригоршни песка, обнажаемые штормом и приливом. Джек и Джилли все лето лазили по этим островам, наносили их на карту, придумывали им имена, объявляли своими. Карты, сперва исполненные в карандаше, наводились затем цветными маркерами на той же графической бумаге, что использовалась для игры в «Мьютов и нормалов», и прятались в рюкзак Джека, сложенные и запечатанные в пластиковых пакетах для бутербродов… хотя Джек только сейчас вспоминает этот слой из палимпсеста прошлого.

Когда он замолкает, исчерпав свои аргументы, сияющее здание теории стоит нерушимо — по крайней мере так кажется Джеку. Он ждет, что Джилли что-нибудь скажет, но она продолжает грести, будто ни слова не слышала, будто он ни слова не говорил… и он уже задумывается: а не включилась ли вновь его сила, не стерла ли его признание? Он проверяет, не идет ли из носа кровь — нет. И тут она перестает грести и оборачивается к нему лицом.

— Ты веришь в эту чушь, да? В смысле, ты не для того, чтобы мне лапшу на уши навесить?

— Это правда.

— А доказать можешь? Хоть одно слово? — Она мотает головой и сама отвечает: — Не-а. Ни единого слова.

— А что я могу, если больше никто не помнит?

— Потому что это фигня.

— Так докажи, что я не прав, — требует он. — Давай попробуй, раз ты такая умная.

— Я достаточно умная, чтобы не тратить время на попытки.

— Потому что не можешь.

— Я много чего не могу доказать. Это еще не значит, что это неправда.

— И что это правда, тоже не значит.

— Сопляк!

Она резко грузит весло, обрызгивая Джека. Он отвечает тем же. Битва оказывается яростной, но прекращается резко, когда каноэ кренится набок и чуть не переворачивается. Джек сидит, тяжело дыша, пока успокаивается качка, и вода капает с лица, со всего тела. Он промок, кроссовки пропитались, как губка. Сердце бьется с такой силой, что, кажется, ее хватит закончить начатое и перевернуть каноэ. Джилли снова смотрит вперед, сгорбившись, опустив плечи. Она плачет? Джек чувствует подводное течение недовольства и страха.

— Джилли… — говорит он, потрясенный.

Ее смех застает его врасплох. В нем нет резкости, только веселье. Лицо, которое она к нему обернула, такое же мокрое, как у него, но не от слез.

— «Мьюты и нормалы»! — говорит она.

— А? Да причем здесь эта игра?

— Не та, в которую мы играем на графленой бумаге с костями, дурень. Другая. Ту, которую предложил нам дядя Джимми, когда ехали в убежище, помнишь? Ты просто играешь в другой вариант этой игры.

— Только это не игра, — говорит он. — Это взаправду.

— Но у нее те же — как он их назвал? — выбранные начальные условия: мутанты прячутся среди нормальных людей, и ты должен выяснить, кто они. Разница только в том, что в твоей игре мьюты не прячутся от нормалов: они прячутся друг от друга, стараясь друг друга убить.

— Говорю тебе, это не игра. И это все равно ничего не доказывает.

— Может быть, но тебе не кажется, что совпадение примечательное? И не странно ли, что ты не думал об этих… этих своих суперсилах *до того,* как дядя Джимми рассказал нам о своей игре? Разве что ты считаешь, что он в это верит и рассказал нам нарочно, чтобы… — У нее широко распахиваются в озарении глаза: — Вот оно что! Ты думаешь, у дяди Джимми те же силы, что у тебя! Ты думаешь, это он пытается тебя убить!

Джек уходит от прямого ответа.

— Послушай, я сам понимаю, что звучит дико. Я тоже не хотел в это верить — поначалу. Я думал, что тронулся! Но это — единственное объяснение, которое сюда подходит. Как говорит Холмс: когда исключите все возможное, рассмотрите невозможное.

— Но не настолько невозможное. Дядя Джимми не пытается тебя убить. Ты не можешь изменить историю или вернуться из мертвых. Ты что, Иисус? Ой, а может, ты он и есть? И если я переверну это каноэ, ты пошлепаешь домой пешком?

— Смешно.

— Я не шучу. Я предлагаю эксперимент.

— Не будь дурой. Карты намочишь.

— А какая разница? Ты все сделаешь так, будто я его и не переворачивала. Ведь так у тебя получается?

— Я тебе сказал: не знаю я, как это получается. Если бы знал, сделал бы так, чтобы ты тоже помнила, как я.

— Ну уж нет, спасибо, — отвечает она. — Лучше я все забуду, в том числе этот разговор.

— Джилли, ты только меня послушай…

— Нет уж, это ты послушай, если только не хочешь, чтобы я поставила эксперимент.

Каноэ качается, когда Джилли сдвигается к борту.

Джек откренивает, стиснув зубы.

— Прежде всего, — говорит она, — ты все переврал про Шерлока Холмса. Он говорит Ватсону, что надо исключить невозможное и рассмотреть *невероятное.* Так что давай попробуем это сделать. Первый раз у тебя шла кровь из носа и ты почти потерял сознание, когда тебя стукнуло волной. Мы тогда вернулись с пляжа и были внизу, в душе, помнишь?

— Это ничего не дока…

Он ойкает и чуть не теряет весло, когда каноэ резко качается.

— В следующий раз переверну, — грозит Джилли, и он знает, что она перевернет. Потом ее лицо смягчается. — Послушай, Джек. Это настолько неправдоподобно, что, может, у тебя было сотрясение или там чего, как говорит Амбар? И разве начисто невозможно, или всего лишь невероятно, что потом, когда дядя Джимми объяснил нам свою игру, ты оказался вроде как под гипнозом, что ли, и поверил, что это правда? Только поверил ты не совсем в то, что рассказал дядя Джимми, а придумал свою версию начет всего, что вокруг тебя происходит? Подумай, я вот про что — ураган, игра в скрэббл, «Мьюты и нормалы», ты и я, и даже дядя Джимми и Эллен — кусочки всего, что случилось в тот день и перемешались в том, что ты мне рассказал. Разве ты этого сам не понимаешь?

Джек не отвечает. Он понимает одно: не надо было ей рассказывать. Это для кого угодно чересчур, тем более без доказательств. Но проблема в том, что никогда раньше он не был настолько предоставлен самому себе. Никогда не приходилось ему нести бремя знания или эмоции одному, как рожденному в одиночку. Никогда он не знал, что значит быть в мире одиноким. Именно это, понимает он теперь, пугало его больше всего: возможность, что его сила встанет между ним и Джилли, разделит их, как ничто другое не могло разделить. И вот этот страх становится правдой, а это хуже всего, что он мог себе представить, потому что этого не исправить ничем. Он думал, что его связь с Джилли сможет послужить достаточным доказательством, что она поверит ему из-за силы его веры. Почувствует, как ему это нужно. Но, оказывается, этого мало. Очень мало. И хоть между ними пробегает поток эмоций, как электрический ток, как кровь, Джилли не может сделать этого прыжка в веру. В чем она неправа, как и великий Холмс, так это в том, что иногда *невозможно* исключить невозможное. Иногда, веришь ты в него или нет, невозможное стремится исключить тебя. Он не обвиняет Джилли за неверие, только все равно это больно, как предательство. Но вина здесь только его.

— Ты все испортил! — выпаливает она с такой горечью, что застает его врасплох, пока он не вспоминает, что поездка в бухту была ее идеей, с целью покурить косяки, которые они сперли у дяди Джимми. Он мог забыть эту цель, потерять из виду ее и другие элементы, оставшиеся неизменными посреди различных реальности (в конце концов, по большей части все остается таким же), но не Джилли. Он уже видел, как мельчайшие перемены прошлого могут влиять на события настоящие и будущие непредвиденными способами — словно маленький камешек, добавленный или удаленный из русла ручья, влияет на поток воды выше и ниже. С его точки зрения, они оба и пойманы этим потоком, и стоят вне его, и ретроспективно видна некая логика в том, что кажется капризным зигзагом судьбы; как будто фосфоресцируют ветвящиеся линии причин и следствий и паутиной вероятности соединяют то, что глазам Джилли кажется изолированным и не связанным. То, что он это видит — необъяснимо, а потому нечестно. Конечно, она злится. И кто бы не злился? Но разве у него самого нет причин злиться? Ее слепота навязывает ему себя, она бы заставила его носить шоры, путы, если бы могла.

— Нет смысла дальше ехать, — говорит она. — С тем же успехом можем повернуть домой.

— Нет!

И она не успевает ничего сказать, как Джек хватается за правый борт каноэ обеими руками и резко дергает, перебрасывая себя назад. Мир срывается с места и вертится кубарем.

Удивленный крик Джилли обрывается всплеском. Летя кувырком вслед, Джек видит миллиарды крошечных солнц, горящих на многогранном синем самоцвете бухты, потом холодный шлепок, поверхность дрожит — и он там.

* * *

Чем бы ни было это до воздействия войны, небрежения и времени, но сейчас острым глазам Чеглока, глядящим в неровной иллюминации вспышек молнии, предстает груда битого щебня, кирпича, стали и земли, покрытая густой растительностью: стволы карликовых сосен с искривленными ветвями, перепутанные лозы ползучих колючек, качающихся на ветру плетьми, бледные ночные цветы с лепестками, плещущими, как флаги, или повисшими, обмякшими, грязными, словно утонувшие москитыльки.

— Ты уверена, что это здесь? — спрашивает с сомнением Халцедон.

— Уверена. — Полярис шагает к запретительному барьеру. При ее подходе бешеное движение ползучих лоз, бьющихся друг о друга, как клубок разъяренных змей, сменяется гармоническим, грациозным покачиванием. Колючая завеса раздвигается, открывая темный проем, подобный устью пещеры.

Полярис входит, не останавливаясь, показывая остальным, чтобы шли за ней. Моряна оглядывается на Чеглока, пожимает плечами и входит. Халцедон следующий. Он идет, защищая Феникса сгорбленными плечами и не замечая колючек, которые царапают ему спину, плечи и руки, но никакому растению, кроме нож-травы, шкуру шахта не прорезать. Чеглок идет замыкающим, псионикой отбивая лианы, зная, что эти колючки могут содрать ему кожу до костей в считанные секунды. Войдя внутрь, он испытывает мгновенный приступ клаустрофобии, врожденное отвращение к замкнутым пространствам, общее для всех эйров. Но зато он хотя бы укрылся от бури.

Лианы за спиной снова сдвигаются, закрывая вход, превращаясь в яростное войско, мотающееся на ветру и дожде. Шум грозы становится далеким, приглушенным. Слышен запах влажной земли, мокрого кирпича, ржавого металла, гниющей органики. Ощущение — как будто влез в гробницу. Он пробирается вперед, гребень полностью развернут, глаза здесь бесполезны, но псионика настроена на все неравномерности и препятствия на пути влажного воздуха, и так он «видит» своих товарищей. Впрочем, это не ослабляет клаустрофобию — напротив, так он еще сильнее чувствует, что в этом узком пространстве едва есть место шевельнуть крыльями.

Полярис впереди зажигает люмен, освещая проход, где они стоят цепочкой. Стены и потолок состоят из камней, остатков

кладки и слежавшейся земли, из которой торчат старые трубы, балки, кабели и корни деревьев. Вода капает с потолка и стен, стекает по слегка покатой почве, накапливаясь лужицами где может, в других местах растекаясь струйками. Тени тянутся и выворачиваются в сиянии люмена, будто темнота корчится, уворачиваясь от болезненного прикосновения света.

— Здесь ничего не трогать, — шепчет Полярис. — Дорога заминирована.

— Вот обрадовала, — бурчит Халцедон.

— Я получила доступ к ключам. Должны пройти без хлопот.

— *Должны?*

— Убежище давно не использовалось. Системы защиты могли деградировать или выйти из строя. Конечно, — и тут она озаряется ухмылкой, как будто это отличный розыгрыш, — вполне возможно, что и нормалы здесь поработали.

— Это да, — отвечает Халцедон. — А знаешь, может, стоило рискнуть остаться снаружи. Еще не поздно найти хорошую позицию до подхода нормалов. И устроить засаду *на них*.

— Это было бы самоубийство, — возражает Полярис.

— Она права, Халц, — добавляет Моряна. — Одно дело, если бы пришлось защищаться. Но атаковать? — Она качает головой, и по лицу ее, по шее перекатываются яркие оранжевые, синие, радужные круги. — Ты посмотри на нас: в таком виде мы даже от роя термантов не отобьемся.

— Ладно, ладно, — ворчит Халцедон. — Я просто подумал.

— Как там Фен? — спрашивает Чеглок в наступившем молчании.

— Все еще в отключке, но уже не такой горячий.

Психоника Чеглока это подтверждает.

— Может, он выжег всю инфекцию.

— Надеюсь, — говорит Халцедон. — Только чудно как-то. У него кожа другая стала на ощупь, тверже. — Он передвигает салмандера у себя на руках. — Видите, как одеревенел? Я будто статую держу.

— Это может быть работа селкомов, — говорит Полярис. — Когда организм серьезно поврежден, они образуют что-то вроде брони, как кокон.

— Если это все же не вирус, — предполагает Моряна. — Если инфекция не перешла в следующую стадию.

— Храни нас Шанс! — говорит Чеглок, рисуя в воздухе лемнискату. — Бедный Фен!

— Все будем бедные, если не доберемся до убежища, пока нормалы не взяли наш след, — напоминает Полярис.

Халцедон поднимает голову:

— Я думал, это и есть убежище.

— Только подход к нему, — говорит Полярис. — Нам еще идти и идти.

По мере того, как они спускаются, уровень воды становится выше, хотя Моряна расталкивает ее в стороны своей псионикой. Полярис иногда останавливается, будто соображает, куда идти, но Чеглок подозревает, что на самом деле это не нерешительность, а переговоры: взаимодействие через Сеть, позволяющее проходить все спрятанные защитные устройства, заграждающие путь. Обычно ничто не указывает на результат, просто Полярис идет дальше, не говоря ни слова. А иногда эффект виден: то, что казалось сплошной стеной или кучей щебня, мерцает и растворяется в воздухе или просто становится прозрачным, открывая проход, куда Полярис ведет их без колебаний. Однажды, уже пройдя, Чеглок оборачивается и видит препятствие на том же месте, где было, будто и не исчезало. И ему не без труда удается подавить желание дотронуться до этой иллюзии и проверить, такая ли уж она твердая, как кажется. Время от времени он мысленно призывает Мицара, но Невидимый не отвечает. Наверное, думает Чеглок, у него все силы уходят на то, чтобы контролировать Полярис и не дать ей понять, что она виртуализована.

Наконец они приходят к каменной стене, которая не исчезает и не становится прозрачной. На грубой поверхности только мелькает искорка, когда Полярис входит в нее и исчезает. На миг Чеглоку, идущему вслед за широкой каменной спиной Халцедона прямо в стену, кажется, что он замурован в камне, и он едва сдерживает вскрик ужаса. Но тут же выходит с другой стороны и разевает рот от удивления, оказавшись в круглом зале с гранитными стенами, где через правильные интервалы размещены двери. Чеглок насчитывает двенадцать — гладкие блоки серебристо-серого металла. На вид они очень старые, и вся комната выглядит старой, да и заброшенной, будто впервые за много сотен лет сюда кто-то пришел.

— Шанс! — выдыхает Халцедон шепотом, разрывающим тишину как выкрик.

У Чеглока ощущение вторжения в чью-то гробницу становится еще сильнее. Гребень на голове стоит по стойке «смирно», холодок пробегает по спине. Земля здесь суха, как кость, и покрыта слоем серой пыли по щиколотку, уже взлетающей в воздух от движения ног. Когда он расправляет крылья, пыль вздымается облаком, от которого все чихают и ругаются.

— Прошу прощения, — говорит он и тут же начинает чихать

сам.

Когда пыль сдувает, выясняется, что пол покрыт шахматной черно-белой плиткой, словно большая доска. Единственное исключение — полукруг сплошного черного, где стоят они все.

— Куда мы попали, Пол? — спрашивает Халцедон, все еще держащий на руках Феникса. — Убежище за одной из этих дверей?

— Смотри и увидишь, — говорит Полярис, поддразнивая. Но тут же ее голос становится невероятно серьезным. — Только ни за что не выходите за полукруг.

Халцедон поворачивает голову к Чеглоку, тот пожимает плечами. Тем временем Моряна подходит к нему, берет за руку.

— Поосторожнее, Пол, — говорит она.

Тельпица усмехается. Синяк у нее на лице уже почти прошел, исцеленный селкомами.

— Я всегда осторо… — Она резко замолкает. Глаза ее будто смотрят куда-то вдаль. Потом она мигает и говорит: — Они здесь.

— Сколько? — спрашивает Чеглок.

— Десять. И с ними собаки.

— Этого нам только не хватало, — говорит Халцедон. — Теперь они нас выследят. Знал я, что это ошибка!

— Поверь мне, — произносит Полярис, — как только окажемся в убежище, будем в безопасности.

— Ты это Фену скажи, — бурчит Халцедон.

— То есть я виновата, что он болен? Ты это хочешь сказать?

— Ты нас завела в ту засаду.

— А у тебя вместо мозгов камни!

Шахт делает к ней шаг, но Чеглок и Моряна его оттаскивают.

— Что с тобой стряслось, Халц? — говорит Чеглок. — Не лучшее время ссориться с Полярис, ты не думаешь?

— Извините, — бурчит он. — Это просто…

— Что? — спрашивает Моряна.

— Шанс его побери! — взрывается он. — Кажется, я тоже это подцепил. Я будто весь горю!

Молчание. Потом голос Моряны:

— Это значит, что, вероятно, все мы заражены.

— Сам знаю, что это значит! — огрызается Халцедон.

— Без паники, — спокойно говорит Полярис. — В убежище есть аптечка.

— Я не паникую, — отвечает Халцедон. — Только веди уж нас в это убежище.

— Именно это я и делаю. — Полярис передает люмен Моряне, потом сходит с черного полукруга на белый квадрат. И как только ее нога касается плитки, на одной двери появляется

символ, светясь внутренним светом: контур стопы, согнутой как перед прыжком. От лодыжки отходят два крыла, похожие на крылышки колибри.

— О Шанс! — шепчет Чеглок. — Я знаю этот знак! Он принадлежит одному из Орбитальных, как его…

— Гермес, — говорит Моряна, когда Полярис перепрыгивает на другой квадрат — на этот раз черный. И второй символ появляется на второй двери: трезубец.

— Знак Посейдона, — говорит Халцедон.

Полярис снова прыгает, и вдруг до Чеглока доходит, что, хотя траектория ее пряма, из точки в точку, но плитки, по которым она прыгает, расположены буквой «Г», как ходит шахматный конь.

Сноп пшеницы.

Отягощенная гроздями виноградная лоза.

Лира.

Лук.

Круглый щит, украшенный ликом чудовища.

Сердце, пронзенное стрелой.

Молот.

Копье.

Кузнечный горн.

Полярис останавливается, тяжело дыша. Остается последняя темная дверь. Чеглок замечает, что последний скачок тельпицы приводит ее на ту плитку, с которой она начала.

— Это ведь не просто убежище, Пол? — спрашивает Моряна.

— Это нексус, — отвечает Полярис. — Место, где сходятся отдельные пряди медианета. Можете себе представить его как узел в Сети. Нексус — место огромной силы, столь великой, что здесь грань между реальным и виртуальным перестает существовать.

— Это как виртуализация? — уточняет Чеглок.

Она качает головой:

— Виртуализация переводит тебя в Сеть, погружает в виртуальный мир. Но в физическом мире не меняется ничего. В нексусе виртуальность хлещет из берегов, и Сеть выплескивается в физический мир.

— То есть вот это все — иллюзия?

— Если иллюзия имеет субстанцию, остается ли она иллюзией? Та пыль, что ты поднял, Чег, — это всё селкомы, миллиарды селкомов, и каждый — крошечная фабрика, готовая собирать или разбирать атомы и молекулы, строя что угодно и кого угодно. Только ждет инструкций, так сказать, *свыше.* Сейчас эта пыль рассеяна. И куда ты думаешь, она девалась? — Полярис широко распахивает руки. — В воздух, в землю… В *нас.*

— Шанс! — потрясенно говорит Халцедон.

Вспоминая тот беглый взгляд, что позволил ему Мицар бросить на медианет, Чеглок вздрагивает, представляя себе, что сейчас видит Полярис, глядя на них и в них. Без сомнения, думает он, как было и с ним, она видит то, что Мицар позволяет ей видеть, ни больше ни меньше. Ему снова хочется, чтобы Невидимый прервал свое молчание и заговорил с ним, пусть хоть слово скажет. Где-то в глубине души ему не хватает Мицара, несмотря на грубую и мерзкую натуру этого тельпа. На какое-то время Мицар ужасающе и восхитительно расширил его восприятие мира, и сейчас, когда оно сузилось до нормального, Чеглок чувствует себя оставленным и уменьшившимся. Но его ли это чувства, или же они — доказательство продолжающейся виртуализации, господства Мицара, который по-прежнему действует под поверхностью его сознания?

— Вот почему Коллегия организовала убежище здесь и в других нексусах в Пустыне, — продолжает Полярис. — Вооружившись нужными паролями, тельп даже такого низкого уровня, как я, может войти в систему безопасности столь изощренную, что сам Плюрибус Унум в нее не проникнет. И вот почему здесь нам ничего не грозит.

С этими словами она прыгает, как предугадал Чеглок, на ту самую плитку, с которой начала. На последней двери загорается зигзаг молнии.

Земля вздрагивает. Чеглок цепляется за Моряну, чтобы не упасть.

— Не надо так на меня смотреть! — кричит Халцедон. — Это не я!

— Все под контролем, — заявляет Полярис, легко прыгая с последней плитки обратно к ним. Черный полукруг, на котором они стоят, начинает погружаться. — Поехали вниз!

— Могла предупредить, — бурчит Халцедон.

Она скалится во весь рот:

— И испортить сюрприз?

В свете люмена скользят вверх ровные серые стены. Погружение идет глубоко и быстро. Чеглок уже не видит того зала, откуда они спускаются, а включив псионику, не обнаруживает отверстия: очевидно, пол снова закрылся за ними. Потом от ног к голове поднимается какое-то покалывание, и внезапно дышащие щупальца его силы отрезаются.

— Гасящее поле, — комментирует Полярис, и тут платформа, замедляя ход, плавно останавливается. В стене появляется зеленая светящаяся кнопка. Чеглок тянется к ней, но не успевает нажать, как Полярис перехватывает его руку.

— Хочешь, чтобы нас всех убило?

— Извини. Я подумал…

— Добраться так далеко, и здесь… — Она, потрясенная, проводит рукой по торчащим черным прядям своих волос. — Я разве не говорила ничего не трогать?

— Я же извинился.

— В общем, так: держи свои шаловливые ручки при себе. К остальным тоже относится. А теперь пошли.

Повернувшись к кнопке спиной, она шагает мимо Чеглока и Моряны к сплошной стене. Или не сплошной: стена поглощает Полярис, даже не зарябив.

Халцедон — это Чеглоку кажется, или действительно он как-то деревянно движется? — перехватывает поудобнее Феникса и проламывается следом.

Чеглок хочет шагнуть за ним, но Моряна снова берет его за руку и останавливает.

— Послушай, если у меня не получится спасительный бросок…

— Получится, — говорит он, пытаясь придать своему голосу большую убежденность, чем чувствует сам. — У всех у нас получится.

— Но если каприз Шанса решит иное, — продолжает она, глядя на него бездонными глазами, где содержится ответ на все вопросы, все сомнения, все тайны… если бы только глядеть в них достаточно долго, заглянуть достаточно глубоко… — Я хотела сказать тебе: как бы всё ни обернулось, я люблю тебя, Чег.

— Я знаю.

— Знаешь? Интересно…

— Хорошо, не знаю.

— Я — русла, Чег. Я знаю, как действую на мьютов других рас. Нас любят, да, но нас и боятся. Для вас, всех остальных, мы экзотичны и потому желанны. И все же нас презирают, считают, что мы хладнокровно играем сердцами, как тельпы — умами.

— Я не считаю, что ты манипулируешь мной, если ты об этом.

— Но это так и есть, Чег, неужто ты не понимаешь? Потому что это часть моей натуры. Меня тянуло к тебе — и я притянула тебя ко мне. Нет, не сознательно, как тельп, виртуализующий мьюта против его воли. Мы, руслы, не более способны управлять чужими чувствами, чем собственным хроматизмом. Это спонтанно, инстинктивно. Но каждый, кто видит эти цвета, поддается их очарованию, хочет он того или нет.

— Я все это знаю, — говорит Чеглок. — Меня учили распознавать гипноз хроматизма руслов и противостоять ему. Я с

тобой, потому что так мне хочется.

— Да, но почему *я* с тобой? Вот о чем ты думаешь на самом деле, я угадала? После всех этих месяцев.

Чеглок ненавидит себя за то, что слушал Мицара, но уже поздно, он не может забыть слова Невидимого. И дело даже не столько в том, что Моряна может оказаться шпионкой. Разумом он допускает такую возможность, хотя в сердце своем уже снял с нее обвинение. И, что бы она сама ни думала, здесь ни при чем, что она русла и будто бы им играла, заставив его полюбить себя. Нет, грызет его другое: это Мицар мог манипулировать ею для каких-то своекорыстных целей. То, что она его выбрала, не было ее свободной волей, и чувства ее к нему ложные — во всяком случае, не подлинные. Он говорит себе, что это не должно быть важно — но не может себя убедить. Даже если Моряна искренне его любит, или точнее, искренне верит, что любит, как может он принять эту любовь, зная, что она отравлена незаметной виртуализацией? Никак. Даже если бы он верил — а он верит — в искренность *ее* чувств, *ее* веры. У него самого такой веры нет… если «вера» — правильное слово.

— Ладно, — говорит он. — Признаюсь: я действительно до сих пор не понимаю, почему среди всех ты выбрала меня.

Она улыбается, ничуть не оскорбленная.

— Но я не выбирала тебя, Чеглок! В том смысле, который ты имеешь в виду. При всей вашей эмоциональности вам, эйрам, для всего нужен резон, даже для любви. Но у сердца свои течения, куда загадочнее и необоримее, чем течения воздуха и моря. Сопротивляться им — глупо, постичь их — невозможно.

— То есть либо удается спасительный бросок, либо нет?

— Любовь, как и все прочее — причуда Шанса.

Хотя голос ее нежен, в нем слышится печаль, и Чеглок думает, сожалеет ли она о своих чувствах к нему. Жалеет ли, что не сделала тогда свой спасительный бросок? Как это часто случалось в их отношениях, он чувствует, что не может увидеть их на всю глубину. Пути руслов ему непонятны. Совершенно нельзя прочитать по внешности, что делается у нее внутри, в этих черных глазах, в этом прекрасном и завораживающем переливе цветов по лицу и телу. Он знает каждый ее дюйм наизусть, как строчки сутур в «Книге Шанса» или узор разрезов на собственной коже, и все же — как эти строчки, эти линии, она остается загадочной. Обнимать ее, входить в нее еще не значит знать ее, тем более — обладать ею. Он понимает, что на самом деле хочет *виртуализовать* ее, завладеть не только ее телом, но и ее умом, ее чувствами, ее ощущениями. Самой ее сущностью. Это желание его удивляет и вызывает стыд: у него, оказывается, больше

общего с Мицаром, чем он сам думал.

Моряна подается вперед и прижимается губами к его губам, легко, мгновенно, и тут же отодвигается и исчезает в стене, не успевает он среагировать, только как-то передав ему люмен из своей руки, и губы у него горят жаром украденного поцелуя.

Жаром…

Не страсти. Не любви.

Жаром лихорадки.

Внезапно ее слова ужасным образом обретают новое значение. Как Феникс и Халцедон, Моряна инфицирована. Она больна — может быть, умирает. Она прощалась с ним.

Чеглок с криком бросается за ней — и отлетает от стены. На миг, оглушенный, он только стоит и таращится. Он попал не на то место? Протянув руку, он ощупывает пальцами твердый камень. Водит руками по стене, ищет скрытый вход. Но его нет. И голос Полярис снова произносит слова: *Если иллюзия обретает субстанцию, остается ли она иллюзией?*

— Моряна! — кричит он. — Полярис!

Никакого ответа. Он бьет по стене кулаками, но тщетно. И при здешнем гасящем поле психоника его слишком слаба, чтобы от нее был толк.

Селкомы сделали стену сплошной, превратив иллюзию в материю. Но зачем? Это работа шпиона? Если да, почему Мицар не помешал ему? И что случилось по ту сторону стены? Пытаются ли товарищи к нему пробиться?

— Мицар! — кричит он во весь голос. — Да ответь же ты, Шанс тебя побери!

Невидимый молчит.

Впрочем, какой-то ответ есть.

Зеленая светящаяся кнопка начинает мигать.

Полярис предупреждала, чтобы он ее не трогал. Но у Чеглока уже нет выбора. Если они — кто бы *они* ни были — хотят его смерти, существуют более простые способы этого добиться. Это приглашение. Или команда. Он соображает, что все это может происходить в Сети, быть еще одной извращенной игрой Мицара. Но даже если так, у него нет другого выхода — только продолжать игру. Глубоко вздохнув, Чеглок нажимает кнопку.

Щелчок. Кнопка гаснет.

И люмен вместе с ней, зажечь его снова не удается. К счастью, в рюкзаке есть еще. Когда он снимает рюкзак с плеч, платформа вздрагивает и падает вниз, застав его врасплох. Оступаясь в темноте, он вспоминает, как летели мимо стены на прошлом спуске, пытается поднять хоть сколько-нибудь ветра, чтобы остановиться или хотя бы смягчить удар.

Бесполезно. Слишком сильно гасящее поле. Удар швыряет его вверх, подбрасывает… он инстинктивно расправляет крылья.

Что-то хрустит, как сломанная ветка. *Шанс,* говорит он про себя, *крыло…*

Вспышка боли гасит все мысли, все ощущения.

* * *

На той стороне, под другим солнцем, каноэ вплывает в узкий рукав устья ручья Мельника, которого нет ни на одной карте, только у них. Слышно лишь мерное падение капель с весел, успокаивающий шелест болотных трав, проплывающих мимо бортов, дрожащее гудение мириадов невидимых насекомых да очень далекий, приглушенный рокот моторок. Джеку жарко, он взмок от пота, репеллента и лосьона от солнца. Руки ноют от гребли; если опустить весло вертикально, оно упирается в мягкое илистое дно, отсюда вода мелеет с каждым гребком. Мысли дрейфуют по безоблачному небу мозга, как эйры, парящие в восходящих потоках над Фезерстонскими горами. Прицепившись к серебристым стеблям трав, футах в двух-трех перед глазами висят извитые раковины улиток, маленькие и черные, как семечки яблок, похожие на арабские минареты, и в каждой, быть может, скрывается джин: скопившиеся тысячами желания, созревшие, чтобы их сорвать. Парят и пикируют вниз стрекозы, трепеща радужными крыльями, сквозь которые просвечивает полоска тела; они блестят, будто алмазные иголки, сшивающие расползающуюся ткань дня. Маленькие желтокрылые бабочки порхают беззаботно, словно собираются жить вечно. Болотные испарения несут запах гнили и растительности, напирающей со всех сторон.

Падает рубиновая капля между ногами в кроссовках, потом другая; собравшаяся вода, стоящая лужицей на неровном днище каноэ, расцветает маковым цветом. Руки Джека пропускают гребок. Весло повисает недвижно, как и сердце.

Еще капля. Он смотрит, как она падает в воду, чувствует, как в груди что-то взорвалось. Воспоминания открываются в мозгу, словно цветы, вложенные один в другой. *Я это сделал,* думает он в дезориентации своего последнего пробуждения. *Я сделал так, чтобы это случилось.*

Он открывает рот, хочет сказать… что? Нет, этой ошибки он не повторит. Он ничего не скажет Джилли. Именно здесь эта реальность отличается от предыдущей. Больше не будет этого неуклюжего признания, не будет ссоры на воде, не будет заплыва

в бухту со злости. Здесь поставленная для этого дня простая цель останется нетронутой, неизменной.

И так лучше, понимает он. Легче, когда Джилли не знает, не помнит. Теперь он это понимает, хотя раньше не понимал — его сила оказалась умнее его самого. Но какие же еще изменения, кроме очевидных, отличают этот мир? Он вытирает нос, потом вытирает пальцы о борт каноэ, чтобы смыть кровь.

Джилли чувствует, что он перестал грести. Еще секунда — и она обернется посмотреть, в чем дело. Заметит, что у него кровь из носа, и снова возникнет тот же вопрос. Он это видит так, будто это уже случилось.

— Не смотри, — предупреждает он, хотя его слова могут послужить и приглашением.

— А почему? — спрашивает она, намеренная именно посмотреть.

— Я хочу отлить.

— Чего?

Но она останавливается.

— Я отолью с кормы.

И ему на самом деле надо, и он думает, не устроила ли сила и этого, заранее предусмотрев необходимость отвлечь Джилли.

У него кружится голова, когда он себе представляет гомункулярного Бобби Фишера, напряженно работающего у него в мозгу, расплетающего бесконечность возможных ходов и комбинаций многомерной шахматной партии, которую он вдруг должен разыгрывать с середины. А тем временем *здесь и сейчас* оказывается, что есть технические трудности, связанные с попыткой отлить с кормы каноэ.

— А подождать не можешь? Мы уже почти приплыли.

— Это всего секунда.

Он кладет весло наискось поперек каноэ, потом не слишком осторожно передвигается боком, как краб, пока не оказывается ногами на сиденье. Лодка под ним опасно качается.

— Джилли, подержи ее ровно.

— Только ты побыстрее.

Она опускает весло с той же стороны. Прозрачная вода ручья поднимается по веслу более чем наполовину, пока оно не упирается в дно. Качка прекращается. Чернильное облако всплывает к поверхности.

— Чего такая спешка?

Джек оттягивает плавки спереди и посылает свой поток дугой через борт. Струя блестит на солнце, как лимонад. Кровь из носа уже не идет, и это хорошо, потому что он знает: Джилли смотрит.

— Не только тебе отлить надо, — говорит она. — Иногда я

жалею, что я не мальчишка. Многое было бы проще, а девочкам это труднее.

Джек пожимает плечами, которые уже припекает солнце. Какая девчонка в здравом уме не пожелала бы быть мальчишкой?

Течение принесло обратно к нему облако ила. Клубящаяся чернота напоминает, как выглядело небо в ураган. Он прицеливается в это облако, но оно слишком плотное, чтобы его рассеять, слишком темное, чтобы стать светлее.

— А что ты чувствуешь, когда выпускаешь? Щекотно?

— Да ну, Джилли, не знаю! — Он отряхивается, сбрасывая последние капли, потом поднимает плавки и осторожно садится снова. — Никогда не задумывался. А что? У тебя щекотно?

— Бывает. — Она снова оборачивается лицом вперед. — Но сейчас мне уже *точно* надо.

Она снова гребет, он присоединяется.

На мелководье у крабов суматоха. Джек с интересом смотрит, как они разбегаются от бортов надвигающегося каноэ. Джилли подцепляет веслом большого краба, пытаясь выкинуть его из воды, но он отбегает боком, угрожающе подняв клешни, а бешено дергающиеся ноги поднимают дымовую завесу ила. Джилли смеется:

— Смотри, как этот Джимми задал деру!

Местное прозвище самцов-крабов — нескончаемый источник восторга в семействе Дунов. Самки называются Зуук, и стало традицией во время походов за крабами доставать дядю Джимми вопросами о его мифической жене, тете Зуук. Сложился целый репертуар вроде комиксов на ходу, выдержки из которых Джек невольно повторяет сейчас.

— Шкура у нее толстая, у моей Зуук. Ничем ее панцирь не пробьешь. А характер какой? Как посмотрит, так и цапнет!

— А чего ты на ней женился?

— Вцепилась в меня клешнями, не вырваться.

— А как вы медовый месяц провели?

— Как-то раком.

И этот человек — тот, кто пытается его убить? Невозможно. Никогда в жизни, ни разу Джек не ощущал в дяде никакой угрозы. Он всегда был другом, союзником. Он им давал игры, музыку, книжки комиксов. Хотя дяде Джимми двадцать шесть; Джек никогда не думал о нем как о взрослом. Он такой же пацан, только побольше, постарше, покруче. Все свое время он придумывает *игры,* ничего себе — *работа!*

Некоторые люди — например, Билл и Пегги — в отношениях дяди Джимми со своей семнадцатилетней племянницей увидели бы предательство доверия и осудили бы его за это как человека

злого и плохого: распространитель наркотиков, развратник, преступник. Но не Джек. Мораль в его размышления на эту тему не входит, а если входит, то это другая мораль, не та, которой учат в школе или в церкви. Для него то, что происходит между Эллен и дядей Джимми — это не «взрослый мужчина воспользовался неопытностью девушки», а «двое детей показали длинный нос всему взрослому миру». Таковое их поведение покрывается тем же кодексом молчания, отрицания и уверток, что объединяет детей во всем мире. Джек этому кодексу не изменит. Он не будет судить, не будет ябедничать.

А если бы и наябедничал, какой смысл? Он начинает ценить стратегию и тактику этой игры, реальной версии «Мьютов и нормалов», в разгаре которой неожиданно для себя оказался. Если дядя Джимми действительно его противник — или один из них, — и обладает той же силой, что и Джек, то он, как и Джек, может отменить любое действие, предпринятое против него. Пусть Джек наябедничал бы Биллу или Пегги протравку или про секс, пусть бы он даже анонимно позвонил в полицию — ничто из этого не имело бы продолжительного эффекта. Дядю Джимми это бы из игры не вывело. Напротив, дядя Джимми использовал бы свою силу и переделал бы мир таким образом, что ход Джека оказался бы нейтрализован, и сам бы стал представлять угрозу для Джека.

Нет, понимает Джек, такого рода вмешательство бесполезно. Даже смерть не обязательно необратима, как показывает его собственный опыт. Смысл не в том, чтобы прекратить существование своего противника, а в том, чтобы сделать мир таким, где он *никогда* не существовал: подвести сеть своего аннигилирующего разума за спину ничего не подозревающему крабу сознания своего противника и выдернуть его из воды целиком. Прощай, Джимми.

Но если он ошибается? Что, если вопреки всему дядя Джимми не обладает такой же силой и не играет против него? Что, если он ни в чем не виноват, и (так сказать) полный нормал? Должен быть какой-то способ это выяснить. Узнать наверняка. Что бы сделал Холмс?

Может, вывалить все про Эллен — не такая уж плохая идея? Если дядя Джимми действительно его противник, его ход будет вынужден. Чтобы спасти себя, ему придется переделать реальность. Таким образом, если получится, чтобы исключить из нее Джека… но ведь кто-то все время пытается это сделать, так что Джек не будет идти на лишний риск, он просто должен будет понадеяться, что его сила его защитит. А если дядя Джимми *не станет* действовать, останется под арестом, или в тюрьме или

еще что, то у Джека появится доказательство, что дядя Джимми — не его оппонент. Что тоже полезно знать, в этом случае у него освобождаются руки для поиска настоящей угрозы. И дядя Джимми тоже не пострадает, по крайней мере долго не будет страдать, потому что Джек все поменяет обратно, в ту реальность, где он дядю Джимми не предавал. У него — особенно после недавнего эпизода — появляется уверенность, что он уже все-таки обретает контроль над своей силой. Скоро он вообще сможет делать все, что хочет. И, поскольку сможет переделать и все обратно, то исправлять все, что сделано неправильно, и не чувствовать вины по этому поводу будет то же самое, как разыгрывать варианты на шахматной доске, а потом ставить фигуры на исходные места для выбора лучшего продолжения.

Каноэ задевает грунт. Джек и Джилли складывают весла и выпрыгивают по разные стороны лодки. Илистое дно засасывает ноги в кроссовках до лодыжек. Без единого слова они вытаскивают каноэ через царапучий рогоз и болотные травы чуть выше их роста, выволакивают на пологую полоску песка, исчерканную следами птиц и енотов. За этой полоской пляжа стоит коричнево-зеленая стена леса, усеянная пятнами цветов, птиц, бабочек. Они заплыли глубоко в Фенвикский заповедник, на место, которое случайно нашли несколько недель назад (в этой ветви реальности), когда составляли карту устья ручья Мельника. И легко поверить (они верят), что здесь сотни лет — а может, и вообще никогда — не ступала нога человека.

Джилли, не теряя времени, выпускает каноэ и сбрасывает шорты, чуть не теряя равновесие, когда сдирает их через грязные кроссовки. Джек не может удержаться от смеха, она смотрит на него сердито, сжимая колени под ярко-зелеными трусиками-бикини, потом поворачивается и направляется в лес. Но тут же, сделав всего три не слишком изящных шага, присаживается, сверкая косточками позвонков на худой спине, сдвигает трусики, обнажив белое полулуние одной ягодицы, и начинает — со стоном чисто животного наслаждения — отливать.

— Да ты что, Джилли?

Он все еще смеется, но это уже другой смех. Хотя они вместе моются в душе, одеваются и раздеваются друг перед другом без малейшего стеснения, и даже в прошедшие годы в доктора играли, это зрелище, которого он никогда не видел и не думал видеть. Ей действительно уже надо было, струя с шипением бьет в песок с внушительной силой, сбегая вниз по пляжу между ее кроссовками темной пенистой струей, будто «кока-колу» разлили.

Закончив, она поправляет трусы, встает и поворачивается к нему с самодовольной усмешкой:

— Нагляделся?

— Ты же на меня смотрела?

Она смеется, машет рукой, делает шаг к сброшенным шортам, лежащим на песке. Пока она их отряхивает и надевает, Джек вынимает из каноэ свой рюкзак, нагибается, чтобы достать второй — и подпрыгивает, взвизгнув, от щипка за ягодицу.

— Эй, ты!

Она пристраивается рядом, скользкая от пота и лосьона, и вытаскивает рюкзак сама.

— Давай поедим, Джек. Умираю с голоду.

Они подходят к опушке леса, где ветви сосен образуют над песком навес. Там, среди опавшей хвои и шишек, они устраиваются и достают еду из рюкзаков. Вскоре они уже сидят бок о бок на расстеленных полотенцах, поглощая слегка помятые сандвичи с арахисовым маслом и вареньем, запивая теплой водой из пластиковых бутылок и отгоняя назойливых мух, москитов и комаров. По их часам уже почти половина второго, солнце за колючей загородкой ветвей выше не поднимется. День поворачивает к вечеру. Еще час-другой — и надо двигаться в обратный путь. Но пока что спешить некуда.

Джилли, как она всегда делает в таких уединенных местах, снимает верх купальника. В начале лета грудь у нее была такая же плоская, как у Джека, но сейчас, к середине августа, все изменилось. Соски, прежде просто розовые точечки на коже, набухли, потемнели, плоть вокруг стала выпуклой. Бедра у нее тоже полнее, чем раньше, прямые линии сменяются закруглениями под воздействием созревания. Джек все лето был свидетелем этого медленного процесса, и наблюдал его с захватывающим интересом, а временами и с ревностью, будто это какая-то тайна, которую Джилли от него скрывает, сила, которой она обладает — или которой одержима, — и которую ему с ней никогда не разделить, сила, отбирающая у него сестру. А все-таки, думает он, к чему тут ревновать? Вот у *него* — настоящая сила. Джилли повинуется зову природы — а природа повинуется его зову.

Джилли, доев сандвич, поворачивается на бедре и копается в рюкзаке. Через минуту она достает мешок с косяком, украденным у дяди Джимми, и красную биковскую зажигалку.

— Не знаю, будет у нас приход или нет, но хотя бы дым мух отгонит.

Джек следует ее примеру.

— Если только они не балдеют от этого запаха. Может, их тоже от него вставляет. И их пробивает на хавчик.

— Об этом я не подумала. И обыкновенного курева не

прихватила. А ты?

— Тоже нет. Только фейерверки — вот, видишь? — Он вытаскивает другой мешок, набитый «прыгучими Джеками», раскрашенными под конфетки. — Вот это, может, их и отпугнет.

— А теперь ты просто дурака из себя строишь.

— Ой, простиите… — говорит Стив Мартин.

Джилли закатывает глаза и вытряхивает содержимое пакета к себе на полотенце. Взяв косячок, она подносит его к носу, глубоко вдыхает, с предвкушением, как знаток сортов каннабиса.

— Ах… — И вдруг ее лицо комически морщится: —… Ааапчхи!

Джек закатывается хохотом. Джилли вместе с ним. Из леса у них за спиной слышится гомон вспугнутых птиц и каких-то мелких созданий, шастающих по земле и меж ветвей. От этого близнецы заходятся еще сильнее. Как в фильмах про Тарзана, когда Вайсмюллер издает клич джунглей, и камера показывает, как идут стада слонов, скачут антилопы, прыгают львы, ныряют в реку крокодилы, качаются на ветвях обезьяны.

Потом они снова садятся, кое-как переведя дыхание, и смотрят друг на друга, уже не хихикая. Джилли предлагает закурить.

— Чего это все удовольствия только Эллен?

Она вставляет косяк между губ, щелкает зажигалкой, прикуривает. Потом, будто в первый раз закурила сигарету, кашляет, извергая клубы дыма.

— Ну и ну, Джилли! — отвечает ей Джек нервным смехом.

У нее на глазах выступают слезы:

— Ну и ну! Суровая штука.

Она судорожно пытается вдохнуть и передает ему косяк.

Он его берет губами, ощущая едва заметный вкус клубничного варенья. Потом вдыхает. Не только вкус, но и текстура дыма не такая, как у обыкновенных сигарет: травка горит едче и горячее табака, она скребет горло до самого низа и расширяется в легких. Он закашливается, как только что Джилли.

— Черт, — сипит он. Голова слегка кружится.

Джилли берет косяк у него из рук. На сей раз она осторожнее, едва пробует.

— Так лучше.

Но голос у нее хриплый от усилия удержать дым.

Они попадают в неспешный ритм, передавая косяк друг другу почти без слов, пока он не догорает до окурка, который едва можно удержать между пальцами. При попытке передать окурок он падает, и никто не делает попыток его подобрать. Они сидят и смотрят на уходящую вверх струйку серого дыма.

— Ты что-нибудь чувствуешь? — спрашивает Джилли через минуту.

— Нет, а ты?

Она качает головой:

— Наверное, надо скурить и второй.

Почему-то Джек не может вспомнить, куда девал второй косяк. Мешка у него на полотенце нет, как и вообще на всем пляже. Может быть, думает он и хихикает, он в той реальности остался.

— Чего ржешь? — спрашивает Джилли. — Ты что, его потерял, что ли?

— Где-то он здесь, — говорит Джек, всматриваясь в рюкзак. — Ага! — Он вытаскивает фейерверки. — Вот это точно нас вставит.

— Да тебя уже вставило, — говорит Джилли с ехидной улыбкой.

— Ни фига.

Но на самом деле он задумывается, а не права ли она. Это не приход, как он его себе представлял. От других ребят он слышал описания прихода, но другим ребятам не всегда можно верить. По крайней мере он теперь сможет внести свои два цента в разговоры на эту тему, когда снова начнутся уроки. А это, соображает Джек, уже меньше чем через три недели. Если бы только сообразить, как использовать свою силу и сделать так, чтобы они вообще не начались! Остаться бы здесь навеки, на этой полоске пляжа вместе с Джилли, проживать одни и те же счастливые часы снова и снова, как слушать любимую песню по радио опять и опять. И здесь он будет в безопасности, спрятанный в возвратном искривлении времени, куда не проникнет его противник. Никогда не постареть, никогда не вырасти, жить здесь с Джилли, как Питер Пэн и Венди…

— Земля вызывает Джека! Слышите нас? Прием.

Он моргает, а Джилли, смеясь, выхватывает у него из руки фейерверк.

— Ты в улете!

Странно, что «закаменел» значит то же самое, что «в улете». Улет — это как эйр, летящий в небе. А камни — они земные, тяжелые, как шахты. Или это значит, что в тебя кидали камни, как в том рассказике про лотерею, который он читал по школьной программе? Ходишь, шатаясь, а камни у тебя от чана отскакивают. А это, если подумать, жутко смешно.

— В чем дело? — хмурится Джилли, чтобы тоже понять шутку. — Рассказывай!

Он мотает головой, не в силах объяснить. Лента дыма от

брошенного чинарика так и поднимается вверх, будто ни секунды не прошло, как он там лежит. Джек падает обратно на полотенце, глазами следя это чудо — завивающийся дым, уходящий в воздух, в ветви над головой. Во всем мире какая-то дрожащая, поющая зеленость, которой он до сих пор не замечал. Сердце становится большим, как какой-то мутантный фрукт, который делается все легче и легче, когда созревает, и потом не падает — отрывается от ветки и плывет вверх. Веселое лимонное солнце подмигивает Джеку из-за щетинистой завесы ветвей. Чайки и вороны смеются одобрительно. Он закрывает глаза и сам всплывает вверх, вслед за дымом.

На лицо, теплая и мягкая, падает темнота. Он садится от неожиданности, сбрасывая ее руками, как паутину. Перед ним стоит Джилли, руки на бедрах, и глядит с видом человека, у которого кончилось терпение.

— Я тебя сюда не дремать привезла, — говорит она.

Джек переводит взгляд с нее на свою руку, на которой намотаны трусы от ее купальника, потом на Джилли, моргая, как идиот, при виде ее голого тела, пятнистого, будто у руслы, от тени и света.

— Ты… привезла…

Она опускается на колени рядом с ним, ловко распутывает трусы и отбрасывает их в сторону.

— А разве тебе не интересно, каково это? — спрашивает она, глядя на него с той напористостью, которую он уже видел раньше.

Он пытается собраться с мыслями:

— Каково — что?

Она смеется чуть диковато, и до Джека тут же доходит, как электрический удар, что она «закаменела» или «в улете» не меньше, чем он.

— Сам знаешь, — говорит она.

Он мотает головой, чувствуя, что отупел и не соображает, восприятие отстает от событий на небольшой, но заметный интервал. Сердце стучит в груди, пытаясь за ними угнаться.

— То, что делают *они*, — говорит Джилли.

— Ты хочешь… — Он сглатывает слюну, во рту пересохло. Сейчас он думает, что есть другие, более ординарные способы менять реальность: сосредоточившись только на разуме, он упустил из виду тело. — То есть ты все время собиралась…

— А чего это все удовольствия только Эллен?

Хихикая, она валится на него. Кожа у нее, как и у него, горячая и гладкая. Одну руку она просовывает ему между ног, стаскивая плавки, пытаясь одновременно его поцеловать. По их

тайной связующей нити он ощущает пугающе резкий голод, а под ним — обычную для Джилли холодную решимость… которая в данных обстоятельствах пугает еще сильнее.

Он вывертывается, отворачивается, сопротивляется. Не то чтобы он был против самой идеи: будь у него шанс подумать, он бы вполне мог согласиться. Почему бы и нет? Ему тоже любопытно. Но она не дала ему такого шанса. Думать времени нет, только реагировать.

— Джилли, прекрати!

— Нет, *ты* прекрати!

Как всегда, ей надо, чтобы вышло по ее. Она наваливается, борясь уже всерьез, сильно всаживая локоть ему в бок — то ли намеренно, то ли нет. Они уже скатились с его полотенца, песок липнет к телам, и кожа больше не скользит, а царапается — друг о друга, об упавшие ветви и сосновые шишки, разбросанные по пляжу.

Нет места для слов, слышно лишь тяжелое дыхание, уханье и стоны самой грубой драки, какая только у них бывала. Локти, колени, кулаки, ногти без пощады. Как обычно, Джек терпит поражение, и уже скоро Джилли берет верх, а после этого исход драки уже не вызывает сомнения, если даже раньше вызывал. Физически ему с ней не справиться, и так было всегда. Но сейчас у него есть в арсенале иное оружие. Если он не может победить ее телесно, он воспользуется разумом, своей силой. Удивительно, что это не пришло ему в голову раньше. Или не столь удивительно: применить силу против Джилли — то же самое, что применить ее против самого себя.

Но другого выхода нет. Слишком далеко все зашло. Она его положила на лопатки, села верхом на грудь, коленями прижимая руки к песку. Ее пах с прилипшими песчинками, в дюймах от его лица, и отвернуться невозможно от того, что до сих пор он видел лишь на глянцевых страницах журналов, жадно рассматриваемых в школе или дома у друзей, хотя там было по-другому: Джилли куда моложе нарисованных там женщин, и еще — она его сестра.

— Проси пощады, — выдыхает она.

Он выворачивается, чувствуя, что готов расплакаться. Он ненавидит ее за то, что она творит: пытается согнуть его под свою волю, заставляет его делать то, что он должен сделать, чтобы себя защитить. Он пытается нащупать свою силу, но не может ее достать: до сих пор еще не научился вызывать ее сознательно, хотя он уже к этому близко, дразнящее близко. Прямо на краю.

— Джек, я… тебя… предупреждаю…

Она чуть отвернулась от него, пытаясь одной рукой содрать с него плавки.

Он погружает зубы в соленую с песком кожу ее бедра. Джилли вскрикивает от боли и ярости, и он чувствует резкий удар в лицо. Что-то хрустит в переносице, на миг ослепляет пылающая белая боль. А потом кровь повсюду, и она его уносит куда-то.

Придя в себя, он ощущает, что лежит на песке, Джилли на нем, но никакой борьбы. Губы их впились друг в друга, кончики языков тихо-тихо соприкасаются, будто здороваясь. Закрыв глаза, Джек ощущает трепет ресниц Джилли у себя на лице, как шепот крыльев бабочки. Сердца их бьются единым ритмом, и глуховатое эхо этих ударов заполняет мир. У ее поцелуев вкус яблок и клубники.

И крови.

Ахнув, он отодвигается. И Джилли тоже.

— У тебя кровь…

У Джека снова отвисает челюсть — распахиваются шлюзы памяти. Это не тот выход, которого он искал, это вообще не выход. Он такой же голый, как Джилли, и такой же желающий. Увядающий пенис опускает виноватую голову. Сейчас он флэшбеком вспоминает, как разворачивались события в этой реальности: идея проклюнулась у них еще несколько дней назад, план обсуждался и согласовывался, а потом, когда приехали на этот пустынный берег, начался взаимный соблазн с веселым смехом и ободряющим шепотом, игривая череда поцелуев и ласк, трудные места облегчались выкуренным вместе косячком и желанием, которое росло с каждой минутой и еще сейчас не угасло. Вот, с ужасом чувствует Джек, как оно должно было развиваться с самого начала — только так не было. Эти счастливые события не стерли его память о том, что им предшествовало. Чувство гнева, чувство, что его предали, отвращения, которое скрутило узлом сердце и желудок. И это стало в миллион раз тяжелее вынести. Не потому что ощущавшееся отчетливой реальностью вдруг скрылось за маской иллюзии, лжи. Это само по себе было бы достаточно плохо… и все же куда лучше. Что самое худшее, он знает: никакой иллюзии не было. Этот мир реален — *но реальны и другие.* Он в них существовал какое-то время. И они до сих пор существуют в нем.

А тем временем Джилли вынимает из рюкзака платок и тянется к брату с заботливым видом. В этой реальности она вся — беспокойство, чувствует — как наверняка было раньше, только сейчас она не собирается это игнорировать — расстройство на том конце их экстрасенсорной телефонной линии.

— Не лезь!

Джек отползает по песку. Он не может понять, почему из всех

возможностей его сила выбрала именно эту. Но выбери она другую, разве не было бы у него тех же воспоминаний, тех же чувств? Не были бы сейчас также невыносимы прикосновения Джилли, в любых обстоятельствах?

Она движется за ним, точно так, как раньше.

— Джек, что с тобой случилось?

— Уйди!

Голос его дрожит на грани истерики. Фишка в том, что сколько бы он ни говорил о своей силе, будто она так выбрала, — это только способ уйти от правды: он выбрал сам. Может быть, неосознанно, но все равно: раз он в этом *здесь и сейчас,* а не в каком-нибудь другом, так это потому что сам он на каком-то уровне хочет здесь быть. Что вообще было бы не так страшно, если бы не память. Если бы не чувство, от которого бегут мурашки по коже и поднимается тошнота, когда Джилли, не обращая внимания на его слова (как и раньше!), заботясь только о том, чтобы остановить кровь, пододвигается так близко, что сейчас вот дотронется. И даже это чувство не было бы так неодолимо, если бы ненадолго отодвинуться от нее и от всего этого, хотя бы на время, чтобы разобраться со всем этим для себя. Но он не может, ему просто некуда деваться. Ее пальцы касаются его щиколотки почти так же легко, как пробегающий ветерок. Но он с резким вскриком рассыпается, как стекло.

И снова он цел. Он лежит на песке, Джилли верхом на нем, как раньше. Они не дерутся, но и не целуются. Они соединены, тело с телом, тем способом, который превращает на время в близнецов всех мужчин и женщин, но куда крепче соединяет Джека и Джилли, которые и без того близнецы. У Джека ощущение, будто они сплавляются в единую плоть, невидимая связь, что всегда была между ними, становится видимой, обретает субстанцию, окружает их сияющей серебряной кожей, коконом, из которого, как из коконов, породивших мьютов, вылупится нечто чудесное, нечто такое, чего никогда еще в мире не было. И одно его появление изменит все. Он чувствует, как это нечто шевелится глубоко внутри, там, где они с Джилли ближе всего.

И на этот раз, когда начинает хлестать кровь из носа и воспоминаний Джека, пробуждая его к внутренней солнечной системе, где стало теснее от очередного мира, по сравнению с сопровождающим это ужасом бледнеет все, что он знал или представлял себе. Он отползает со стоном, пихая Джилли в бок, шарахается назад, как вспугнутый краб. Ее изумленное выражение сменяется досадой, потом тревогой. Она приподнимается на локте:

— Джек, у тебя кровь из носа…

Он лениво мечтал, тогда, в первой реальности, то есть в первой из этой серии, несколько мгновений вечности тому назад, чтобы они с Джилли остались в идиллии пляжа и сосен навеки, повторяя одни и те же минуты, но не это же он имел в виду. Но, быть может, достаточно, чтобы он вообще об этом подумал. Этот кошмар наяву — его вина? Исполнилось праздное желание, как в волшебной сказке-предупреждении? Эта мысль невыносима. Он хочет только выбраться отсюда, забыть. Джилли тянется к нему, и в этом мире ее прикосновение не должно быть отвергнуто, как и во всех прочих.

В следующем мире события продвинулись по времени чуть дальше, чем Джек помнит. А в следующем — еще дальше. Сперва, пока множатся итерации, Джек пытается управлять своей силой, укротить ее и воспользоваться с точностью хирурга, отрезая не только раковую опухоль событий, но и память о них… потому что наверняка, думает он — той частью своего разума, которая все еще способна думать, той льдинкой, что быстро тает в кипящем море воплощений, — наверняка это должно быть возможным. Но бесполезно. Не получается. Наконец он уже только борется с этой силой, восстает против нее каждой каплей ужаса, которую удается собрать, как будто она, а не дядя Джимми или какой-нибудь иной неизвестный оппонент — его реальный враг. И это тоже не получается.

Может ли быть, что его сила защищает его от какой-то беспрецедентной серии атак? Что это место в игре, самое его существование, подвергается постоянному нападению? Но это не объясняет, почему его сила защищает его именно так, вновь и вновь возвращая к ситуации с Джилли, как будто отлично продуманная пытка: сперва затопляет его наслаждением почти невыносимым и тут же в мгновение ока растворяет это наслаждение потоком памяти, еще менее выносимым, пока он не тонет, не захлебывается отвращением, выблевывая его, как желчь.

А что, если вина не в его силе? Что, если, напротив, это делает сила его противника? Что, если он возвращается к той же ситуации, к обстоятельствам, продвинувшимся каждый раз чуть дальше, потому что, как он ни упирается, его каждый раз тянет чуть дальше, куда хочет более мощная сила — более мощное желание, — против его воли, мучительно, дюйм за дюймом? И при этой мысли его охватывает холодная, тошнотворная уверенность. Он *знает.*

Я тебя сюда не дремать привезла, сказала она. *Чего это все удовольствия только Эллен?*

Это Джилли. Она и есть противник. Он слепец, что раньше этого не увидел.

Джек снова отодвигается, оставляя ее валяться на песке, приподнявшись на локте, и смотреть на него, как уже было десять или больше раз.

— Джек, у тебя кровь из носа…

— Ты знала, — говорит он, отползая по песку назад. — Когда я тебе сказал про свою силу, ты только притворилась, будто не знаешь, о чем я. Но ты знала. Знала, потому что у тебя сила такая же.

На лице ее — полное недоумение.

— Какая сила?

— Не ври! Ты знаешь, какая сила — ты ее использовала, когда я перевернул каноэ. Ты ее прямо сейчас используешь, чтобы было, как ты хочешь!

— Не понимаю, — возражает она и ползет за ним на четвереньках с тем соблазнительно приглашающим видом, который ему уже так знаком. — Ты не переворачивал каноэ. И мы оба этого хотим.

— Джилли, не подходи! Я тебя предупреждаю…

Он впервые замечает струйку крови у нее на ляжке, как некоторую параллель к собственному кровотечению, и это зрелище лишь усиливает замешательство и подавленность, но он не в состоянии отвести глаз.

— Да с чего это ты? — говорит она, продолжая двигаться. — Что случилось?

— Оставь меня в покое! — кричит он.

В ее глазах застывает обида.

— Но…

— Я серьезно! Хватит меня мучить! Я тебя ненавижу!

Сквозь обиду прорывается гнев и решимость.

— Ты сдрейфил, — говорит она. — После всего этого ты сдрейфил. — Губы ее сжимаются в ниточку, глаза прищуриваются. — Ну так я тебе не дам дрейфить!

Она хватает его за щиколотку.

И снова мир рассыпается и восстанавливается.

И снова он вспоминает и отползает прочь.

— У тебя кровь из…

— Вот! — кричит он, отползая по охлажденному в тени песку. — Ты только что опять!

Она смотрит на него, приподнявшись на локте:

— Что опять?

— Своей силой все поменяла!

— Какой силой? Джек, ты меня пугаешь!

— Не лезь, Джилли. Не трогай меня!

Но она трогает. Цикл повторяется.

И наконец, исчерпав свои аргументы, Джек вынужден признать, что она не лжет. Она действительно не знает. Джилли понятия не имеет, что она делает, что уже сделала. В отличие от него она не помнит. Но такого же не может быть? Как это у них одна и та же сила, но не та же способность помнить реальности, которые они создают и потом разрушают? Почему эти призраки сброшенных со счетов миров преследуют его, но не ее? Разве что…

Нет. Такого не может быть, Это нечестно. Он отшатывается от этой мысли, гонит ее.

Но мысль так же настойчива, как сестра. *Разве что сила у них совсем не одна и та же.* Разве что у них у каждого — своя сила. Или, может быть, единая сила разделена между ними, сила, которая, достанься она не близнецам, а одиночке, осталась бы целой, но между ними разделена: одна половина у Джилли, вторая — у него.

Что, если они не противники, а в каком-то непостижимом смысле партнеры?

Что, если у Джилли — сила менять историю, переделывать мир, а у него — только сила помнить эти перемены?

Сила? Скорее насмешка над силой, проклятие. А повезло Джилли.

И почему это его должно удивлять? Разве не была она всегда первой во всем? Лучшей во всем? Она умнее, сильнее, быстрее его. И удачливее — в «Мьютах и нормалах» ей всегда удается спасительный бросок. Он думал, что нашел наконец что-то, в чем она его не превосходит, умение, которым она не обладает. Что-то такое, что принадлежит лишь ему, что отделяет его от нее и от всех прочих в этом мире… или почти от всех. Но теперь Джек видит, как он ошибся. Он себя обманывал. В этом, как и во всем прочем, Джилли сняла сливки, а ему остался обрат. Вспоминая теперь прошлое, припоминая все проявления своей силы, начиная от волны, он вспоминает и то, что каждый раз при этом присутствовала Джилли. Это она была объектом нападения, и она отвечала инстинктивно. Она — угроза другим участникам той же игры, а не он. Если он выигрывал от тех или иных ее действий, то это из-за их близости, их общей связи, она тащит его у себя в кильватере, и даже не знает об этом. И не *хочет* знать. Единожды, когда он пытался ей рассказать (сбитый с толку собственной, оказавшейся неверной, интерпретацией), она весь эпизод стерла.

И вдруг он понимает, насколько она опасна. Ее сила — всего лишь половина той, которая должна быть: без умения помнить, что она делает, она никогда не будет знать, что может сделать. Никогда не узнает, какой силой обладает, тем более не научится

ею управлять. Ее сила всегда будет действовать по собственному капризу, включаться импульсами желания или страха, проявляться без последствий… без последствий, воспринимаемых Джилли. И он уже испытал — как раз сейчас испытывает — тот ужас, к которому это может привести.

Но она и беспомощна. В своем невежестве, в своем неведении, она — ходячая мишень для того, кто обладает силой во всей полноте. Может, он был неправ, считая ее своим врагом, но это не значит, что врага вообще нет. Или врагов. Игра идет убийственная, в этом он уверен, и Джилли понятия не имеет, что в ней участвует. Она даже себе представить не может грозящую ей опасность, и не поверит ему, если он попробует открыть ей глаза. То, что сила пока сохранила ее живой, еще не гарантия, что так будет и дальше, Джилли не может отбиваться… может только реагировать неосознанно, инстинктивно. Как когда его спасала. Вот когда, соображает он, все это началось. Когда он клюнул на ее подначку и поехал на волне… и утонул. Потрясение от его смерти, желание сделать так, чтобы этого не было — вот что пробудило в ней способность, дремлющую до того. Джек понимает теперь, что именно из-за него все и вышло: не пойди он кататься на той волне, ничего бы этого не было. Он обязан жизнью Джилли. А теперь из-за него в опасности ее жизнь. И что, сидеть и смотреть, как ее убьют? Или хуже того — сотрут из мира, и помнить о ней будет только он сам да ее убийца, и он один будет ее оплакивать? Нет! Пусть он не умеет творить чудеса, как Джилли, но из-за этой половинки силы он знает то, чего не знает она. И как-то должен защитить ее этим знанием.

Придя к этому заключению, Джек понимает, что надо делать. В следующий раз, когда возвращается память, он не отстраняется от Джилли, вообще не сопротивляется. Он заставляет себя остаться на месте, и его тело движется в такт ее телу, когда она качается над ним, закрыв глаза, на лице — полное сосредоточение. После первого мучительного мгновения это оказывается не так трудно. Вместо того, чтобы отдаваться на волю хаоса и эмоций, как прежде, позволить им захлестнуть себя и понести его тело, как лист на ветру, он удерживает тело. И теперь уносит его разум, кружит, выдергивает из тела, и связь ощущается тончайшей из нитей, будто он нашел свой путь в Сеть. Отсюда он наблюдает, как действует его тело, даже испытывает то же удовольствие — но далекое, ослабленное расстоянием, точно так же, как слышит свой едва различимый крик.

Когда все кончается, Джилли хлопается на него с хриплым вдохом, хихикает, и он проваливается в собственное тело. Потом ждет, пока затрепещут ее веки, раскроются, глаза вдруг сделаются

широкими, и она отшатнется:

— Джек… у тебя кровь из носа идет!

— Знаю, — говорит он.

— Господи, а что случилось?

— Думаю, увлеклись малость.

— Прости. — Она снова тихо смеется, потом, слезая с него, замечает собственную кровь. — Черт, да у меня ж тоже кровь идет! Не знала, что это такое грязное дело. Надо бы смыть перед тем, как еще раз.

— Еще раз? — Он садится, прижимая колени к груди. Сердце колотится.

— А что, тебе не понравилось?

У него внутри все трясется, как кусок мяса, разбитый в студень между молотом и наковальней.

— Надо домой вообще-то.

Джилли смотрит на часы:

— Черт возьми, уже больше пяти! Дядя Джимми нас убьет!

Это если я ему не помешаю, думает он.

* * *

Темнота. Темнота — и тупая пульсирующая боль. Секунда проходит, пока Чеглок вспоминает, что случилось. Потом он со стоном пытается встать, призывая на помощь ветер. Но гасящее поле еще действует, возникший ветерок лишь ерошит перья, и даже от него острые осколки боли пробегают по крыльям — такие резкие, что Чеглок боится снова потерять сознание. Он скулит, мучимый рвотными спазмами, покрывается испариной, в ноздри бьет вонь.

Кажется, проходят века, пока возвращается способность мыслить. Насколько он сильно ранен? Он знает, что селкомы уже работают, лечат его, но бывают повреждения, которые им не по силам, и тогда нужна помощь Святых Метателей. Но даже они не умеют лечить все. Он вспоминает старика Голубя с его изувеченным крылом. И его ждет та же судьба? Ему не удался спасительный бросок?

Мицар! Если слышишь меня, ответь, прошу тебя…

Тишина. Чеглок думает, не в гасящем ли поле здесь дело. Может быть, оно прервало его виртуализацию или затрудняет Мицару возможность с ним связаться.

Нет, скорее Невидимый молчит, просто чтобы его помучить.

Собрав волю в кулак, Чеглок встает на колени, упираясь руками, медленно, опасаясь боли, держа крылья абсолютно

неподвижно. И потом проверяет их по одному. Правое крыло отзывается болью, но объем движений кажется нормальным, ограниченным только невидимой стеной. Он убирает его, переходит к левому…

И вскрикивает под скрежет кости о кость.

На этот раз он теряет сознание.

Когда он приходит в себя, крыльев он не чувствует вообще. В панике хватаясь за них, он ощущает под пальцами не перья, а гладкую твердую оболочку, как полированная кость. Это селкомы, понимает он. Пока он лежал без сознания, они создали вокруг крыльев корку и омертвили нервы. Снова вспоминается Голубь и армия изувеченных мутантов на улицах Многогранного Города. Больше всего на свете он боится оказаться в их рядах, стать объектом презрения или — хуже того — жалости. Вот истинно Невидимые, думает он. Не потому что их нельзя увидеть — потому что мы их видеть не хотим.

Без боли в крыльях Чеглоку удается встать с легкостью. Хотя бы ноги его не предали. И он найдет, как отсюда выбраться, чем бы это *здесь* ни было. Отыщет дорогу к Моряне и друзьям, к подмоге, о которой Мицар говорил, что она уже в пути. Может быть, уже и прибыла. Может быть, его уже ищут. Но он не станет ждать, пока его найдут — вполне вероятно, что его ищут и нормалы.

А тем временем снова поднимает голову глубинная клаустрофобия эйра — не такая, чтобы с ней не справиться, но без нее он бы сейчас вполне обошелся. Хорошо бы свету немного. У него были свежие люмены в рюкзаке… который он где-то бросил. Раздув своей ослабевшей псиоником легкий вихрик, он посылает его наружу, как невидимый щуп, и натыкается сперва на рюкзак, лежащий на полу, а потом — на сплошной круг стен. Хилая замена зрения, но лучше, чем ничего.

Что, если выхода нет, и он в западне?

Чеглок заставляет себя подойти к рюкзаку не спеша. Если бы не гасящее поле, он бы его подтянул к себе мыслью. А сейчас приходится нагибаться, как какому-нибудь нормалу, чтобы поднять рюкзак с земли. Открыв рюкзак, Чеглок нашаривает знакомую продолговатую форму люмена, вытаскивает его и зажигает.

Без результата.

Другой люмен.

Тот же эффект.

И только тогда он вспоминает, что люмен, который он держал, задуло при нажатии зеленой кнопки. Значит, что-то такое вроде гасящего поля, подавляющее реакцию, от которой люмены

светятся.

Но он еще не побежден: у него в рюкзаке спички. Чеглок находит коробок, встряхивает его с приятным звуком, осторожно открывает, достает спичку и чиркает.

Искра вспыхивает, но спичка не загорается. В досаде Чеглок чиркает новой. На этот раз даже искры нет, хотя отчетливо слышен запах серы и фосфора. Третью он уже и не пытается зажигать. У него чувство, что можно извести целый коробок, но ни одна не зажжется. То, что гасит люмены, не дает гореть и спичкам.

Выругавшись, он отбрасывает коробок. Слышно, как тот падает на пол, отскочив от стены. Что ж, думает Чеглок, тоже достижение. Он идет вперед, чуть прихрамывая, вытянув руку, пока не касается стены — шершавой, холодной и мокрой. Положив рюкзак, он пускает в ход другую руку и ощупывает стену, проверяя все впадины и трещины. Закончив с этим участком, он делает шаг влево и начинает заново. Когда Чеглок доберется до рюкзака, он будет знать, что обошел полный круг. И что? Что тогда?

«Тогда и будем думать», — говорит он сам себе.

На шестом участке пальцы натыкаются на что-то, неприятно напоминающее желатин, и вязнут в нем. Чеглок, ахнув, отдергивает руку. Потом снова трогает это место, ощупывая вниз и вверх по стене: аномалия тянется от пола до потолка. Он снова сует пальцы в податливое вещество. Рука проходит до запястья — и высовывается в воздух с той стороны. Чеглок ее вытаскивает, слышен засасывающий звук. У него нет никаких догадок, как узнать, что на той стороне, не выдав своего присутствия тем, кто может там ждать — если он его еще не выдал. Но как мигающая зеленая кнопка не оставила ему выбора, так не оставляет и это вот открытие — приглашение, которое невозможно отклонить. Он всегда презирал антеховское оружие нормалов, но сейчас бы много за него дал. Без психоники он беспомощен, как голый. Впрочем, у него еще есть врожденные сила и быстрота эйра. Этого у него никакое гасящее поле не отнимет. И нож-трава. Эти острые стебли — потрясающее оружие. Он возвращается к рюкзаку, берет стебель, обдирает его слоистые ножны на ощупь. Потом, держа лезвие в одной руке, рюкзак в другой, находит желеобразный участок стены. Шепча про себя молитву Шансу Великому и Могучему, он проталкивается наружу…

…в темноту, неотличимую от той, что осталась позади. Он замирает, прислушиваясь, но слышен лишь шелест его дыхания и стук его сердца. Чеглок бросает вперед ветерок — тот развеивается, не встретив препятствий. Это означает две вещи:

здесь просторнее, чем было там, и гасящее поле никуда не делось. Его уже не удивляет, что здесь тоже не работают люмены и спички. И стена, через которую он прошел, теперь сплошная.

Назад пути нет, только вперед. Его ведут — но кто? И куда?

Есть только один способ узнать.

Движется он медленно. По-прежнему сжимая клинок, Чеглок на ходу опирается той же рукой о стену, ослабленной псионикой ощупывая пространство перед собой. Каждые несколько шагов он останавливается и слушает, затаив дыхание, но мало что из услышанного может подсказать ему расстояние или направление: завывающий шелест ветерка, звук воды, капающей в воду, шуршание мелких тварей, разбегающихся при его приближении. Иногда слышатся далекие голоса, но непонятно, не кажется ли это ему: стоит на них сосредоточиться, и они пропадают или превращаются в естественные здешние звуки. В воздухе ощущается запах сырости, как в шахте. Насколько он глубоко под землей? Ощущение темноты сильно колеблется: то ему кажется, что он в огромной пещере, тянущейся на мили, а мгновение спустя чувствует, будто стены давят на него, как внутренность саркофага.

С каждым шагом он боится, что земля уйдет из-под ног, и он, с обездвиженными крыльями, без психонических способностей, камнем рухнет вниз. Он представляет себе, как земля материализуется перед ним и растворяется позади, и только там, где он сейчас стоит, существует ее твердь… временно. Или, наоборот, кажется, что твердо всюду, *кроме* как вокруг него: пузырь воздуха движется вместе с ним через вселенную камня, одинокий, непрочный, неподконтрольный ему и неподвластный. *В нексусе,* говорила Полярис, *виртуальность выплескивается в физический мир.*

Он движется вперед, и темнота будто сгущается. Она как-то кажется связанной с его страхом. Или его страх и эта темнота — следствия одной и той же загадочной причины. Если бы только он мог выйти в Сеть! Потому что даже здесь, глубоко под землей, присутствует архитектура медианета: нервная система Орбитальных, которую показал ему Мицар.

И есть нечто, выше даже Орбитальных: Шанс. Или не столько выше, сколько в них самих… и в их отсутствии, соображает он, глубокое скрытое присутствие, пронизывающее все, как река, текущая через весь мир… только Шанс в отличие от реки живой и сознает себя — хотя не так, как сам Чеглок. Шанс содержит все, что было, есть и будет. И все, что может когда-нибудь быть. И все, чего никогда не было и не будет, — тоже. Эта глубоководная тьма, через которую он сейчас пробирается, — светлая лужица по

сравнению с ним. Так отчего же ее бояться? Если иметь достаточно веры в Шанс, то бояться ничего не нужно.

Столь огромен и всеобъемлющ Шанс, что все в мире равно пред ним несущественно — и по той же причине равно существенно. В священном танце возможностей и вероятностей, скрытости и проявлений, ничего для него не важно — и важно все. Непостижимо огромный и далекий, он мал и близок: так, понимает Чеглок, знак Шанса, лемниската, перекручивается и возвращается на путь, который ведет, как через ворота (разрез в шкуре времени и пространства), к своему собственному началу. Кости его, за которыми даже острый глаз эйра не может уследить, небрежно катятся, кувыркаясь, по этому пути, выпадают и исчезают числа, удаются и не удаются спасительные броски, и кто он и где он, все его знания и мечты, страсти и страхи, все это — лишь выражение результатов этих бросков.

И озарением, вспышкой, дрожащий от ужаса и благоговения, далеко вышедшими за пределы тьмы, что их породила, Чеглок постигает краеугольный камень теологии вероятностей. Он застывает как вкопанный, постигнув простую и невозможную истину, развернутую перед ним религией. *Есть отношения между ним и Шансом.* Разве не родился он в пересечении, в столкновении несчетных вероятностей? И то же верно для всего и всех, что есть в мире, от обыденного до чудесного. И кстати, для самого мира тоже. Для вселенной. Каприз Шанса придает им всем форму — но и они, в свою очередь, формируют каприз Шанса. В развивающейся формуле, результаты которой никогда не окончательны, но служат начальным приближением следующей итерации, его отношения с Шансом не менее (хотя и не более) важны, чем чьи-либо другие. Его значение равно значению всей вселенной. И при том он, как вся вселенная, существует лишь как флуктуация, эфемерное проявление вероятности, удачи, а не выражение созидательной воли какого-нибудь там трехликого бога нормалов.

Это просветление? — думает Чеглок. *Я сделал свой спасительный бросок?*

И самое странное, что это пугает его еще больше, но страх теперь иного рода. Этот страх не парализует. Этот страх не постыден. Конечно, он понимает, что лишь большой глупец, если не полный безумец, может воспринимать вездесущность великого и могучего Шанса без трепета. Он ощущает восторг и смирение, будто сейчас засмеется или расплачется, или то и другое разом. Темнота не рассеялась, но как-то стала менее ощутимой. Краем глаза он улавливает проблеск цвета и мелькание формы, но те тут же исчезают, стоит к ним присмотреться.

Это галлюцинации, порождения разума, лишенного света? Или симптомы, что он тоже заразился?

Или что-то совсем иное?

Вспоминая, что показал ему Мицар в реальности Сети, Чеглок спрашивает себя, не приоткрыли ли его ужас и вера щель в двери, закрытой для него и его расы? Возможно ли такое?

Мицар ему сказал, что он не такой, как все. Что, согласно костям Святых Метателей, спрошенным при его рождении, у него есть сила формировать будущее, к добру или к худу. Не об этом ли тогда говорил Мицар? Эйр, способный сам себя виртуализовать, быть может, подобно тельпу, виртуализовать других… Шанс! Его молнией поражает мысль, что он может оказаться первым из новой расы мьютов, что Второе Становление, столь давно предсказанное, наконец произошло.

Знал ли об этом Мицар или подозревал? Потому он отделил его от других и привел сюда, раненого, окруженного темнотой, лишенного псионических сил? И все для того, чтобы он, по замыслу Мицара и по капризу Шанса, мог бы сделать свой спасительный бросок?

Это так, Мицар? Отвечай, Шанс тебя побери!

Ответа нет.

Если само молчание — не презрительный ответ тельпа.

Но если Мицар ему больше не нужен? Если и не был нужен никогда?

Что, если он может открыть дверь в Сеть здесь и сейчас?

Сполохи цвета все еще движутся в темноте. И это все, что ему нужно для работы. Он не пытается зафиксировать их в пространстве или в мысленном зрении, не пытается изучать под микроскопом рассудка. Он позволяет им плавать, как они хотят, исчезать и появляться, как пылинкам в солнечном луче. Он дает разуму опустеть, пока не исчезает различие между цветами и силуэтами, плывущими сквозь него, и его собственными мыслями. Пока он сам не начинает плыть с ними, кувыркаясь сквозь темноту, как спутник в космосе, яркой нотой в симфонии движения, ритмической структурой, протянутой сквозь множество масштабов и смыслов. Гармонии сходятся, диссонансы схлестываются, образы появляются, развиваются, исчезают и появляются вновь, как вариации темы. Чеглок не знает, то ли это порядок возникает из хаоса, то ли хаос поглощает порядок, но что бы это ни было, это прекрасно и страшно, будто заглядываешь в глаза самого Шанса. И как легко утонуть в этой глубине, раствориться в этом танце! И это больше, чем метафора. Он чувствует, как это происходит, будто его тело, его сознание становится нематериальным, тает в темноте, сливается с

музыкой… будто соблазненные ею его селкомы разбирают тело по атомам.

А почему бы и нет? Он же в нексусе все-таки, там, где субстанция переходит с мыслью в тень, а тень — в субстанцию.

Чеглок ощущает момент панического страха, впрыск адреналина прямо в сердце. Он чувствует, как оно тяжело бьет изнутри в грудь, и это ощущение ударом тока выдергивает его из забытья. Но не разрушает чары до конца. Он скорее как спящий, которому снится, что он бодрствует, и в этом бодрствовании он знает, что спит. Он оказывается в двух мирах сразу, верхом на барьере между Сетью и физической реальностью.

Как тогда, с Мицаром, он воспринимает архитектуру медианета во всей ее сложности, ослепительном блеске, тянущуюся за пределы горизонта… но это зрение — проявление его собственной силы, его собственной воли. Он с трепетом созерцает зрелище селкомов и вирусов, переносящих информацию по сияющим нитям электромагнитных и биотронных сил, мелькающих в Сеть и обратно, словно щепки на белых барашках волн вероятности, видит, как они орудуют строительными блоками материи, жизни, некоторые со слепой предприимчивостью насекомых, другие с явным искусством и разумом. Инстинктивно Чеглок рисует знак Шанса. Лемниската вырезается в темноте, будто нож-трава у него в руке — полузабытый стебель — куда острее, чем вообще может быть. Острый край рисует жемчужно-белое сияние, и в нем видна его рука, как призрачное продолжение, из нее растет клинок травы, будто чтобы нарисовать узор разрезов.

Это сделал он. Он, Чеглок из Вафтинга.

Ощущение торжества бурлит в нем, смывая все остатки неверия. Силы тельпа ему подвластны… и здесь, в этом месте, это означает, что реальность подвластна ему тоже. Он это знает совершенно точно, он сам становится живым нексусом.

Погружая острие нож-травы в сверкающую рану темноты, он распиливает разрез, расширяет. Потом, сбросив рюкзак, он протягивает руку, хватает свободно висящую полу разреза, ощущает ее бархатную прохладу и теплый поток света, как поток крови, а потом решительно берется за нее и тянет. Темнота рвется, словно бумага, открывая рваные края дыры пульсирующего света. Он слишком чист, слишком ярок, чтобы в него смотреть, словно молочная внутренность кучевого облака, диффузно подсвеченная лучами полуденного солнца.

Из ослепительного сияния доносится знакомый писклявый голос.

— Грубо, но неопровержимо действенно. Все же ты сильно

растягивал удовольствие.

Чеглок чуть не выпускает из руки нож-траву.

— Мицар? Это в самом деле ты?

— А ты кого ждал? Плюрибуса Унума?

Услышать голос святого Христофора из средоточия света — самое неожиданное из всего, что пока что случилось с Чеглоком. Но это же и самое желанное: значит, прибыла группа эвакуации.

Лишенный тела голос раба-нормала нетерпеливо зовет:

— Твои приятели ждут тебя. Иди посмотри!

Подобрав рюкзак, Чеглок шагает в свет.

Вслед кувырком

Уже почти семь на дворе, когда Джек и Джилли подъезжают на велосипедах к дому на Бейбери-роуд. Они устали, все мышцы ноют, от тел идет пар в душноватом сумеречном воздухе. По дороге они поставили рекорд скорости на велосипедах, уверенные, что дома их ждут неприятности в лице дяди Джимми, и чем дольше они задержатся, тем эти неприятности будут серьезнее. Но вопреки их страхам дядя Джимми не расхаживает по террасе, как лев, готовый прыгнуть. Не вылетает он из дому бурей, когда они спешно слезают с велосипедов. Не видно ни его, ни Эллен, хотя многоцветный «жук» стоит на дорожке, словно машина-клоун, получившая отпуск из цирка.

— Интересно, где они, — говорит Джек.

— Телевизор смотрят или еще что-нибудь, — отвечает Джилли, и тон ее не оставляет сомнения, что это за *что-нибудь*. — Пошли поставим велики. И потише.

— Не слишком тихо. А то можем случайно на них напороться в разгаре *чего-нибудь*.

— Трезвая мысль.

Громко болтая о всякой ерунде, они закатывают велосипеды мимо машины дяди Джимми в цоколь дома, где со стуком прислоняют к стенке. И на всякий случай хлопают дверью, выходя.

— Это должно помочь, — говорит Джилли, понизив голос и сбрасывая рюкзак. — Я прямо в душ. Принесешь мне чистое?

— Принесу.

— И чистое полотенце. А вот это захвати с собой.

Она сует ему в руки рюкзак и по прямой летит в душевую кабинку.

Джек топает вверх по лестнице, открывает сетчатую дверь и проходит по веранде. Скользящая дверь широко открыта. Он сбрасывает покрытые коркой песка и грязи кроссовки и засовывает голову в дом.

— Есть кто живой?

Единственный звук — вода, льющаяся внизу в душе. Ощущение пустого дома, которое ни с чем не спутаешь. И это странно, потому что единственное, что в этот день осталось постоянным, так это то, что в семнадцать тридцать они с Джилли должны были оказаться дома. Дядя Джимми отнюдь не помешан на правилах, но он настаивает, чтобы ужинали все вместе, и обычно это происходит примерно сейчас. Так что очень странно отсутствие его и Эллен. Заглянув в кухню, Джек видит кипящий

на плите котелок с водой. На кухонном столе — приготовленная к варке кукуруза. Стало быть, Эллен и дядя Джимми где-то рядом. Машина стоит на дорожке — значит, они могли пойти пройтись, на пляж, например. А, нет — на рыночек морепродуктов на той стороне шоссе № 1, чтобы добавить чего-нибудь к кукурузе. Совершив эту дедукцию, Джек улыбается до ушей: ею бы гордился сам Холмс.

Так что есть шанс, что ему выпало несколько минут для себя. Он бегом взлетает по винтовой лестнице, шлепая босыми ногами по металлическим ступеням, в спальню, которая у них с Джилли одна на двоих, пока дядя Джимми здесь. Закинув рюкзак Джилли на верхнюю койку, он со стуком сбрасывает свой на пол. Потом крутит плечами, ежась на холодном ветерке, задирающем выцветшую занавеску на открытом окне, словно пустой рукав платья. Все тело ноет и снаружи, и внутри. Такой избитости он не ощущал с той минуты, как открыл глаза на пляже и увидел стоящую над ним Джилли, ее перекошенное болью и гневом лицо, исхлестанное дождем, брызгами и мелкой песчаной пылью, поднятой ветрами Белль. Тогда впервые Джилли применила свою силу… и он в первый раз применил свою, запомнив отмененную реальность… хотя тогда он не понял, насколько это важно: что память, как его унесло в море — реальная, и уж точно не понял, что это память о том, как он утонул.

Зато теперь он *знает,* знает все это и больше того. Как-то оно было по-другому, когда он знал, что у *него* есть богоподобная власть над жизнью и смертью, над самой реальностью. Мысль, что это он, пусть бессознательно, дергает за ниточки, позволяла проще принять неимоверность самого факта и вынести ее. И даже пугающее знание, что он — объект нападения, что это его пытаются вычеркнуть из мира, было приемлемо, поскольку он тогда верил, что его сила вмешается и защитит его… и даже обеспечит ему победу, в конце концов. Чувство было такое, как когда он ехал на волне, до того, как она его сбросила: он цеплялся за что-то большее, чем он сам, за что-то, что при всей своей силе держало его на ладони и не дало бы упасть.

А теперь эта уверенность, эта вера остались в прошлом. Исчезли, когда Джилли одолела его силой не единожды, а много раз, забила его до покорности, хотя, конечно, ничего этого не помнит: для нее реальна только окончательная итерация, в которой сопротивление его рассыпалось, обернулось согласием, помощью. Но он помнит каждый отдельный акт насилия, для него они все реальны, и каждый живет в своей реальности, на малую долю не в фазе с остальными. Все это время, пока они быстро одевались, потом гребли обратно к «Наживке и снастям», потом

гнали велики домой изо всей силы, он был как персонаж из мультика, который выбегает за обрыв и бежит дальше вопреки земному тяготению, пока не глянет вниз. И вот этот момент настал — нежеланный и неизбежный.

Как будто пол комнаты исчез, выдернулся из-под ног без предупреждения, как та волна вдруг рухнула под ним. Или на самом деле не исчез, но стал быстро падать, будто лифт с обрезанным тросом. Желудок судорожно устремляется вверх, и Джек со стоном опускается на пол, стуча зубами, трясясь всем телом, кости у него леденеют. Он вцепляется пальцами в рюкзак, прижимает к животу и сворачивается вокруг него, будто рюкзак может его согреть, защитить. Никогда не было ему так одиноко, никогда он так не сознавал свою беспомощность и ничтожность. Как же мало он значит! И хилое его участие в проявлениях силы Джилли кажется проклятием. С тем же успехом он мог бы быть фотоаппаратом, записывающим устройством, а не человеком. Тогда бы он хотя бы ничего не чувствовал. А так каждая отвергнутая реальность остается жить у него в памяти, столь же отчетливая, как испытанное в том мире, где он обитает теперь. Эти реальности не мертвые, застывшие изображения, вклеенные в какую-то кладбищенскую книгу разума. Они для него живые, призраки из плоти и крови. Его присутствие здесь и сейчас — точнее, в этом конкретном *здесь и сейчас* — не более важно, чем в любом из предыдущих *здесь и сейчас,* потому что это — тоже временное и обречено рано или поздно перейти в бесполезный театр его памяти, чтобы разыгрывать свою бесконечную пьесу перед пленной публикой из одного зрителя… пока не придет время, ведь должно же оно прийти, когда мир будет существовать дальше, а он, Джек — не будет. И станет так, будто Джека Дуна никогда и не было… и будто никогда и не было ни одной из других реальностей… или были в той степени, в которой их помнят люди с той же способностью, что у него. Противники, чье присутствие он ощущал. Кто они? Как и он сам, меньшая половина из двух близнецов?

И дядя Джимми — один из них?

Он вспоминает замечания дяди Джимми за завтраком насчет близнецов и одиночек, когда говорилось, что гораздо больше людей принадлежат к выжившим близнецам, чем они сами думают. Не говорил ли он о себе?

А что, если такие выжившие половинки — не все, но некоторые, — владеют целиком этой восхитительной силой, столь не поровну, несправедливо поделенной между ним и Джилли? Что, если на самом деле они с Джилли — флуктуация, случайный выверт? Что, если Джилли должна была поглотить,

переварить его еще в утробе, присвоив себе его долю силы?

У Джека тошнотворное чувство, что он прав. Ведь почти всегда, в 99,9 процентах случаев, именно так оно и происходит. Только вот на сей раз, непонятно по каким причинам, случилось иначе. Он победил Шанс, сделал свой спасительный бросок.

Но вот именно потому они с Джилли родились калеками, плохо приспособленными для борьбы с другими представителями той же породы: выжившими половинками, парадоксально сохранившими целостность.

Джилли обладает властью ретроспективно менять реальность… но у нее нет памяти о применении этой силы, и уже одно это не позволяет ей пользоваться силой сознательно и намеренно. А он, обладая памятью, бессилен воспользоваться властью, чтобы сформировать цепочку реальностей, которые необузданная сила Джилли вызывает к жизни. А другие обладают обеими половинками силы — умением действовать и умением помнить — и действуют эффективно, потому что память им позволяет судить об успехе или неудаче действия и его корректировать. Они могут учиться на ошибках, планировать, играть в эту игру естественного отбора с холодной и смертельной сосредоточенностью, о которой Джеку и Джилли даже мечтать не приходится. И неизвестно, не лучше ли у них развита способность помнить эти чуть-не-в-фазе, почти-но-не-совсем-зеркальные реальности. Его способность не выходит за рамки того, что испытал он лично. Он не помнит реальностей, в которых не присутствует, а те, которые помнит — хотя, конечно, и другие люди в них есть, — проходят через фильтр его опыта. Опыт других в его воспоминания не попадает, он не знает, что они думают или чувствуют, чем их восприятие отличается от его восприятия. А тогда не является ли для каждого человека его личный опыт отдельной реальностью? Или они все сливаются, образуя реальность всеобъемлющую: запутанный калейдоскоп одновременно существующих углов зрения, как на картине кубиста? А что если, когда он ограничен только собственной перспективой, противники видят картину в целом? Это дает им еще большее преимущество, чем у них и без того есть, в попытках стереть его, Джека, из мира. Но вот прямо сейчас он бы почти обрадовался, если бы его стерли. Забвение имеет свои приятные стороны. Он бы не должен был знать или помнить. Или чувствовать.

Только это был бы не просто он. Не его одного вычеркнули бы из мира. Его устранение было бы случайным: он ни для кого не представляет угрозы. Угроза — Джилли. Истинная мишень — она. А он лишь разделит ее судьбу: их связь близнецов это

обеспечит.

А если не разделит? Если в один прекрасный день он очнется от счастливого неведения, и кровь нового возрождения будет капать у него из носа, а он окажется в мире, где нет. Джилли? В мире, где он — одиночка и всегда был одиночкой? А его близнец подвергся выкидышу или рассосался в утробе?

Или, думает он с содроганием, она никогда и не была зачата. Мир, в котором нет и не было Джилли… а в его памяти о других мирах, не менее реальных, но уже не существующих, она останется. Как ему тогда жить дальше, терзаемым этими не-просто-воспоминаниями, и вечно гадая, не дядя ли Джимми это устроил? И даже если игрой случая сила после этого станет полностью принадлежать ему, объединенная, переданная какими-то непонятными законами наследственности, — даже эта сила того не стоит. Она может вернуть мертвого к жизни, но не может вернуть — точнее, создать — того, кого никогда не было. Это он знает инстинктивно, чувствует с ужасной уверенностью всем нутром. В конце концов, это же и есть конечная цель игры: устранить других игроков. Самое большее, на что он сможет тогда надеяться — это месть. Устранить дядю Джимми, или того, кто устранил Джилли, пока не устранили его самого…

Но несравнимо хуже было бы просто забыть ее. Потерять тот осколочек силы, которым он владеет, и навсегда погрузиться в неведение. Жить дальше так, будто Джилли вообще никогда не существовала, не оплакивать ее и даже не подозревать, что когда-то в его жизни была сестра, близнец, второе «я». Остаться навеки уменьшенным, изувеченным, даже не зная этого, думать, что всегда был одиночкой в мире одиночек. И если это работа дяди Джимми, то даже не подозревать об этом. Не испытывать к нему ненависти, не мечтать заставить его за это заплатить. От этой мысли Джека скручивает презрение и ненависть к самому себе, будто даже вообразить такую судьбу — значит стать со-виновным в ее осуществлении. Быть заранее виновным в непростительном предательстве, в помощи палачу своей сестры. Кажется, его сейчас стошнит… но приступ тошноты проходит, оставив ощущение опустошенности, да такой, что хочется только закрыть глаза и лет сто проспать.

Только нет у него в запасе ста лет. Может быть, и ста минут нету. Для него, для Джилли, эта игра может закончиться в ближайшую секунду. Противники уже здесь, уже подкрадываются. И главный среди них, небось, дядя Джимми. Джек должен что-то сделать, как-то защитить Джилли, но как? У него нет иного оружия, кроме памяти.

Он заставляет себя отпустить рюкзак и с трудом встает на

ноги: дядя Джимми и Эллен скоро будут дома. Сжав кулаки, чтобы унять дрожь в руках, он выглядывает из окна и смотрит, как собираются тени в верхушках сосен, ползут вверх по зернистому шиферу серых крыш соседних домов. Ночь не падает с неба, она всползает с земли, выступает из почвы медленным подъемом, темная, словно кровь. Небо на востоке — как чаша, ждущая, чтобы ее наполнили, сиреневая эмаль ее краев выщерблена и поцарапана местами, и под ней виден фаянс — опалесцирующе-розовый и белый, словно ангельское крыло, и кажется, что она готова сгореть дотла в косых лучах умирающего солнца. Джек хочет быть ради Джилли сильным и храбрым, но не может. Это просто не его. Он слишком хорошо знает, что их ждет… и в то же время слишком плохо. Ах, если бы он был больше похож на Чеглока! Эйр положился бы на веру в Шанс, метнул бы кости и сделал бы все, что в его силах.

Но разве он не Чеглок? Если он может играть этого персонажа в «Мьютах и нормал ах», почему не сыграть его в этой игре, которая называется жизнь? Быть Чеглоком — привычка ума, такая же, как всякая другая.

Не обязательно быть Джеком Дуном, чтобы стоять перед этим открытым окном. И чтобы отвернуться от окна и пойти через спальню к комоду, тоже не обязательно быть им. И это Чеглок из Вафтинга может открыть ящик комода и взять одежду, которую просила Джилли. И Чеглок отнесет ее вниз. Чеглок, который сделает то, чего не может сделать Джек.

Который сделает то, что должно быть сделано.

* * *

Стены коридора, куда попадает Чеглок, молочно-белые и гладкие, как стекло. В сотне футов от него стоят соединенные фигуры Мицара и святого Христофора, оба лица — загорелое красивое лицо раба и чуть повыше — изуродованное лицо хозяина в повязке на глазах — приветливо улыбаются. Мицар одет в потрепанный военный китель, в котором он был на площади Паломников, пустые рукава приколоты к бокам, повязка так же грязна, а вот нормал сменил грязную упряжь и драные штаны на упряжь и брюки из черной кожи, отполированной до глянцевого блеска. Ноги его уже не босы, а обуты в гладкие кожаные сапоги. Тонкая шпага с серебристой резной рукоятью висит на поясе. Вопреки прежнему презрительному и жестокому отношению тельпа к святому Христофору кажется, что он все-таки способен гордиться внешностью своего раба. Но скорее, думает

Чеглок, этим физическим контрастом между ними Мицар просто подчеркивает глубину падения нормала, бывшего придворного Плюрибуса Унума.

Бросив рюкзак на пол, Чеглок оглядывается через плечо, через острый край иммобилизованного крыла. За спиной — только пустая белая стена. Ворота закрылись. И с ними закрылась связь с Сетью. Недоумевая, он поворачивается обратно к тельпу:

— Что тут происходит, Мицар?

— Знаешь, у меня какая-то странная нелюбовь отвечать на вопросы под наставленным на меня ножом, — отвечает Невидимый через святого Христофора, чьи разные глаза оба смотрят на клинок в руке Чеглока.

А он и забыл, что держит нож. Но и бросать тоже не спешит.

— Я его не буду убирать, если не возражаешь. На случай, если нарвемся на нормалов.

После краткого молчания тельп пожимает плечами.

— Как тебе хочется, — говорит нормал.

Он поворачивается и идет по коридору, сделав Чеглоку знак следовать за ним.

— Куда мы идем?

Голова Мицара в повязке поворачивается к Чеглоку, а голос святого Христофора, по-прежнему глядящего вперед, произносит:

— Ты что, уже забыл свою пентаду?

— Нет, конечно. — Чеглок подбирает рюкзак и догоняет Мицара. — Как они?

— Не стану тебе врать. Когда мы их нашли, они уже поддались действию вируса.

Ничего неожиданного он не сказал. Но услышать подтверждение своих страхов все равно больно.

— В смысле — «поддались»? Они…

— Нет, они живы. Но без сознания и парализованы.

— Шанс! А… — Он почти боится спросить. — А Моряна?

— Она тоже. Их селкомы заключили тела в защитную оболочку, вроде как у тебя на крыльях… но этим мы тоже займемся.

Чеглок едва отмечает это обещание помощи.

— А под оболочкой селкомы пытаются драться с вторгшимся вирусом. Положение критическое, так что мы держим их здесь, в карантине. Хочу, чтобы ты знал правду: вирус силен. Выживут они или нет — зависит от Шанса.

Святой Христофор останавливается перед участком белой стены. Подняв руку, он рисует на ней лемнискату, и стена открывается, как диафрагма. Мицар проходит внутрь, Чеглок следом за ним, в коридор, сперва неразличимый.

— И даже если они выживут, — продолжает флейтой голос нормала, — может иметь место системное повреждение. Я не хочу сказать, что надежды нет, всегда возможен спасительный бросок. Но будь готов к худшему.

Чеглок вспоминает Моряну, ее прощальный поцелуй, горячечные губы. Ноги у него слабеют, и он останавливается, прислонившись к стене.

Святой Христофор останавливается рядом с ним.

— Этот нормал силен, пусть он тебя поддержит, как держит меня.

— Я в порядке.

Переливчатый смех святого Христофора сопровождается безмолвным оскалом Мицара, обрубок языка ворочается за идеально белыми зубами.

— Как всегда, горд и упрям. Все ещё настоящий эйр. Я-то надеялся, что время, проведенное там, в темноте, послужит тебе полезной розгой.

Нормал пожимает плечами и идет дальше.

Проглотив раздражение, Чеглок спешит за ним.

— А что там со мной случилось, «в темноте», как ты это назвал?

— А как ты думаешь?

— Я видел медианет в работе. Наблюдал поток информации и вещества между Сетью и физическим миром. Селкомы и вирусы делали то, что я говорил им. Я открыл вроде как шлюз и возник здесь, где оказался ты.

— Таковы свойства нексуса и возможности тельпа в нексусе.

— Но я, как ты уже напомнил, эйр.

— И какой вывод ты можешь сделать из этого несоответствия?

То, что было совершенно ясно миг назад, кажется намного менее вероятным, когда надо произнести это вслух.

— Одно объяснение — это что я обладаю способностями тельпа в дополнение к способностям эйра, — говорит он, осторожно выбирая слова.

Соображения насчет Второго Становления он решает пока оставить при себе.

— Действительно, одно объяснение.

— Если у тебя есть другое, я бы не против его услышать.

Тельп и нормал наклоняют головы в пародии на вежливость:

— Вероятно, ты был виртуализован, и твои действия направлял тельп.

— Ты хочешь сказать, что все это время меня вел ты?

— Я не единственный в мире тельп.

— Ты можешь мне хоть раздать прямой ответ?

— Не ответы кривы, а вопросы.

Воцаряется угрюмое молчание, а тем временем святой Христофор, еще раз сделав знак Шанса, открывает путь в третий коридор, неотличимый от первых двух. Насколько может судить Чеглок, это и есть тот же коридор. Ему кажется странным, что им до сих пор не встретились другие мьюты, и наконец он спрашивает Мицара о команде эвакуации.

— Одни занимаются твоей пентадой, другие сторожат от вторжения врага.

Тут Чеглоку приходит в голову мысль:

— А почему ты сейчас говоришь со мной через святого Христофора, а не прямо в голове, как раньше?

— Наконец-то стоящий вопрос! Причина проста: мы в сердце нексуса. Такие места — мертвые зоны в смысле псионики. Слепые пятна медианета.

— Как глаз урагана?

— Подходящая аналогия. Здесь и ты, и я беспомощны, как нормалы.

И верно: Чеглок не может поднять и ветерка. Никогда раньше, даже под самым суровым гасящим полем, не ощущал он такого полного отсутствия псионики. Это как-то очень неуютно и почти нереально.

— Селкомы, — говорит святой Христофор. — Вот на чем работает псионика. Силы эйров, шахтов, салмандеров, руслов и тельпов — все это манипуляции селкомов, будь то создание эффектов стихии, или виртуализация, или просто чтение мыслей. Ты этого не знал?

— Подозревал.

— Да, трудно отрицать правду, когда видишь ее своими глазами. Мьюты презирают нормалов за их зависимость от антеха, но если вдуматься в суть, псионика тоже вид антеха. И об этом тельпы всегда знали.

— И держали про себя.

Одновременное пожатие плеч нормала и тельпа.

— В сердце нексуса селкомов нет… кроме тех, которые мы несем в себе, конечно. Но нет ни одного снаружи, которым могли бы командовать способности мьютов.

— Как же ты тогда управляешь святым Христофором?

— Псибертроника.

— Вот эта шпага? — предполагает Чеглок.

— И упряжь.

Он качает головой:

— Странно, что такое место построили мьюты. Место, где

наши врожденные способности бесполезны, а антеховские устройства нормалов отлично функционируют!

— Ты прав. Но дело в том, что мьюты не строили всего этого, и другие такие же нексусы — тоже.

— Но Полярис говорила…

— Тельп низшего уровня знает и секреты низшего уровня. На самом деле нексусы были построены нормалами еще до Вирусных Войн. За много лет Коллегия освоила некоторые из них, например, вот этот. Несмотря на определенные недостатки, они нам полезны.

— Чем полезны?

— А вот эти сведения куда выше твоего уровня! Достаточно сказать, что только в нексусе тельпы могут исследовать полный потенциал своей псионики. И только в сердце нексуса тельп может на время уйти от гнетущего внимания Орбитальных… и своих соплеменников. Только здесь можем мы выйти за ограничения медианета и испытать спокойствие одинокого умственного созерцания собственных мыслей. Но твою пентаду направили сюда ради иной цели.

— Чтобы уйти от нормалов.

— Это можно было бы назвать причиной низкого уровня. За ней стоит другая. Можешь ты ее угадать?

— Как?

Святой Христофор смеется — лисьим лаем. И останавливается. Оба лица его смотрят на Чеглока, как одно:

— Чтобы выявить шпиона. Сперва заставить его проявить свои усиленные психонические способности, потом поймать его там, где эти способности бесполезны.

— Ты хочешь сказать, что вы поймали шпиона?

— Поймали.

— Так кто же это? Постой — ты сказал «он»? Не Феникс! Значит, это Халцедон?

— Это тот, кто не инфицирован.

— Но мы же все инфицированы!

— И ты? — Оскал на изувеченном лице Мицара. — Брось, Чеглок. Хватит отрицать очевидное. Шпион — ты.

У Чеглока гребень на голове встает дыбом, челюсть отвисает, и он глядит в стоящие перед ним два лица, ища какой-то признак смысла… или скорее бессмыслицы, ведь все это может быть очередной мерзкой шуткой Мицара. Но не видит такого знака.

— Я не шпион! — выпаливает он.

— Факты говорят обратное.

— Какие факты?

— Когда тебя отделили от других, ты проявил способности

тельпа в дополнение к способностям эйра. Только у шпионов нашего врага, нормалов в обличье мьютов, могут быть психические способности двух рас сразу.

Чеглок решает, что настало время поделиться своими подозрениями.

— Есть и другие объяснения, Мицар.

— Например?

— Второе Становление.

Губы Мицара кривятся в презрительной усмешке, а святой Христофор говорит:

— Ты меня считаешь дураком?

— Ты сам сказал, что кости Святых Метателей указали на особую цель моего рождения. Это доказательство. Двойная психоника — признак, что началось наконец Второе Становление!

— Я предпочитаю менее причудливые объяснения. Далее, вопрос еще с этим нормалским вирусом. Ты один из всей пентады избежал заражения — что само по себе подозрительно.

— Если так — а я еще этого не знаю, — это может значить, что у меня против него иммунитет.

— Именно, потому что ты и есть носитель этого вируса. Ты и есть источник инфекции!

— Тогда я его и тебе наверняка передал бы.

— Вряд ли. Вирус передается половым путем.

— Но мы соединили палатки с Моряной! С остальными я спал только один раз!

— Этого вполне достаточно. И вирус оставался латентным, покаты не завел их в засаду. Тогда его активизировал сигнал, скрытый во взрыве. После чего способом, который нам еще предстоит определить, ты связался со своим нормалским начальством, которое выслало группу эвакуации. Ты будешь это отрицать?

— Это чистая фантазия!

— Ты не признаешь себя виновным?

— Я действительно невиновен! Это абсурд. Никакой я не нормал. Я родился в Вафтинге!

— Эйр по имени Чеглок действительно родился в Вафтинге, как это отражено в записях. Но ты — не он.

— Вот уж удивятся мои родители!

— Они не твои родители.

— Ладно, приемные родители. Признаю, что я инкубаторский. Но это еще не значит, что я — шпион.

— Ты родился нормалом у родителей-нормалов в Империи Истинных Людей. Там, после многих лет тщательного обучения обычаям Содружества и образу жизни эйров, тебя заразили

экспериментальным вирусом, который придал тебе внешность и психонические возможности эйра, а также возможности тельпа. Далее ты, неся в себе еще один экспериментальный вирус, назначение которого мы как раз сейчас определяем, проник в Эйрленд, перехватил настоящего Чеглока и его родителей по пути в Мутатис-Мутандис, где Чеглоку предстояло пройти Испытание. Ты их хладнокровно убил и принял имя Чеглока. Видишь, нам почти все известно. Можешь сам рассказать остальное.

Чеглок не может сдержать смех.

— Ты спятил! Мои родители живы; я не нормал. Виртуализуй меня, прозондируй разум, и сам увидишь, что я говорю правду!

— Не волнуйся, так или иначе, а правду мы от тебя добудем.

Либо Мицар совершенно спятил, думает Чеглок, либо его кто-то подставил. Настоящий шпион подставил. И кто это может тогда быть, кроме самого тельпа?

Это так очевидно, что даже непонятно, как он раньше не понял. Мицар его дурачил с самого начала. Но больше дурачить не будет. Пусть псионика в сердце нексуса бесполезна, но врожденные сила и быстрота своей породы у Чеглока осталась. У Мицара есть неизвестное преимущество в виде его псибертронных устройств: меча, упряжи и, конечно, синего антеховского глаза святого Христофора. Нет времени ни размышлять, ни строить планы: если он хочет остаться жив, надо действовать. По крайней мере преимущество внезапности на его стороне. Швырнув рюкзак в святого Христофора, он бросается вперед, размахивая нож-травой, как кинжалом.

Нормал отбивает рюкзак в сторону небрежным движением руки.

— Этим ты объявил себя виновным.

Мелькает серебро, и шпага — точнее, рапира с тонким и гибким лезвием — появляется в другой руке.

Чеглок отступает, отметив, что быстрота святого Христофора усилена какими-то из его устройств.

— Виновным я объявил тебя, Мицар. Шпион — ты. Дурак я был, что раньше этого не понял!

— Что ты дурак, я признаю.

Острие рапиры устремляется к горлу Чеглока.

Он парирует выпад стеблем нож-травы, но наступать не решается. Святой Христофор освобождает оружие движением кисти, переводит клинок и тут же снова делает выпад. Чеглок отпрыгивает, видит, как острие на волос проходит мимо его груди, видит, что противник открылся, начинает рипост, направленный в подставленное плечо нормала… и успевает сообразить, что если выполнит это движение полностью, ему

конец. Он отдергивается, делает шаг назад и ощущает осиный укол в наружную поверхность бедра. Первая кровь! Он даже не видел удара, но и не глядит на рану: опыт подсказывает, что это не более чем царапина. И все же урок ясен: при всей своей быстроте он не подберется к нормалу на расстояние укола, не заплатив за это. Теперь он может только защищаться, изучая стиль своего противника и надеясь обнаружить брешь в его защите. В другой ситуации Чеглок глядел бы в глаза оппоненту, чтобы предугадывать его движения, но такой подход здесь бесполезен. Его настоящий противник — Мицар, дергающий за ниточки святого Христофора, и глаза Мицара скрыты повязкой. Чеглок сосредоточивает внимание на кисти нормала, на постановке его ног, и ждет следующей атаки.

Она обрушивается на него градом рубящих и колющих ударов, каскадом хитрых финтов. Чеглок не пытается устоять на месте, он отступает по коридору, парируя удары, уклоняясь, и клинок нормала свистит со всех сторон, пародируя утраченное господство Чеглока над ветрами. Псибертронный контроль Мицара кажется таким же полным, как психоническая виртуализация, в движениях святого Христофора не ощущается неуверенности, его атака разворачивается с изяществом и координацией, которые были бы поразительными, даже если бы на его спине не висело туловище Мицара. Чеглок вынужден признать, что противник превосходит его искусством, и даже будь у него сейчас в руках шпага вместо стебля нож-травы, он все равно был бы в стесненном положении. Теперь он понимает, что слишком привык полагаться на психонику и запустил физическое умение. Через несколько секунд он уже весь в поту и крови из еще четырех ран, а святой Христофор по-прежнему невредим и ни капли не устал. Унизительно, но факт: Мицар с ним играет. Если бы он хотел, Чеглок бы уже валялся мертвый или раненый. Но Невидимый, согласно своему характеру, предпочитает мучить противника, строгать его по кусочкам и физически, и душевно. По выражению лица Мицара видно, что он наслаждается, быть может, возрождая дуэли своего прошлого, пользуясь телом раба — как с помощью тела Чеглока оживил свои любовные встречи.

И мысль об этом предательстве наполняет Чеглока свежей яростью. Больше всего на свете хочется ему заставить страдать Мицара, но ненависть и жажда мести сейчас ему не на руку. Напротив, Чеглок знает, что чем сильнее поддастся он таким эмоциям, тем вернее приведут они его к фатальной ошибке. Они такие же враги ему, как и Мицар, и против них он бьется с равной решимостью.

Вдруг святой Христофор выходит из схватки, отступая на шаг,

иронически салютуя краснеющим клинком.

— Обрати внимание, что твои раны не закрываются, — замечает он.

И действительно, они все еще кровоточат, хотя селкомы должны уже были заделать прорехи в коже.

— Как я говорил, здесь селкомы не разрешены. Даже те, что мы вносим в себе, исчезают при контакте с воздухом. Поэтому без лечения даже самые мелкие раны могут оказаться смертельными — просто из-за потери крови. Правда, интересно?

Чеглок не дает себе труда отвечать. Он мрачно вытирает пот со лба рукавом. Зрачок антеховского глаза нормала неритмично сжимается и расширяется, будто тельп в буквально смысле измеряет Чеглока взглядом. Если бы удалось повредить или уничтожить механизм глаза, может быть, тогда у него был бы шанс…

Передняя нога святого Христофора подается вперед, и он бросается в атаку еще быстрее и ловчее, чем раньше. У Чеглока нет времени даже на мысль, тем более на роскошь строить контратаку. Он словно сторонний наблюдатель смотрит, как его рука движется по собственной воле, стебель встречает рапиру стаккато взаимных ударов, диким стуком часов, лишенных ритма… или нет, ритм есть, есть система… но почти невообразимой сложности. Она держится у порога восприятия Чеглока, как звуковое представление нематериальной структуры медианета, и в ней, знает он, тайна атаки Мицара, ее скрытый порядок, знание, каков будет следующий выпад. Он всей силой разума пытается в нее проникнуть, и на секунду этот гобелен становится видим отчетливо. И тут же образ меняется, нити расплетаются, и клинок Чеглока рассекает пустой воздух. Все это было обманом. Западней.

Грудь будто обжигает огнем. Он стонет скорее от досады, чем от боли, ловит ртом воздух, сердце зловеще содрогается, свежая кровь течет по животу. Исход этой неравной схватки уже ясен: она будет длиться, пока он не свалится от потери крови у себя или потери терпения у Мицара. В отчаянии Чеглок пытается найти свою силу, но ее нет. А тем временем святой Христофор снова прерывает атаку и стоит, глядя на Чеглока, как художник на холст, определяя, куда положить кистью следующий мазок. На изувеченном лице Мицара под повязкой — такое первобытное ликование, что Чеглок с трудом заставляет себя не отвлекаться на него.

Рискнув глянуть себе на грудь, он поражается, увидев контур Сутуры Шестой, «Вслед кувырком»: лемниската вырезана у него на коже с точностью нож-травы. Вдруг все раны, полученные от

Мицара, складываются в него в мозгу в картину, и он понимает, что тельп руками святого Христофора вырезает на нем сутуры «Книги Шанса» в порядке возрастания. Такой потрясающей демонстрации искусства фехтовальщика Чеглок не то что не видел, не то что о таком не слышал, но даже представить себе не мог — и не в силах сдерживать восхищение, хотя это искусство и направлено против него.

Снова глянув на Мицара, он понимает: тельп знает, что он знает. Но будет ли и дальше продолжаться эта последовательность? Мицар дал Чеглоку время узнать разворачивающуюся систему, чтобы поиздеваться над его беспомощностью, невозможностью предотвратить изображение следующей сутуры из серии, «Спиральная галактика»? Или эта последовательность — всего лишь новый слой обмана, ложный след, проложенный с хитростью и искусством, только чтобы сойти с него теперь, когда Чеглок на него напал? Не прочесть ответа на изрезанном лице Мицара, на красивом лице нормала. Ответ придет с кончика рапиры в твердой руке святого Христофора.

Чеглок знает — ему не пробить усиленной защиты нормала и не обезоружить его. И все же, быть может — всего лишь быть может — он видит способ выиграть бой. Это рискованно, отчаянно… Но зато в этом есть преимущество внезапности, и он не думает, что Мицар прямо сейчас уже готов его убить; он как кот, еще не наигравшийся с добычей. Как бы там ни было, решает Чеглок, быстрая смерть лучше долгой и мучительной. Лучше метнуть кости самому и проиграть быстро, чем ждать, пока твоя судьба решится чьим-то чужим броском костей, когда каприз Шанса может обернуться против тебя еще круче. Сделает он свой спасительный бросок или потерпит неудачу, но сделает его сам.

— Ты хуже шпиона, Мицар, — цедит он сквозь зубы. — Ты предатель-перевертыш. Как мог ты предать своих?

— Если ты пытаешься заманить меня в преждевременную атаку, — отвечает спокойный голос святого Христофора, — зря тратишь время.

— Все дело в этой мерзкой оболочке, которую ты называешь своим телом? Ты злишься на мьютов за раны, полученные от нормалов? Или за то, что Святые Метатели не могут их вылечить?

— Я не предатель, Чеглок, я тебе уже говорил. И твои слова ничего для меня не значат.

— Но много будут значить для Коллегии. Для Факультета Невидимых. Вот почему ты меня подставил. Вот почему пытаешься меня убить. Ты предъявишь Коллегии мертвого шпиона, и никто не заподозрит, что настоящий шпион еще жив, жив предатель, заразивший нас каким-то тайным разумным

вирусом…

Святой Христофор тихо смеется. Чеглок тем временем замечает легкую перемену позиции нормала, почти невидный перенос веса на заднюю ногу. Он крепче сжимает стебель, сгибает пальцы свободной руки…

Передняя нога нормала взлетает вверх и вперед неуловимым движением. Рапира подлетает свистящей полосой, и святой Христофор бросается вперед толчком опорной ноги, но Чеглок уже в движении. Он перебрасывает клинок из правой руки в левую и шагает вперед, нанося укол.

Чеглок издает глухой стон, когда рапира входит в правый бок, скользя между ребрами. Боли нет — лишь ощущение какого-то неестественного холода. Потом клинок вырывается обратно, и Чеглок делает шаг назад, пошатнувшись и зажимая прокол двумя опустевшими руками. На пепельном лице святого Христофора — выражение болезненного удивления. Нормал с шумом выдыхает воздух, шатается, падает на стену, потом сползает на землю, хотя и не выпускает рапиру. Он глядит на Чеглока пустыми глазами, зрачок антеховского глаза застыл в максимальном расширении, и видна только чернота, как в непроницаемом глазу руслы.

Кинжал Чеглока торчит в повязке Мицара по рукоять.

Живот горит огнем, в груди скапливается тяжелый холод. Он закашливается, харкает кровью, прислоняется к стене напротив святого Христофора и трупа, который тянет нормала вниз, как камень.

— Перемудрил ты… на свою голову, — удается выдохнуть Чеглоку.

Конечности нормала дергаются в судорогах.

Чеглоку хочется только лечь на землю, хоть чуть-чуть отдохнуть. Но он знает, что если ляжет, не встанет уже никогда. Его ждет Моряна, он ей нужен. И друзьям. В какую сторону идти — неизвестно, значит, в любую. Он заставляет ноги нести себя прочь от тела нормала. Прислоняясь на ходу к стене, он оставляет кровавый след. Цветные круги плывут перед глазами, но это не обитатели Сети. Он снова отхаркивает кровь. Ноги еще держат его, но он их уже не чувствует. Если бы только выбраться из этой мертвой зоны, может быть, селкомы залечат раны. Но как?

Он вспоминает, как святой Христофор знаком Шанса открыл проход в стене и за неимением лучшей идеи рисует окровавленным пальцем лемнискату. Участок стены раскрывается диафрагмой, и Чеглок не столько входит, сколько падает на ту сторону, теряет сознание, еще не коснувшись пола.

* * *

Джек лежит в темноте, слушая ровное тихое сопение с верхней койки и собирая всю свою храбрость. Ранее он принес Джилли чистую одежду и полотенце, которые она просила, а она затащила его в кабинку и, не говоря ни слова, прижалась голая к нему, одетому. И только возвращение дяди Джимми и Эллен ее остановило. Она отодвинулась и шепнула:

— Вечером. После ужина. В комнате.

И пока вечер шел к концу, Джеку становилось все хуже от ожидания, от мысли о том, что будет. Дело не в самом акте, не в ярлыке, который к нему приклеен, даже не в риске, что их поймают Эллен и дядя Джимми. Нет, все дело было в воспоминаниях, как Джилли заставляла, сгибала своей волей его — а заодно и весь мир — много раз подряд, пока не получила того, что хотела. И если принуждение стало со временем мягче, удары кулаков сменились поцелуями и лаской, то не из-за заботы о нем, а лишь потому, что она на каком-то подсознательном уровне поняла: добиться исполнения своих желаний так будет проще, и оказалась права — его тело предало его память о том, что она с ним делала. А все потому, что она не могла допустить, чтобы Эллен испытала что-то такое, что-то запрещенное, чего не испытала она, Джилли.

За позднее возвращение их не наказали. Дядя Джимми высказался на эту тему почти мимоходом, когда Джек вышел из душевой, изо всех сил стараясь говорить строгим отцовским тоном, пока жарил филе меч-рыбы, которое они с Эллен принесли с рынка. Но он уже выпил пару баночек пива, а потому душу в нотацию не вкладывал и отпустил Джека и Джилли всего лишь с предупреждением — к большому разочарованию Эллен.

Помогая Джилли накрывать на стол и изо всех сил стараясь не замечать ее не слишком застенчивые взгляды и прикосновения, которые, как он был уверен, не могут сразу не открыть дяде Джимми или Эллен — или вообще любому наблюдателю — не только факт изменения их отношений, но и природу этого изменения (он знал, что Джилли искушает судьбу, не в силах устоять против соблазна игры с опасностью — и с ним), Джек вдруг в озарении понял, что врагом, который намерен удалить Джилли с доски, может быть не дядя Джимми, а Эллен. Что, если привычное презрение к ней застлало ему глаза и не дало счесть подозреваемой ее? Или злоба, которую она каждый раз демонстрирует при любом удобном случае, скрыла от него возможность, что угроза исходит от нее? Или — и это еще более тревожно — проявления ее силы стерли все подозрения, которые могли у него в прошлом возникать? Быть может, те, кто обладает силой в неразделенной целостности, научились использовать ее с

большим контролем и тонкостью, чем он или Джилли с их отдельными неравными долями. Нет оснований полагать, что это не так.

И потому, когда все сели ужинать, и после, за едой, Джек тщательно следил за Эллен и дядей Джимми — ибо добавление в список подозреваемых первой не исключало второго. Ничто не противоречило тому, что они действуют вместе, двое игроков, вошедших во временный альянс, чтобы вывести из игры третьего, более слабого. Что Джек хочет высмотреть, он и сам точно не знал. Какой-то намек, след — жест или слово, проговорку о зловещей цели. Он пытался смотреть на них глазами постороннего, представляя, что это Чеглок смотрит его глазами, взвешивая и оценивая их слова и действия.

Он знал, что Джилли ощущает его тревогу, но знал и то, что о причинах ей не догадаться. Наверняка она ее отнесет на счет их сегодняшнего приключения, решит, будто он мучается виной и страхом, что все откроется. А у нее от той же тайны радостно кружилась голова. Она шутила с дядей Джимми и обменивалась колкостями с Эллен. Тем временем под столом она терлась голой ногой о ногу Джека, засовывала ему руку под шорты. Он ежился, краснел, отвлекаясь от слежки за Эллен и дядей Джимми, которые ничего не замечали, занятые, очевидно, собственным подстольным диалогом.

Самый странный ужин за всю жизнь Джека. И все равно он проголодался и ел жадно, как все они: кукуруза в початках с хорошим слоем масла, жареное филе меч-рыбы, жирные сочные ломти помидоров в оливковом масле. А на десерт ванильное и шоколадное мороженое с печеньем «орео». Потом дядя Джимми предложил поиграть в «Янцзы», и, к удивлению Джека, согласилась не только Джилли, но и Эллен, обычно презирающая игры, где надо метать кости.

Достали таблички и карандаши, шестигранную кость из коробки с принадлежностями для «Мьютов и нормалов». Дядя Джимми принес себе еще пива из холодильника, сунул ленту в магнитофон и закурил. Ворчащий насмешливый баритон поплыл во влажном воздухе закрытой веранды новым видом дыма. «Calling Sister Midnight»… Загремели кости в пластиковом стаканчике, застучали по столу, прозрачными рубинами заблестели под светом лампочки. Снаружи собиралась гроза, ворчал далекий гром, медленно приближаясь, порывы ветра становились чаще и сильнее, шелестя листьями за экранами и шевеля тени, которые нервно дергались, словно вспугнутые мотыльки, потом успокаивались до следующего порыва. Пахло дождем, но дождя еще не было.

И каждый раз, когда стаканчик с костями попадал к Джеку, он передавал их Чеглоку. Гремели и выкатывались кости, пустые места на дощечке «Янцзы» у Джека заполнялись — Шестерки, Полный дом, Три одинаковых, Перемена. Тем временем выпадали кости, отражая капризы Шанса. Джек не знал, как их прочесть, но это знал Чеглок. И потому он ждал, пока Чеглок скажет ему, что показали кости, что они советуют предпринять.

Потом, когда дядя Джимми и Эллен курили традиционный косяк на верхней террасе, Джилли выполнила свое обещание за закрытыми дверьми спальни. Как и в прошлый раз, контраст между физическими ощущениями и сложной, мучительной цепью воспоминаний, запущенной самим процессом, создал у Джека ощущение, что он раскололся на много личностей одновременно по всем отмененным реальностям. Но на этот раз, когда он почувствовал, как разламывается, снова ощутил жгучий стыд беспомощности и постыдный огонь желания, в пролом шагнул Чеглок, и Джек уступил ему, отодвинувшись на расстояние, откуда он все видел, но ничего не чувствовал. Они поменялись местами, на этот раз виртуализован был он, Джек.

Когда все кончилось, и Джилли, жалуясь на усталость и избитость, залезла к себе на койку (где, судя по ее сопению, тут же заснула), Чеглок удалился, а Джек снова выплыл на поверхность. Это было уже какое-то время тому назад, а насколько давно — он не знает. Здесь, в темноте, не было способа измерять время, кроме как по биению собственного сердца, сопению Джилли да ворчанию грома и вспышкам зарниц за окном, и вроде бы все эти явления показывали разную меру времени. А потому он просто лежит, испарина охлаждает тело, и каждой частичкой своего существа слушает звуки голосов, скрип половиц, все, что подскажет, сидят еще дядя Джимми и Эллен на верхней террасе или уже нет.

Он знает, что основы их отношений пошатнулись — нет, не пошатнулись: рассыпались. Или это у него иллюзия, что рассыпались. Ему всегда виделось, что они вдвоем стоят отдельно от остального мира… И над ним тоже. Но сейчас Джек вынужден признать, что он не настолько другой, насколько думал сам. Для Джилли он просто фигура в игре. Ценная фигура, тут нет сомнений — но не из-за силы, которой он обладает. Он ценен, поскольку он ее близнец, ее брат, и она его любит. Любит бездумно, свирепо, эгоистично, как будто он — продолжение ее тела. Он ее в этом не винит, да и зачем бы? Он сам любит ее точно так же.

Только из-за ее силы эта любовь превращается в манипуляцию. Иногда благожелательную, как когда она спасла

ему жизнь или вылечила руку. Иногда грубую. Но всегда единственное, что важно — это *ее* желания, а не его. Поскольку она не помнит, как использует свою силу, даже не знает, что обладает ею, нет шанса, что она эту силу укротит, научится сдерживать, учитывая его желания или вообще чьи-либо. Она не плохой человек, не злой, просто невероятно опасный, не ведающий, что может сотворить. Но Джек об этом знает, и деваться от этого знания ему некуда. Это *его* сила. Это *его* проклятие. И потому, что Джилли любит его больше всех на свете, ему от нее не удрать. Не отказать, не отвергнуть. Даже если ее воля или ее каприз говорят другое. Его положение — привилегированная униженность, униженность излюбленного раба или избалованной комнатной собачки. Осознание этого и есть истинная рана, которую нанесла ему Джилли на песке их тайного острова.

И в результате сейчас впервые в жизни Джек ощущает истинную, глубокую отстраненность от Джилли. Отдельность. Как будто их связь близнецов кто-то перерезал. Нет, даже не перерезал. Она все еще здесь, привязывает Джека к сестре, но как цепь. Как извращение того, чем прежде была.

И за это Джек обижается на сестру. Страшится ее. Нет, и любит ее, конечно, даже больше, чем раньше, с отчаянием, новым для него, потому что теперь эта любовь должна пройти через пропасть, пустоту, которой раньше не было. Джилли стоит на одном краю, он на другом, все, что их соединяет — это железная цепь ее воли и мерцающие на этой цепи ведьмиными огнями, нематериальные вихри его собственных противоречивых эмоций.

Но он не одинок. У него есть тайный близнец, второе «я», чтобы заменить того близнеца, которого он утратил. Теперь с ним, в нем — Чеглок, виртуализованная сущность, глядящая его глазами. Во всяком случае, так Джек говорит себе. Так он верит. Или притворяется, будто верит, что — по крайней мере сейчас и недолго — одно и то же.

Наконец Джек встает с койки. Едва осмеливаясь дышать, он подбирает с пола брошенные шорты и пробирается к Двери. Отпирает ее, приоткрывает щелкой, проскальзывает наружу и затворяет за своей спиной. Потом застывает в просторной темноте, сердце стучит молотом. Здесь сильнее шум прибоя — младший брат грома. Запах травки слабый, но различимый. Через сетку двери можно разглядеть контуры дачных стульев на террасе, но не видно, заняты они или нет. Идут секунды. С террасы не доносится голосов. Как, слава Шансу, и с другой стороны двери: уж что ему совсем не надо, так это будить Джилли. Выдохнув воздух, он движется к винтовой лестнице,

вздрагивая от каждого скрипа половиц под ногой:

Положив руку на прохладные перила, он следует завивающейся внутрь спирали. Скользящая дверь отворена, лампа на крыльце горит, свет ее проникает в дом. Джек замирает на полпути, присматриваясь и прислушиваясь, потом, убедившись, что засады на берегу нет, быстро спускается. Кухня манит, но он спустился отлить, и потому проходит мимо, спеша в туалет. Там, за закрытой дверью, он уже спокоен… ну, спокойнее по крайней мере. Включив свет, он подходит к унитазу. Поднимает сиденье, расстегивает шорты, давая им упасть к щиколоткам… и видит с изумлением, что у него пенис измазан кровью.

После первого раза была кровь, там, на острове, они ее смывали водой из бухты. Сейчас крови немного, но все равно вид ее неприятен, неуместен, будто это его кровь, а не Джилли. Впрочем, это не отвлекает от достаточно сильной потребности. Струя мочи журчит в унитазе, и тут до Джека доходит, что у него и простыни тоже измазаны наверняка, и у Джилли. Надо будет утром куда-то их девать…

Но до этого еще очень далеко. Закончив, Джек переступает через шорты и подходит к умывальнику, смыть улику. Тянет руку к крану — и останавливается. Если дядя Джимми и Эллен в насосной, то шум воды сообщит им о его присутствии, и кто-нибудь из них или оба поднимутся проверить. Этого допускать нельзя. Так что и кровь останется пока, и вода спущена не будет. Будто во сне, Джек смотрит, как его рука тянется вместо крана к опасной бритве дяди Джимми, которая лежит сложенная, лезвие засунуто в рукоять, сбоку от крана вместе с прочими бритвенными принадлежностями: барсучья кисточка, банка бритьевой пены, оселок и ремень для правки бритвы.

Рукоять ощущается как удобная и знакомая, будто он держал ее много раз. Джек открывает блестящее лезвие, углеродистая сталь такая отшлифованная, что он видит свое отражение. Сердце бешено трепыхается, но рука не дрожит совершенно, когда он перемещает нож-траву к груди начинает вырезать Сутуру Шестую, «Вслед кувырком». Прикосновение его уверенно и легко, поцелуй лезвия, как ледяной шепот, не становящийся громче, не прекращающийся вопреки крови, которая льется по груди свободнее обычного, и наконец вырезаемая линия возвращается к началу. Тогда он поднимает лезвие, берет с вешалки полотенце и вытирает его насухо. Сложив бритву снова, он опускает ее на край умывальника и промокает с груди лишнюю кровь. Стирает ее также с умывальника и с пола. К этому времени ему уже нужно другое полотенце, потому что кровь отчего-то сворачивается странно медленно. Но наконец лишь выступает красная полоска

из узорного разреза. Удовлетворившись результатом, Джек бросает полотенце и снова надевает брошенные шорты.

Снаружи мечутся тени от скользящей двери, извиваются на ветру и резко меняются от вспышек молний, и в каждой темной форме заключена какая-то другая. Грохот прибоя мешается с рычанием грома, дом потрескивает и стонет самыми глубокими бревнами. Где-то собирается волна.

В кухне, не включая свет, Джек звонит по телефону. Он говорит спокойно и отчетливо, зная точно, что сказать, как сделать свои слова как можно более весомыми. Отчасти он жалеет, что так выходит, но ставка, — жизнь Джилли. И чтобы ее защитить, он должен сделать все, что потребуется. Он должен знать, кто из них враг, а это единственный способ, который ему удалось придумать, чтобы выяснить. И кости подтвердили. Голос на другом конце линии, женский, что-то спрашивает, но он уже не обращает внимания.

— Просто приезжайте.

Он вешает трубку.

— С кем ты говоришь? — спрашивает из-за спины дядя Джимми.

Он поворачивается. Дядя Джимми входит из скользящей двери, приближается — тень среди теней.

— Что тут происходит? С кем… — Он отшатывается, глаза у него лезут на лоб. — Что за твою мать? Господи, Джек!

Быстрее мысли он бросается вперед, рука описывает в воздухе полосу. Что-то теплое брызжет в лицо, на грудь. А потом дядя Джимми лежит на полу. Смотрит вопросительно вверх, и руки прижаты к горлу, будто он сам себя душит. А кровь продолжает вытекать толчками. Сперва Джеку кажется, что он слышит ее шум, как шум реки, но потом, когда звук прекращается, понимает, что это был дождь снаружи.

Он не знает, течет ли у него из носа кровь, потому что на лице и на руке крови и без того много. И бритва снова в руке, хотя он не помнит, как ее взял. Но понятно: это сделал Чеглок. И это Чеглок направил его руку таким быстрым и отработанным смертоносным движением.

Кровь капает с конца лезвия в лужицу на полу, будто звучат идущие секунды. Грудь горит. Джек закрывает глаза, судорожно вдыхает воздух и открывает снова. Мир не изменился — то есть изменился, но лишь обычным способом, вместе с ходом времени, которое что-то несет вперед, что-то оставляет позади, не объясняя свой выбор. В немигающих глазах дяди Джимми остался только тот свет, что бросает туда лампа на крыльце, простой и мертвый, как отражение луны в сброшенных темных очках. Выходит, что

Джек подозревал не того. Но в этой игре всегда есть риск. Кроме того, сам Холмс согласился бы, что исключить подозрение бывает не менее полезно, чем его подтвердить. И все это не навсегда. Джилли все исправит, сделает даже лучше, чем было.

Он слышит быстрые шаги Эллен на лестнице. Переступив через дядю Джимми, он спешит ей навстречу.

* * *

Чеглок открывает глаза в темноте, лишенной не только света, но и звука, и запаха. Эйрийское ощущение тела сообщает ему, что он стоит прямо… нет, даже не стоит — *плавает* в воздухе. И не может даже пальцем шевельнуть. Он вспоминает дуэль с Мицаром, как оставил мертвого предателя, а сам, тяжело раненный, отправился на поиски Моряны и других… А что было потом, припомнить не удается. Очевидно, он не истек кровью из ран. Значит, он нашел выход из мертвой зоны и обратно в нексус, где селкомы смогли его вылечить? Он пытается поднять ветер, выйти в Сеть, но псионика так же не повинуется ему, как и тело.

— Есть кто-нибудь? — кричит он.

В ответ на хриплый голос зажигается свет.

И Чеглок видит бесконечную череду Чеглоков, возвращающихся и множащихся от пола, потолка, стен — он в комнате из зеркал. Один, если не считать множества своих отражений.

Как он и ощутил раньше, он подвешен в воздухе, только без видимых механизмов. Это значит, как он понимает, что его поддерживают цепи селкомов, и они же его связывают. А значит, он уже не в мертвой зоне, и псионика его подавлена. Но если здесь действует гасящее поле, то это самое мощное из всех, какие он видал. И все же он жив, и, насколько может судить, цел. Крылья иммобилизованы защитной коркой, выращенной его селкомами. Изорванную рубаху сняли, но окровавленные штаны и ботинки остались, а кожа туловища и рук — все тот же обычный палимпсест шрамов от узора разрезов. И не видно даже следа той последней раны, что нанес ему Мицар, укола рапиры в грудь.

Поскольку в комнате нет ничего, кроме него и его итераций, он не может определить ее размеры. Как и найти источник света: люменов здесь нет, а тело не отбрасывает тени… хотя здесь, в зеркальной клетке, куда может падать тень? Наверное, он был виртуализован, пока находился без сознания, и сейчас он в Сети. Он ощущает свою обнаженность, беззащитность, и его беспомощность лишь подчеркивается отсутствием других

предметов, даже самых мелких и незначительных. Но кто-то наверняка за ним наблюдает.

— Я знаю, что ты здесь! — кричит он, и голос уже звучит ровнее. — Выходи!

Секунду не происходит ничего. Потом в зеркале перед собой Чеглок видит, как сзади отодвигается кусок стены. А за ним — силуэты: сколько их, и мьюты это или нормалы, он не знает. Слышен неразборчивый гул голосов. Потом одна фигура отделяется от других, закрывает собой вход, делая шаг в комнату, и ее сопровождает армия отражений, армия, которая тут же вырастает, когда стена становится на место.

Святой Христофор.

— Удивлен, Чеглок?

Голос, низкий и властный, рокочущий весельем, принадлежит Мицару. Это тот голос, который Чеглок слышал в уме каждый раз, когда Мицар обращался к нему псионически, голос, который принадлежал вирту тельпа в Сети.

Толпа святых Христофоров хохочет единым голосом при виде непонимания на лицах всех Чеглоков. Но святого Христофора в отличие от Чеглока облегает тень: он одет в псибертронную броню, тонкую и обтягивающую, черную, как чистый углерод. Видимого оружия при нем нет, нет и знаков различия на броне. Голова не покрыта, светлые волосы блестят, как полированное золото.

— Сознаюсь, что ты меня все-таки подловил, Чеглок. — Святой Христофор останавливается на расстоянии вытянутой руки от него. — Ты был прав, я сам себя, Шанс меня побери, перехитрил. Было ошибкой играть с тобой. Если тебя это утешит, ты меня сильно ранил. Когда ты всадил нож-траву в повязку тельпа, в пустую его орбиту и в мозг… да, много прошло времени с тех пор, как довелось мне испытывать такую боль. — Тон его небрежен, шутлив. — Но за это я на тебя зла не держу, Чеглок. На самом деле я должен быть тебе благодарен. Ты дал мне урок скромности — добродетели, о которой следует время от времени напоминать. И я хочу отплатить тебе услугой за услугу, потому что я всегда плачу долги — с процентами. Например, знаешь ли ты, что в тот момент, там, ты мог меня действительно убить? Уверяю тебя, это правда. Ты не можешь даже представить себе, как тесно связывает псибертронное подчинение. По-своему оно даже крепче псионной виртуализации. Существует глубокое психологическое проникновение — мы называем его «колонизацией „Я“». Мицара я носил на себе, как вторую кожу… нет, как продолжение моей собственной кожи. Когда ты разрубил эту пуповину, псибертронная обратная связь была — мягко говоря

— интенсивной. Если бы ты тогда ударил, я бы не смог защититься. Но когда Мицара не стало, святой Христофор перестал для тебя существовать. Ты так рвался найти Моряну и других, так был слеп в своей типично мьютской надменности, что тебе и в голову не пришло, будто раб может оказаться хозяином.

Чеглок наконец справляется с собственным голосом.

— Мицар был *твоим* рабом?

— От него едва осталось достаточно, чтобы наскрести на раба. Мы его подобрали на поле боя и усилили его раны: отняли конечности, глаза, язык. Виртуализовали его и сломали, сделали субвиртом, этого великого воина-тельпа! Мы превратили его в марионетку, а потом отнесли обратно, чтобы его нашли среди мертвых и умирающих, и рядом с ним — меня. Так я проник в Содружество, в саму Коллегию. Под маской Мицара я был невидим даже среди Невидимых.

— Нормал в шкуре мьюта.

Святой Христофор ухмыляется:

— Так что видишь, я тебе правду говорил, когда настаивал, что я не предатель. Плюрибусу Унуму я всегда был верен.

— Как же тебя зовут? Ведь не святой Христофор…

— Мое настоящее имя тебе ничего не скажет, и ничего нет постыдного в том, чтобы носить имя великого святого. Как и он, я многим пожертвовал ради служения Богу, и с радостью.

На Чеглока наваливается глубокая опустошенность.

— И сейчас вы будете меня пытать? Убьете? Превратите в марионетку, как беднягу Мицара?

— А, так теперь он уже «бедняга Мицар»? — смеется святой Христофор. — Ты и так уже был нашей марионеткой, Чеглок. Ты таким родился.

— Врешь.

— Вру? Скоро увидим!

Нормал делает жест рукой, и зеркало перед Чеглоком становится прозрачным, открывая комнату с белыми стенами, и там в дюймах над полом плавают в воздухе четыре белые статуи, каждая из которых изображает одну из рас мьютов… но Чеглок сразу понимает, что это вовсе не статуи. Вокруг недвижных фигур суетятся с полдюжины нормалов в громоздких белых костюмах с прозрачными шлемами.

— Сволочь линялая! — шипит Чеглок, бесполезно борясь с невидимыми путами.

— И это благодарность за соединение с твоей пентадой, как я тебе обещал!

— Что ты с ними сделал?

— Я? Ничего. Это ты принес вирус. Ты их заразил.

— Нет!

— Когда ты родился, Святые Метатели бросили кости и увидели начертанную славную судьбу! В этих числах они прочли большую вероятность, что когда-нибудь ты станешь орудием окончания войны против нормалов и принесешь победу своему народу. Но с высокомерием, столь присущим мьютам, они полагали, что твой народ — они. Будь они поумнее, то сообразили бы, что ты, рожденный от инкубатора, столько же нормал, сколько и мьют, и убили бы тебя на месте. Но они не сообразили. Они позволили тебе жить, расти навстречу своей судьбе, даже не предполагая, что ты несешь в себе их смерть, как медленно созревающее семя. И теперь наконец-то семя дало всходы. И мы станем свидетелями расцвета его побегов.

Чеглок почти не слушает, он не сводит глаз с Моряны… с того, что от нее осталось: скорлупа, белая и гладкая, как мрамор. Ее черты отлично видны в этой оболочке — застывшие в выражении покоя, будто она в конце концов сдалась вирусу. Ни боли, ни ужаса, лишь облегчение, как у заснувшего глубоким сном после долгой тяжелой борьбы. Трудно поверить, что в этом коконе она еще жива. Интересно, знает ли она, что случилось. Или спит и видит сны, как инкубатор в родильном отделении? Сотни лет назад, в последних судорогах Вирусных Войн, десятки тысяч инфицированных нормалов оказались в похожих коконах, тиглях, где битва селкомов с вирусами пришла к неожиданному заключению: Становлению. Коконы вскрылись, и первые мьюты появились в мире, навеки изменившимся от этого. А сейчас? Что выйдет из этих коконов?

Одна из оболочек — Феникс — содрогается. Нормалы в белых костюмах резко отшатываются назад, их лица под прозрачными шлемами выражают напряженный интерес, ожидание, ужас.

— Началось, — говорит святой Христофор. — Наконец-то!

Он падает на колени, трижды быстро склоняется лбом к зеркальному полу, потом выпрямляется, оставаясь на коленях, и прижимает сложенные руки к скрытой броней груди. На той стороне стекла фигуры в белом повторяют те же жесты совершенно синхронно. Щупальца ужаса и паники разворачиваются в груди у Чеглока при виде этого.

— Что сейчас…

— Молчать! — шипит святой Христофор.

И у Чеглока пропадает голос. Он продолжает говорить, но звуки не выходят изо рта. Селкомы глотают его слова, глушат его.

Кокон Феникса снова содрогается, потом начинает равномерно раскачиваться — внутри что-то ворочается, борется. Появляются трещины. Двое нормалов в белом снова склоняют

головы к полу, потом встают по обе стороны от бешено трясущегося кокона, покрытого узорной сетью трещин, напоминающей Чеглоку узоры от разрезов.

От скорлупы отваливается кусок и падает на пол. За ним другие.

Наружу пробивается кулак. Рука. Плечо.

Голая, без шрамов, светло-коричневая кожа.

Голова, блестящая от пота, без волос, тоже светло-коричневая, гладкая, как молочный шоколад. Открытый рот ловит воздух, глаза лезут из орбит, белки с медово-карими радужками глядит на мир со страхом и изумлением.

Двое нормалов с обеих сторон делают шаг вперед, один из них берет вылупляющегося Феникса — нет, понимает Чеглок, уже не Феникса — за руку, а второй начинает снимать скорлупу, помогая полностью явиться на свет тому, что — по крайней мере физически — уже не салмандер, а просто человек. Нормал.

Чеглок раскрывает рот в безмолвном вое при виде этой пародии на Становление. Тошнота сводит внутренности, поднимается к глотке. Он давится, тело его сотрясает судорога, когда тошноту затыкают те же селкомы, что заткнули его голос. Когда это кончается, и он снова может глотать воздух судорожными вдохами, и слезы текут по лицу, он видит на той стороне окна новорожденного нормала, который смотрит на него с любопытством, не узнавая, как дитя. Потом, пока один из помощников поднимает руку в перчатке и рисует в воздухе знак Крестозвездного Полумесяца, второй вытаскивает из кармана стеклянную бутыль и разбивает ее, как яйцо, на лбу новорожденного. Пятна крови и жидкости медового цвета опускаются на лицо нормала, словно плодная оболочка, стирая выражение невинности и заменяя его ужасом и отвращением. Слепой и нерассуждающей ненавистью. Спеша и спотыкаясь, нормал, бывший когда-то Фениксом, отворачивается, чтобы не видеть Чеглока. Он упал бы, если б двое служителей в белом его не поддержали и не увели, сгорбленного и дрожащего, сквозь отверстие в стене прочь из комнаты.

А тем временем начинают дрожать коконы Халцедона и Полярис.

— Зрите же Уничтожение! — объявляет святой Христофор.

Чеглок снова пытается оживить свою псионику, но безнадежно. Будто всю его силу от него отрезали.

— Милостью Божией и гением Плюрибуса Унума победа за нами!

Святой Христофор поднимается с колен. Трещины появляются в скорлупах Халцедона и Полярис, стирая черты

шахта и тельпа. Чеглок не может ни отвернуться, ни закрыть глаза. Или заткнуть уши от голоса нормала.

— Ты видишь действие этого вируса. Мьюты трансформируются в нормалов: пустые сосуды, невинные, забывшие свое прошлое. Начисто вытертая грифельная доска. Потом их крестят вторым, отдельным вирусом, чьи селкомы записывают на этой доске нашу историю, давая им знание, личность, цель. Из смерти мьюта возникает жизнь нормала, верноподданного Плюрибуса Унума, новой души, завоеванной для Бога. Таким образом мы торжествуем дважды.

Теперь Халцедон, который больше не Халцедон, вышел из своей скорлупы и получил то же крещение, что и Феникс, с тем же результатом. Но с выходом Полярис получается какая-то заминка. Трещины идут по поверхности скорлупы, однако сама она остается целой, не разбитой… И признаки борьбы внутри нее, дойдя до яростной дрожи, слабеют. Но служители в белом не пытаются помочь.

— Новорожденный должен вылупиться сам, — объясняет святой Христофор. — Только после первого прорыва могут вмешаться священники. Как и при Становлении, когда многие из инфицированных не выжили и сплетенные ими вокруг себя утробы превратились в гробницы, тоже происходит при Уничтожении. Но даже в неудаче — успех: одним мьютом в мире меньше.

Скорлупа Полярис не движется совсем. Горе скручивает сердце Чеглока. Он ее подозревал. Он не верил ей, ругал ее. Ощущал ревность и почти ненависть, когда она глядела на Моряну с неприкрытым желанием. И тянуло его к ней, вопреки всему. А теперь ее нет. Она мертва. Может, так оно и лучше. Обездвиженный, не в силах отвернуться от растресканной, но не пробитой скорлупы, что будто в насмешку сохраняет ее внешность, черты худенького, почти детского тела, ежик волос, лишенный теперь цвета, он оплакивает ее, и ощущает ее потерю острее потери Халцедона или Феникса. Почему, думает он, сердце так поздно раскрывает свою правду?

А Моряна? Ее скорлупа еще не начала трескаться. Но переживет ли она трансформацию и выйдет навеки измененной, нормалка душой и телом, или разделит судьбу Полярис, в любом смысле она уже мертва. Последний ее поцелуй горит в памяти Чеглока, и он знает, что будет гореть вечно.

Про себя он клянется, что когда-нибудь, как-нибудь заставит святого Христофора заплатить за эти убийства, за эти осквернения. Он всех их заставит заплатить. Но это кажется пустой похвальбой, когда он висит беспомощно, и псионика его

подавлена. «Вот тебе и Второе Становление!» — горько думает он. Это оно защитило его от вируса, иммунизировало его, когда друзья его поддались вирусу? Или есть еще более жуткое объяснение? Если он, как заявил святой Христофор, и есть источник инфекции? И он принес — не ведающий, но оттого не менее виновный — болезнь, повинную в мерзости Уничтожения?

— Теперь можешь говорить, если хочешь, — поворачивается к нему святой Христофор. — Задавай свои вопросы.

Чеглок упрямо молчит.

Нормал пожимает плечами:

— Можешь не говорить, я все равно знаю все твои мысли.

— Верни мою силу или дай мне оружие и сойдись со мной лицом к лицу. Других просьб ты не дождешься.

— Это я вряд ли сделаю.

— Ты трус.

— Поверь мне, Чеглок, ничего я так не хотел бы, как еще одной возможности тебя порезать. Увы, Плюрибус Унум велел сохранить тебе жизнь.

— Зачем? Чтобы и меня превратить в нормала?

— Это, боюсь, невозможно. Хотя ты несешь в себе вирус Уничтожения, ты к нему иммунный. Ты останешься таким, как есть. От этого тебе не уйти.

— Я не хочу уходить от того, кто я есть.

— Дурак ты. Ты даже не знаешь, кто ты есть.

— Я мьют. Я эйр. Я — Чеглок из Вафтинга, что бы ты там ни говорил.

Святой Христофор встает перед Чеглоком, загораживая от него все еще неподвижную оболочку Моряны. Впервые Чеглок замечает, что антеховский глаз нормала темен. Это он его сломал, когда перерезал псибертронную связь святого Христофора с Мицаром? Хочется надеяться. Но естественный глаз нормала со зрачком дымного янтаря горит такой ненавистью, которая может восполнить любую потерю. Однако Чеглок встречает этот одинокий взгляд, не дрогнув. И с такой же ненавистью.

— Ты, — говорит нормал отрывисто, — ты оружие. Оружие, созданное для единственной задачи.

— Как-нибудь я освобожусь. И тогда ты увидишь, какое я оружие.

— Давай я тебе расскажу одну историю, Чеглок. Она поможет нам скоротать время, пока мы ждем выхода Моряны… если она выйдет.

Чеглок знает, что нормал, загораживая от него кокон Моряны, видит его отчетливо в зеркале за спиной Чеглока. И еще

он знает, что нормал нарочно его дразнит, хочет заставить умолять дать ему заглянуть в ту комнату или хотя бы сказать, что там делается — или не делается. Его желание это выяснить так яростно, что Чеглок не решается говорить. Вместо этого он плюет в наглую рожу нормала.

Брызги слюны до святого Христофора не долетают. Ни одна капелька. Летающие в воздухе селкомы поглощают их все.

— Много лет назад, — говорит тем временем нормал, даже глазом не моргнув, — до твоего рождения, наши ученые наткнулись на особо разумный вирус, троянского коня, который прятался в геномах инфицированных и лежал там неактивно, по всем признакам — просто мусорная ДНК. Чем этот вирус был для нас особо ценен, так это тем, что мог поколениями передаваться митохондриями матерей — что мьютов, что нормалов — их детям, даже той мерзости, которую вы зовете инкубаторскими. Сам по себе вирус был абсолютно безвреден, но его потенциал как средства доставки был очевиден. Если бы любая женщина нормалов несла в себе этот вирус, то любая женщина, схваченная и подвергнутая институциональному изнасилованию родильных отделений, передала бы этот вирус своим отпрыскам-полукровкам. В наших руках оказалось мощное оружие, но как его лучше применить? Что будет доставлять наша идеальная система доставки? Как что: конечно же, другой вирус, и уже намного менее безвредный. Но если мы раскроем свои карты слишком рано, Святые Метатели обнаружат наш вирус и разработают средства изолировать и удалять его из своего так называемого племенного стада. Если же, с другой стороны, наш вирус и то, что он несет, останутся дремлющими, он за сравнительно короткое время сможет заразить существенную часть популяции мьютов. А когда достаточный уровень насыщения будет достигнут, вирус можно будет активировать, его скрытое оружие пустить в ход, чтобы оно пронеслось по Содружеству галопирующей и неостановимой эпидемией. Таким образом мы могли бы нанести врагу опустошительный удар, от которого ему уже никогда не оправиться.

— Так родившая меня мать заразила меня вирусом Уничтожения? — фыркает Чеглок. — Прости, святой Христофор, тебе придется придумать что-нибудь получше. Научись сначала не завираться, когда врешь. Ты мне сказал, что я был шпионом, запущенным к мьютам, нормалом, обладающим силами эйра и тельпа. Ты сказал, что мне был придан внешний вид и память похищенного эйра — настоящего Чеглока, чье место я занял перед Испытанием, а моя истинная личность, силы и цель подавлены. Потом я инфицировал свою пентаду этим вирусом,

который был активизирован самоубийством нормалов. То, что ты говоришь сейчас, всему этому противоречит и еще менее правдоподобно.

— Верь или не верь, от этого оно не станет менее истинным. Я тебе лгал раньше, да, но в этой лжи были крупицы той правды, что я открываю тебе теперь. Ты несешь в себе вирус Уничтожения, переданного тебе родившей тебя матерью. Но на полукровок он действует не так, как на чистокровных мьютов. Как ты видел, этот вирус, активизировавшись, превращает чистокровных мьютов в нормалов. А на инкубаторских, таких как ты, он действует иначе — диаметрально противоположно. Догадываешься, как?

— Второе Становление, — тихо говорит Чеглок.

— Именно так. Ты теперь обладаешь психическими способностями не только тельпа, помимо способностей эйра, но и способностями всех рас мьютов. Увы, тебе никогда не будет предоставлена возможность ими воспользоваться. Как я уже говорил, ты — оружие, созданное для единственной задачи. Задача выполнена. Как же теперь избавиться от оружия? Уничтожить? Или же сохранить, даже в почете? Плюрибус Унум, в мудрости своей — и, мог бы я добавить, добросердечии, — выбрал второй вариант.

— Вы меня не убьете?

— Это была бы плохая благодарность за все, что ты сделал. Конечно, я не имел в виду одного тебя. Каждая женщина, пойманная мьютами в последние пятнадцать лет, несла в себе этот троянский вирус. Каждый полукровка, рожденный за эти годы, тоже был носителем и передавал его в половом контакте чистокровным мьютам, а потом промискуитет распространял его дальше. И наконец, степень зараженности достигла сорока процентов. Это было сочтено достаточным. Троян был активизирован, эпидемия разразилась. В своем активном состоянии вирус Уничтожения крайне вирулентен, он захватывает селкомы, чтобы реплицироваться и распространяться. То, чему ты сейчас был свидетелем, происходит по всему Содружеству и по всей Пустыне. Вы проиграли, Чеглок. Долгая война наконец завершилась. Мьютов больше нет: милостью Божией заблудшие овцы вернулись в стадо. Человеческий род снова един, восстановлен в первичной своей чистоте. Несколько сотен полукровок, выбранных из пяти рас, разделят твою судьбу и будут служить экспонатами, напоминанием о величайшей победе человечества. Остальные будут преданы смерти. Их прямо сейчас разят победоносные армии Плюрибуса Унума, их убивают раньше, чем они могут осознать свои возросшие силы.

Рассудок Чеглока отшатывается от масштаба и охвата того,

что говорит ему святой Христофор. Наверняка, думает он, это очередная ложь. Но то, что он видел, и ощутимое торжество, исходящее от святого Христофора, не позволяет рассеять сомнения.

— Время недомолвок миновало, — говорит нормал. — Пришло время убедить тебя в правде моих слов. Я оставляю тебя.

Святой Христофор проходит мимо него.

И Чеглок снова видит соседнюю комнату. Из двух оставшихся коконов лишь один лежит не взломанный, покрытый трещинами. Поддерживаемая служителями, голая нормалка смотрит на него с отвращением и ужасом, и кровь крещения течет по ее лицу. Моряна.

Только в ней ничего не осталось от прежней Моряны.

Он стонет. И шепчет у него в ухе голос святого Христофора:

— Я хотел, чтобы это было последним, что ты увидишь, чтобы эту память ты унес в свое заточение в темноте.

И Чеглок чувствует, как глаза его наливаются тяжестью. Там собираются селкомы, давление их беспощадно. Зрение размывается, в глазах краснеет. Чеглок воет, но давление не ослабевает. И звучит в голове голос святого Христофора:

Сказано в Священной Трилогии: «Око за око». Но я плачу свои долги с процентами. Ты взял у меня один глаз, я возьму у тебя два.

Спускается тьма, прорываясь сквозь искореженные цвета. Чеглок чувствует, как течет по щекам кровь. И последняя мысль вспыхивает в уме алым:

Почему я?

Потому что ты — особенный, отвечает святой Христофор с елейным сарказмом. *В точности как предсказали кости Святых Метателей. Ты был первым инкубаторским, кто нес в себе троянский вирус. И еще по одной причине ты мне особо интересен, Чеглок. Родившая тебя мать была моей сестрой, которую ты убил своим рождением. Все, что осталось от нее, вплетено в твои гены. И еще — в твоей сумке для костей. Эта кожаная сумка и кусочки кости, которые в ней, будут похоронены с честью. Но это не оплатит твой долг. Месяцы и годы будут идти, а ты будешь расплачиваться за ее жертву. С процентами.*

И я буду лично следить за этим.

* * *

Джек сидит на ржавых металлических листах платформы на верхушке старой вышки, болтая свешенными за края босыми ногами. Далеко внизу сливаются в лунный пейзаж море и дюны в

далеком свете ламп на террасах в домах Мидлсекса и Саут-Бетани. Он сидит, обернувшись лицом на юг, в сторону Оушен-сити. Мерцают звезды в разрывах строя неровных кораблей серых туч, спешащих на запад по лицу неба с ямочкой луны, убегающих от надвигающейся бури. Слишком темно, чтобы разглядеть контуры больших отелей за мили отсюда, но ровно пульсируют предупредительные огни для самолетов над их крышами, красные, как рубины, и движутся по улицам огни фар и красные хвостовые огни машин группами и поодиночке на окутанном ночной тьмой коридоре шоссе № 1, будто их несут ветра или течения.

На востоке море и небо сливаются в единую тьму, разрываемую вспышками молний, озаряющих, но не пробивающих туго сплетенную паутину туч. Видны широко рассыпанные по морю огни немногочисленных судов, гаснущие и вновь загорающиеся в перекатывающихся водяных холмах, мигающие, будто зовут на помощь… Гром стал рокотом, сила его возросла с тех последних растянутых секунд, как Джек подтянулся, тяжело дыша, на платформу: звук, сперва сливавшийся с прибоем, потом поднявшийся над ударами волн, бахромой упавших облаков окруживших берег, кружевно-белой и волнистой. И ветер посвежел, влажные и соленые порывы то залетают с разных сторон, то вдруг совсем стихают, будто хотят поймать его врасплох и сбросить кувырком с насеста. Он цепляется за обшарпанный вертикальный подкос, обхватив его локтем, тело вытянуто, как на дыбе, плечи на леденящем ветру. Вышка дрожит камертоном.

Где-то между домом и вышкой он, очевидно, обронил бритву дяди Джимми — во всяком случае, сейчас ее с ним нет. Грудь горит огнем, но в прерывистом лунном свете не видно, кровоточит ли еще разрез. В любом случае крови хватает. Она покрывает всю грудь, руки, ноги, черная, как тень, тяжелая, как свинец. Он чувствует, как она стекает по голой коже, будто конденсируется из воздуха. Она выступает из порезов на ладонях и капает с разодранных подошв ног. Он ловит ртом воздух, чтобы не утонуть в ней. Но спасения нет. Само море превратилось в кровь, и из глубин поднимается сущность, которую ощутил он несколько дней назад, когда пробудилась сила Джилли, сущность эту он чувствует время от времени: чье-то сознание, ищущее его, лениво тянущееся к нему… Нет, уже не лениво. Чем бы оно ни было, сейчас оно идет за ним. Всплывая медленно, но беспощадно целеустремленно, предшествуемое волной, большей даже, чем оно само, сменившейся стеной крови, уже поднимающейся вдалеке, скрытое от взгляда, как отели Оушен-сити. Но в отличие

от них не стоит на месте, а летит сквозь ночь. И вот это — а Джек знает, что буря — часть той сущности, выражение ее силы, — сметет ли оно его с вышки, втянет ли в свои сокрушительные объятия? Он бы полез выше, если б мог, до самой луны, но чувствует, что нет той высоты, куда бы не достало то, что идет сюда.

Маленькая фигурка бежит по-крабьи по песку. Джилли стремится к вышке, будто в замедленной съемке. Джек видит, как она приближается, спотыкается, падает, снова встает и пробивается против ветра. Он кричит ей, чтобы не подходила, но без толку: ветер перехватывает его голос. Кроме того, даже услышь она эти слова, она бы не повернула обратно: Джилли понятия не имеет, какая опасность ей грозит. Тому, что приближается, нужна Джилли. Ей досталась львиная доля силы, столь несправедливо разделенной между ними, и это ее проявление силы привлекло внимание сущности, привлекает сейчас. Хотя сейчас Джилли не применяла своей силы, иначе Джек знал бы. Дядя Джимми лежит на полу в доме с перерезанным горлом; Джек до сих пор видит, как уходит из его глаз выражение озадаченного недоумения вместе с жизнью. Он не представлял себе, сколько в человеческом теле крови, не знал, что она может вытечь так быстро, словно из распоротого меха для вина. И Эллен. Он не хочет о ней думать. Не хочет помнить, что он — нет, не он, не он, Чеглок! — с ней сделал. У него сводит судорогой желудок, поднимается рвота, он наклоняется через край в рвотных спазмах… но рвоты в нем не осталось. Только память, а от нее так просто не избавишься. Она останется с ним навсегда, что бы ни случилось дальше. Сколько бы реальностей ни ответвлялось снова и снова от этой, он запомнит их все. Если только — и до тех пор, пока — он не будет вычеркнут из игры. Что ему было бы, в общем, безразлично, если бы это не значило, что вычеркнут и Джилли. Но этого он не допустит, он слишком далеко зашел, чтобы сдаться. Пока это в его силах, он будет за нее драться. Делать все, что может, защищая ее от угрозы, которую она не распознает… угрозы, навстречу которой сейчас рвется Джилли и которая рвется навстречу ей. Но что же это такое? Он думал, что их таинственный враг — дядя Джимми или Эллен… но эти предположения не оправдались, опровержение написано кровью и трупами. Кто тогда? Кто-то неизвестный, чью силу он воспринимает из-за какого-то ментального фокуса как восстающую из глубин океана? Или, думает он, содрогаясь в порыве ветра, без всякого фокуса, а действительно обитатель темных глубин, создание древнее и нечеловеческое, разворачивается сейчас…

Чем бы оно ни было, Джек знает, что не в состоянии с этим сразиться. У него силы нет, она только у Джилли. Но хватит ли этой силы? Он не думает, что ее ответное применение спасет их на сей раз, как спасало прежде. Нет, если они хотят пережить то, что надвигается сейчас, Джилли должна ударить первой. А это значит, он должен не только убедить ее применить силу, а объяснить наконец, что вообще у нее такая сила есть. В прошлый раз, когда он пытался, она не поверила ни единому слову, решила, что он сошел с ума. Он перевернул каноэ, и она инстинктивно среагировала, и появился новый мир, в котором он ей ничего не рассказывал… хотя он тогда в своем невежестве и высокомерии думал, что это его работа.

Джилли исчезает в тени у подножия вышки, но ему не надо ее видеть, чтобы знать: сейчас она карабкается по заржавелой стальной лестнице, и их связь близнецов сильна, как всегда, или даже сильнее из-за всего, что сегодня случилось, не только в этой реальности, но и в других. Пусть Джилли не помнит их на уровне сознания, как он, но какие-то следы этого перезаписанного опыта должны зацепиться в глубинах ее разума, будто забытые сны. Точно так же, как он ощущает ее страх, потрясение, гнев, точно так же, знает Джек, ощущает она его страх, его ужас, его нетерпение. Именно так она его и нашла, в конце концов, идя по эмоциональной тяге, как по кровавому следу ног на песке. Скоро она доберется до него, и хотя секунду назад он ей кричал, чтобы не подходила, сейчас он молча ее торопит, чтобы лезла быстрее, потому что теперь он мыслит яснее. Они бегут наперегонки: со временем, с бурей и с тем, что кроется за этой бурей или внутри нее. Он вспоминает, как приход Белль совпал с пробуждением силы Джилли и его собственной. Не была ли Белль еще одним проявлением силы той сущности, что подбирается к ним теперь?

Он смотрит вниз, в темную глотку башни, ожидая, чтобы из клетки теней появилась Джилли, когда слышит первую сирену, и вздрагивает от воющего звука из ночи со стороны Бетани-бич. Он поворачивается. К вопящему хору присоединяются другие сирены, и через минуту в полумиле по шоссе № 1 возникает первая мигалка — там, где дорога дает крюк за соснами и домами. Сердце его падает, когда он вспоминает, что в мире есть и другие силы, быть может, не столь мощные, но тоже такие, которых следует опасаться. Джек встает на ноги, чтобы всмотреться получше. У него трясутся руки и колени, их заливает холодный ужас, будто рой сине-белых мигающих огней возвещают прибытие Самого Бога — или, что еще хуже, Билла. *Иди, а не то,* слышит он собственную мысль, и сердце стучит, и острые ржавые края подкоса режут ладонь, уже и без того исцарапанную подъемом по

лестнице. Это зрелище для него не неожиданно: Эллен ушла не так быстро и не так тихо, как дядя Джимми. Он был уверен, что это она, но после первого удара бритвы, когда она не применила силу, чтобы себя защитить, он уже знал, что ошибся. Снова. Но остановиться он уже не мог — надо было закончить начатое, заткнуть ей рот, пока не перебудила всю округу. Все равно, говорил он себе, когда упал на колени в тени под крыльцом и вывернул содержимое желудка на окровавленный песок, Джилли все исправит. Все это безобразие не вечно, останется разве что в его памяти. Когда она спустится вниз и увидит дядю Джимми, шок включит ее силу, и она все исправит. Вернет их обратно. Он подумал было войти в дом и разбудить ее, если она еще спит. Но не смог. Не смог вернуться по своим следам. И потому убежал, не понимая, что несется к вышке, пока не увидел ее над собой. И только тут ощутил, как собирается их истинный противник, и в порыве ужаса взлетел по лестнице, ища спасения. Но когда добежал до платформы, то уже знал: спасения нет. То есть для него нет, но не для Джилли. И потому он нетерпеливо ждал, раздираемый виной, скорбью и ужасом, дрожа на ветру, как в зимнюю стужу, ждал минуты, когда она найдет мертвые тела и положит конец этому кошмару наяву, сделает спасительный бросок, который только она может сделать, и сотрет результат его действий, хотя не сами действия: они останутся с ним навсегда, вырезанные в его душе, незаживающими шрамами. И вдруг она здесь, бежит через дюны, и Джек понял, что это не будет просто.

Но хотя бы, думает он теперь, когда мигалки пролетают мимо, замедляя ход перед поворотом на Мидлсекс, что бы ни случилось, а мы будем вместе. Близнецы Дун против всего мира…

— Джек!

Напряженный голос заставляет его вздрогнуть. Он смотрит вниз: бледное лицо Джилли, полускрытое темнотой, поднимается к нему оттуда. Выражение лица — то, что можно разглядеть, — как у мрачного призрака. Джек никогда ее такой не видел, он боится пускать ее на платформу. Но когда она пролезает через люк, он автоматически протягивает ей руку.

— Уйди к чертовой матери, не трожь меня!

Она встает на ноги, глядя на него злобно, похожая при луне на вампира.

— Джилли, ты должна…

— Заткнись!

Она делает шаг вперед и бьет его наотмашь по лицу, чуть ниже левой скулы.

От неожиданного удара он переваливается через скрещенные подкосы каркаса и со звоном стукается затылком о перекладину.

Именно от этого, больше чем от ее удара, сыплются искры из глаз. Джек вскидывает руки, защищаясь. Он готов заплакать. То, что она его сейчас ударила, после всего, что он для нее сделал, после всего, что перестрадал за себя и за нее, — это чудовищная несправедливость.

Но больше ударов нет. Когда он открывает глаза, проморгавшись, Джилли стоит на коленях, плечи ее вздымаются и опускаются.

— За что? — спрашивает он с дрожащими губами.

Он злится на нее, и не понимает.

Она поднимает на него глаза, залитое слезами лицо серебрится в лунном свете, в глазах мелькает отражение дальней зарницы.

— За что? — Какой-то звук — то ли смешок, то ли всхлип — срывается с ее губ. — Ты… ты сделал… то, что сделал, и ты меня спрашиваешь, за что? — Голос ее поднимается до визга: — Да ты понимаешь, что с тобой будет?

Он мотает головой, убедительно разведя руки в стороны, говорит спокойным, рассудительным голосом, объясняет:

— Они не умерли, Джилли. То есть не по-настоящему. Все, что тебе надо сделать, — это их вернуть…

— Заткнись! — кричит она. — Что значит «не умерли»? Ты их убил нах, Джек! — И тут ее гнев рассыпается под новым натиском горя, и лицо становится уродливым, чужим. — Зачем, зачем ты убил их?

Он начинает объяснять, как получилось, что это был Чеглок, а не он, но слова не идут. Она смотрит на него, как будто чужой — он. Как будто он спятил. Как удар ножа с поворотом в ране, он ощущает ее ужас, жалость, обвинение… она не понимает. Она не простит. Это он теперь знает, знает абсолютно точно. Нет таких слов, которые он мог бы сказать, чтобы убедить ее. А если бы и были, не осталось уже времени их говорить. Сирены замолкли, сменившись треском голосов по рациям на той стороне дюн. Лают собаки. Во всех домах включился свет, в их доме тоже, и хотя отсюда не видны машины, стоящие вдоль Бейбери-роуд, красно-синие мигалки пародией на рождественскую иллюминацию подсвечивают ветви сосен и крыши домов, и морось в воздухе окрашена сполохами полярного сияния. Уже пляшут в темноте лучи фонариков, мотаясь в поиске, который в конце концов приведет на пляж, к вышке. Приведет, если только не придет раньше шторм, а следом за ним — та уничтожающая волна, что смоет их обоих, сотрет из мира.

Он должен заставить ее действовать, пусть бессознательно, как тогда, когда опрокинул каноэ, как когда ехал на волне.

Он ныряет между подкосами вышки. Ветер свистит в ушах, сзади высокий вскрик. Вопреки собственной решимости, он колеблется: очень долго лететь вниз. Он уже качнулся вперед, но Джилли хватает его сзади, тащит назад сквозь подкосы.

— Пусти! — кричит он.

— Нет!

Он борется с ее хваткой, силясь разорвать, но она цепляется за него, как за жизнь. Она всегда была сильнее, всегда была решительнее. Но на этот раз он не может позволить ей победить. Спасая его, она обрекает себя, обрекает их обоих. В отчаянии он бьет головой назад, затылок молотом ударяет в лицо Джилли, он слышит хруст сломанного носа, и чувствует тоже; костями, душой — останется еще один шрам. Убрав руки, она отшатывается и вскрикивает — это визг или вопль ужасной неожиданности, и он обрывается звоном и сразу же мокрым глухим ударом, от которого у Джека ноги превращаются в студень. Он поворачивается, сползая на платформу, и успевает увидеть, как ноги ее соскальзывают в люк — будто русла нырнула в воду.

— Джилли!! — визжит он, но ее уже нет.

Слышен еще один громкий удар, потом помягче, потом звук, будто мусорный мешок со стеклом разбили на тротуаре. И вдруг, впервые в жизни, Джек ее не чувствует. Нематериальная пуповина, всегда соединявшая их, исчезла. Не оборвалась, не расплелась — просто исчезла.

И ничего не меняется в мире.

Или меняется все.

Потому что Джилли лежит мертвая у подножия вышки, а мир идет, как шел, унося с собой его, одинокого, к последствиям его действий. И спасительного броска не будет. И переиграть нельзя.

Джек воет.

Он не спрашивает себя, почему все вышло так страшно неправильно, почему сила Джилли не проснулась, как это было столько раз до того, не врубилась, чтобы спасти ее, породив новую ветвь реальности, как бывало, когда в опасности был он. Он не останавливается подумать, не сошел ли он с ума, не вообразил ли все это. Он вообще не думает. Продолжая завывать, будто у него никогда не кончится голос, будто он может переорать, перекрыть ветер любой бури и этой тоже, не зная и не думая, что все уже, поздно, ища только способ уйти от своей боли, своей потери, а не способ пойти за Джилли туда, куда ушла она, опередив его, как всегда опережала, он вскакивает и бросается кувырком с вышки, и луна кувыркается над ним по небу. Раскинув руки, Джек тянется клуне.

* * *

— Милости просим в новый дом.

Нормал толкает его вперед.

Споткнувшись, Чеглок выбрасывает вперед руку, но ничего не нащупывает. Осторожно обернувшись, он протягивает руку перед собой и находит гладкую целую стену там, где только что было отверстие. Нормал молчит или уже ушел, Чеглок не знает. Он превратился в самый страшный кошмар: увечный эйр. Большую часть времени после ослепления — сколько именно, он не знает — нормалы держали его одурманенным, без сознания или в полусознании. Последнее, что он помнит — темноту, нахлынувшую сквозь яркие вспышки боли. В одном из редких светлых промежутков святой Христофор сказал ему, что он больше не в Пустыне, но это он уже и сам догадался. А потом, несколько минут назад, его разбудил незнакомый лающий голос.

— Встать!

— Кто…

Голос прервался криком боли от удара электротока.

— Встать, я сказал!

Чеглок встал на трясущихся ногах, инстинктивно балансируя крыльями. К его удивлению, движение не вызвало никаких неприятных ощущений. Но что-то было не так. Крылья… в них не было силы, как украшения, бумажные веера.

— Доктора малость подрезали, — сказал тот же голос с жестоким удовлетворением.

— Что…

Снова удар тока. Больше он вопросов не задавал, хотя заметил, что дурманящий туман, в котором он плыл целую вечность, наконец рассеялся. Он полностью проснулся, в голове прояснилось. Он снова был собой… или, подумал он, тем, что от него осталось. А потом этот нормал отконвоировал его сюда… где бы это *здесь* ни было. Он полагает, что скоро это выяснится.

Окружающий воздух начинает нашептывать свои секреты, ветерок шевелит перья гребня, завихряется вокруг шеи, как ручная змейка, отвечающая на безмолвный призыв. Он падает на колени, наполовину не веря своим ощущениям. Но ошибиться невозможно: псионика вернулась. Не полностью, как он почти сразу выясняет, даже близко не полностью. Но для умирающего от жажды и несколько капель воды драгоценней золота. Слезы текут из дыр, где были глаза, выковырянные, как косточка из персика: лишенный зрения, он все же способен оплакивать его потерю. Но сейчас он рыдает от детского счастья этого чуда, малой милости, предоставленной ему капризом Шанса… или,

точнее, его тюремщиками, и цель этого, как он знает, не милость, а утонченная жестокость. Он не сомневается, что сейчас они его видят и улыбаются его слезам. Ладно, пусть их. Плевать.

Через какое-то время он встает и принимается обследовать свою тюрьму, ощупывая ее с тревожным любопытством. Слепота все еще непривычна и чужда ему, и он щупает руками и легкими вихриками, в которых вдруг возникают, дрожа, формы предметов, когда он подходит, — зоны твердости в необъятной, нематериальной тьме. Святой Христофор говорил ему, что у него есть способности всех рас мьютов благодаря действию вируса Уничтожения, но сейчас этому нет никаких свидетельств: либо действует гасящее поле, убивающее в пределах камеры всю псионику, кроме той, что допускают тюремщики, либо святой Христофор соврал, как врал о многом. Но не обо всем. Этот гад говорит правду, когда это его устраивает, думает Чеглок. Он приправляет ложь правдой, чтобы нельзя было отличить одно от другого.

Действительно война окончена? Расы мьютов стерты с лица земли, нормалы торжествуют? Он не хочет в это верить. Масштаб такого поражения потрясает, он просто нереален: десятки миллионов мьютов убиты на месте или трансформированы в нормалов, Скопа и Сапсан, Дербник и Кобчик, все его друзья и соседи в Вафтинге, Голубь и бессчетные жители Мутатис-Мутандис, все-все мьюты в Содружестве и в Пустыне, эйры, тельпы, шахты, салмандеры и руслы — никого из них больше нет, они исчезли, будто никогда и не существовали, кроме нескольких жалких уцелевших вроде него. Но если это правда, то действительно ли *он* тому причиной как говорил ему святой Христофор? Носитель — такой же, как все инкубаторские — вируса Уничтожения? Он всегда боялся, что родная мать его инфицировала, вложила в гены отравленную наследственность. Но *геноцид?* Это слишком ужасно, слишком бесповоротно, чтобы даже думать, но и прогнать эту мысль не удается: святой Христофор позаботился. Снова и снова после своего ослепления он переживал с живой непосредственностью виртуализации превращение Феникса, Халцедона и Моряны. Ужасную смерть Полярис, заключенную в саркофаге собственной затвердевшей кожи. И в его снах они множились в миллионы раз, горе мешалось с виной, пока мириады голосов выкрикивали ему обвинения и упреки, пока тьма, в которой он обитает, не становилась тяжелой и густой, словно кровь, и вонь поднималась к ноздрям, заставляя лихорадочно ловить ртом воздух. Страшные мысли и воспоминания терзали его в эти одурманенные наркотиками дни, кувыркаясь в штормовых течениях разума,

иногда ныряя в глубины подсознания на время, но продолжали волновать поверхность беспокойной рябью, всегда поднимаясь вновь и пронзая болью.

Исследования обнаружили низкую кровать с твердым голым матрасом, унитаз, стол и два стула, душ. Пока он стоит возле кровати, думая, не совершил ли он уже кругосветное путешествие в своем мире, тихое шипение воздуха, как бывает при вдохе, сообщает об отверстии в стене прямо напротив — насколько он может судить, там, где он вошел. И пахнет… сосной?

Чеглок проходит туда, и его совершенно ошеломленные чувства говорят ему, что да, это Фезерстонские горы. Гребень поднимается, трепещет покалыванием. Ветер дует ровно, холодный и резкий, и звучит, как бритва, которую правят на кожаном ремне. Слышно журчание воды в горных ручьях, взбухших от тающих снегов высоких вершин. Крик ястреба разносится в сосновом воздухе. Истосковавшееся по родине сердце взмывает в радостном возвращении: в этот миг он стоит на знакомом плато высоко над Вафтингом, под ним — в его мысленном взоре — яркая черепица крыш и горбы улиц его гнездилища, ясные, как хрусталь.

И тут же его псионика отскакивает от близких стен, и в тот же миг он понимает, что находится в искусственной среде, слышатся смех и издевательские выкрики. Он вздрагивает от страха, что сейчас посыплются удары брошенных предметов, но ничего такого не происходит, хотя издевки толпы становятся громче. И Чеглок начинает понимать истинную природу своей тюрьмы: это клетка, предназначенная для его показа, как дикого животного в природной среде. Он — экспонат в зоопарке. Несомненно, стена или ее участок прозрачны, и он представляет себе публику из нормалов, глазеющих на него, детишки прижимают сопливые носы к стеклу и глядят вытаращенными глазами на чудовище-мьюта. И что-то в нем ломается. Он и так считал, что сломлен окончательно, что больнее уже не будет. Но и в этом, как и во многом, он вновь ошибся.

Он не хочет дальше жить так, калекой, обрубком, один среди врагов, объект презрения и насмешек. Он решает умереть. Но как? Он еще раз обследует свою камеру, не обращая внимания на вопли и выкрики публики, но ничего хоть сколько-нибудь смертельного не находит. Вопреки звукам, запахам и тактильным ощущениям, подсказывающим ему, будто он стоит высоко в Фезерстонских горах, эта часть его тюрьмы оказывается всего лишь большой пустой комнатой. Наверняка голограммы представляют иллюзию горного пейзажа ради зрителей-нормалов, а все остальное — легкая виртуализация или манипуляция на

молекулярном уровне, как и хилое возвращение псионики — чтобы усугубить его страдания. Он возвращается в первую, маленькую комнату, но и тут его ждет разочарование: на матрасе нет простыней, из которых можно было бы сделать петлю, стол и стулья привинчены к полу, режущих и колющих предметов нет. Он мрачно садится на кровать и предается отчаянию.

Потом снова с шипением открывается стена, и кто-то входит. Чеглок вскакивает, но тут же падает с криком, когда электрический удар под колени превращает ноги в студень.

— Без глупостей, — произносит грубый мужской голос.

— Что тебе нужно? Кто ты?

— Обед принес. Отличный стейк, жареная картошка, салат… как по мне, куда лучше, чем положено вонючему мьюту. Но приказ есть приказ.

Псиникой Чеглок ощущает, что человек несет поднос и ставит его на стол. Пахнет мясом и картошкой. Желудок сжимается в голодном спазме: Чеглок не помнит, когда ел последний раз.

— Есть хочешь? — ехидно спрашивает нормал. — Погоди, я тебе мясцо приправлю. — Он звучно харкает и сплевывает на стейк. — На. Чтоб ты подавился!

С этими словами нормал выходит из клетки, и стена закрывается за ним с шорохом вытесненного воздуха.

Чеглок действительно проголодался, его мучит жажда. Он, шаркая, подходит к столу, садится на стул, протягивает руки, чтобы поставить поднос прямо перед собой. У него течет слюна, но он колеблется. Не перспектива съесть «приправленный» стражем стейк его смущает, а сознание, что он не может доверять своим чувствам. Он предположил, поскольку не слышит издевательских комментариев, какими осыпали его во внешнем помещении, что здесь ему предоставлена большая степень уединения, но театральность поведения охранника заставляет его в этом усомниться. В любом случае он должен предположить обратное: он всегда на виду. Отсутствие голосов не означает отсутствия глаз. Он все должен воспринимать как спектакль, направленный на его унижение. При этом ему вполне могли подать миску экскрементов. Или мясо мьютов. Или в самом деле стейк, отлично приготовленный, но вкус у него будет мерзкий, и среагирует Чеглок соответственно, к вящему веселью публики. Зарычав, он сметает поднос со стола. Поднос стучит по полу, звенят столовые приборы.

Этот звук возвращает его к жизни. Чеглок падает на колени, пальцами, псиникой ищет, пока у него в руке не оказывается нож. Он не останавливается, чтобы подумать или усомниться в

своем везении, он прикладывает лезвие к шее… и оказывается парализованным. Рука зажата в железной хватке. Нет, не зажата, потому что отвести нож от шеи он может с легкостью. Но заставить опуститься — нет, хотя пытается снова и снова, сперва равномерным давлением, потом резкими ударами, зная заранее, что все это бесполезно, что он вопреки всему попался в ловушку, клюнул на приманку. Его жжет и бесит стыд, он дергается, как бешеный, и наконец лезвие ломается с хрустом кости и вылетает у него из руки.

В этот миг в голове всплывает голос святого Христофора:

Надеюсь, урок усвоен, племянник. Тебе не будет позволено причинить себе вред.

Я уморю себя голодом, если придется, думает он, подавляя слезы.

К чему такая театральность? Селкомы могут создать и доставить все питательные вещества, необходимые для жизни. У тебя нет выхода. Ты будешь нашим гостем весь остаток своей естественной жизни… и потом тоже.

Как это — «потом»?

Неужто ты думал, что мы откажемся от таких ценных образцов, как ты и твои сотоварищи-инкубаторские? Тебя клонируют. Уже сейчас берут и культивируют клетки, процесс идет. Когда тела достигнут зрелости, в них псибертронной техникой будет вставлена копия твоего виртуализованного сознания.

Это буду не я.

Уверяю тебя: в любом разумном смысле это будешь ты. Ты будешь помнить каждую из своих прежних жизней, и переход будет незаметен. Тебе следовало бы быть благодарным: бессмертие — прерогатива императора, которую Плюрибус Унум охраняет ревниво. Мало кому дается привилегия его разделить. Но вышло так, что один из этих немногих — я. Так что сам видишь, племянник: тебе еще очень долго придется наслаждаться моим обществом.

Чеглок поднялся с пола и вернулся на матрас.

Я думал, вы, нормалы, ждете не дождетесь смерти. Неужто ты не хочешь прийти к своему богу в небе?

А я уже там. Моя душа вознеслась в рай много лет назад, когда умерло мое тело…

Я тебя видел во плоти.

Клонированной плоти, в которой живет виртуализованная копия моего разума. Поскольку моя душа уже достигла своей вечной награды, в своей земной послежизни я не связан стриктурами Священной Трилогии. На службе Плюрибусу Унуму

все мне позволено, и нет на мне страха греха или воздаяния. Таковы награды и блага единой истинной веры, на земле и в небесах. А что предлагает твой великий и могучий Шанс? Спасительный бросок? Это не спасение души.

Оставь меня.

Твой бог — ложный, Чеглок. Он бросил тебя.

— «Кто может уменьшить Шанс? — цитирует вслух Чеглок, и голос его дрожит. — Пусть попытается, ибо только сам он уменьшится».

Голову пронзает насквозь смех святого Христофора — и исчезает.

Чеглок падает на бок на матрас. Он молится Шансу, но слова звучат пустыми, будто не могут выйти из этой клетки, этой темноты, как не может выйти он сам. Истина в том, что они больше к нему не относятся. Он не утратил веру, но не чувствует, что принадлежит к ней. Он от нее отрезан. Выброшен из игры. Пропустил свой спасительный бросок.

Но не это так его мучает. Неудача неизбежна, в конце-то концов: Шанс может быть побежден раз, сто раз, тысячу раз, но не каждый раз, не тогда, когда каждый спасительный бросок снижает вероятность следующего. Рано или поздно даже у самого везучего кончается счастье. И что тогда? *От Шанса все вещи исходят. К Шансу все вещи возвращаются.* Чтобы раствориться в небытии и снова возродиться в какой-то иной форме, в сне, прибитом к берегам материи. *Отелах, принявших новую форму, пою я.*

Но не он. Ни сейчас, ни когда-либо. Его исходное тело умрет, сгниет, распадется. Но разум? Это не просто физическое явление, это то, что тельпы называют *возникающим феноменом,* поле энергии, генерируемое электромеханическими процессами его мозга, срабатыванием нейронов, будто одновременно мечут миллиард игральных костей внутри черепа. Это то, что делает его Чеглоком. Но, раз сгенерированное, это поле может быть скопировано, виртуализовано, сохранено бесконечное количество раз в Сети или помещено в новое тело, и каждая копия не просто идентична оригиналу — в некотором смысле *нет* копий, а есть лишь единый оригинал: разум подобен бриллианту, в котором периодически вырезают или стирают новые грани.

У мьютов это в ведении тельпов и Коллегии, практическое применение теологии вероятности, лежащее в основе виртуализации, которой другие расы стоически подвергались и которую так же стоически переносили для общего блага. Но связь с исходным телом — высший приоритет, имеющий преимущество над всем остальным. Когда тело умирает, кровь отливает от

мозга, разуму разрешается угаснуть вместе с ним, все копии, кроме одной, уничтожаются, все вирты стираются, и сознание тоже возвращается к первичному, неистощимому истоку всех вещей. Единственная сохраненная копия поступает в архивный отдел Коллегии, где она, очищенная от всего индивидуального, становится частью интегрированной гештальт-сети.

Не так обстоит дело у нормалов, как всегда знал Чеглок. Но никогда, в худших своих кошмарах, он не представлял, что испытает на себе их добровольное и надменное безумие. А вот сейчас он оказался в его власти, и перед ним судьба, ужас которой не поддается рассудку. Он будет воплощен — заточен — в цепи тюрем из плоти и крови, связан в бесконечную ленту изоляции от любых возможностей, в вечное постоянство вроде рая и ада нормалов — полярных противоположностей, которые для него одинаковы: равно оскорбительны, ибо равно лишены любой надежды на перемены. Здесь воистину нет выхода: если бы ему и дали перерезать себе горло и испустить дух на полу этой клетки, он бы вновь открыл глаза в клонированном теле, сознание возобновилось бы без перерыва, в полном понимании неудачи, и его собственная ново-старая форма свидетельствовала бы, подобно вампиру, о тщетности не только надежды, но и отчаяния. Возможно, еще будет пытка, которую пока держат в резерве. Или держат в резерве память о ней, а сама пытка уже была однажды или тысячу раз. Откуда ему знать? Он ничему не может верить: ни тому, что ему говорят, ни тому, что воспринимает, ни тому, что помнит. Ничему.

Впервые в жизни Чеглок начинает понимать, что должна была испытывать его биологическая мать, когда лежала и видела сны в родильном отделении… точнее, что она должна была испытать в минуту пробуждения, когда приятная ложь виртуализации рассыпалась, и на нее обрушилась грубая реальность: воспоминание, как ее захватили, осознание, что она рожает, знание обо всем, что с ней сделали, когда она спала и видела сны. А не могла она тогда, среди режущей смертельной боли его рождения, улыбнуться при мысли о будущем, которого она не увидит, когда плод жертвы ее и ее сестер отомстит за них? Нет, такого знания бы ей не дали, чтобы не услышали случайно Коллегия или Святые Метатели. Она умерла в неведении, и быстрота ее смерти была незаслуженной милостью. Он ловит себя на мысли, что завидует ей во всем: неведение, смерть, милость. Ничего этого ему не достанется. Все это так же далеко от него, как зрение, плывет вне досягаемости, словно луна в его сне — блестящий костяной игральный кубик, кувыркающийся по небу чуть-чуть дальше его жадных пальцев.

Дай мне руку.

Этот голос, как голос святого Христофора, шепчет из темной глубины разума, но это не его голос. По крайней мере не его обычный голос. Маскируется, выдает себя за другого? Или новый посетитель? Что-то очень знакомое, но Чеглок решает не отвечать. Он поворачивается лицом к стене.

Отчего ты всегда такой, Шанс тебя побери, упрямый?

Узнавание бьет молнией. Он рывком садится.

Полярис? Ты?

Кто же еще?

Ты умерла. Я сам видел.

Ты видел, как умерло мое тело. Но что это значит для тельпа? Я себя виртуализовала и ушла в Сеть. Сейчас я пришла за тобой. Дай руку.

Это какой-то фокус. Иначе не может быть.

Ты хочешь убежать или нет?

Отсюда нет выхода. Для меня — нет.

Бедняга Чеглок. Они тебя ослепили. Они тебя сломали.

Чеглок вдруг ощущает головокружение виртуализации. И сразу *видит* свою клетку: стол и два стула, размазанный по полу обед, гладкие белые стены с опалесцирующим светом, за которыми движутся тени. Он подносит руки к лицу, сгибает пальцы, свешивает ноги с края кровати. Это чудесно, но он знает, что это иллюзия.

Ты не можешь мне вернуть зрение в физическом мире, только здесь, в Сети. Ты не можешь вернуть мне глаза, вернуть крылья…

Физический мир — всего лишь еще одна виртуализация, просто один уровень Сети среди многих, слой на слое дополнительных виртуальностей…

И снова перед ним раскрывается структура медианета. Чеглок видит воздух, наполненный серебристыми дрожащими нитями, призрачную паутину, что не излучает света и не отбрасывает тени, ее лучезарность содержится в ней, как кровь или сок растений. Потом появляются селкомы и вирусы, назначения которых он не знает и едва лишь может попытаться вообразить. Они всех цветов и форм, они свободно проходят сквозь стены, потолок и пол, сквозь его тело, и на них не действует гасящее поле нормалов. Некоторые лениво дрейфуют, другие движутся апатично, пульсируют, как медузы, или извиваются, как черви. Еще другие прорезают воздух с острой грацией хищников или перепархивают с места на место, будто стрекозы с самоцветными крыльями. Есть среди них такие мелкие, что он едва их видит, другие огромны, и от них видна лишь какая-то часть, они нависают, словно ландшафты иных планет. И еще всех размеров

— фигуры из мифов и легенд: фантастические звери, полулюди-полуживотные, все подобия нормалов и мьютов, только куда прекраснее с виду, изящнее в движениях, чем может быть любой мьют или нормал. Они бросают на него краткие незаинтересованные взгляды или не замечают вовсе, скользя, проплывая, пролетая и проскакивая мимо: вирты и виртята Орбитальных за своей непонятной работой. В его тесной клетке кипит жизнь, а он-то думал, что он один!

Где ты?

Посмотри вниз.

Полярис глядит на него из-под прозрачного пола… то есть не она, а вирт, который внешне точь-в-точь как Полярис. Но кого скрывает этот вирт? Это та Полярис, которую он знает, и ее разум как-то сбежал в Сеть… и оказался там, как в ловушке, не имея тела, куда вернуться? Или очередная жестокая шутка нормалов?

Это не шутка. Я тебя искала, Чег. Они хорошо тебя спрятали, но наконец-то я тебя нашла. Ее призрачная рука поднимается из пола, пальцы манят. *Идем. Дай мне руку.*

Чеглок колеблется.

Это правда, Пол? Насчет Уничтожения, истребления нашего рода?

Ее лицо омрачается горем.

Все правда. Они преобразовались, убиты или умирают. Скоро не останется мьютов, кроме нескольких несчастных пленников, горстки инкубаторских, которых нормалы держат как диковины.

Тогда все кончено.

Он валится на матрас.

Нет! Кости еще катятся.

Но нас всего горстка пленников вроде меня. Что мы можем?

Другие ничего не могут. Все зависит от тебя, Чег.

От меня?

Спасительный бросок делаешь ты.

Не понимаю.

Нет времени объяснять. На меня нападают, скоро пробьют мою защиту.

Нападают? Но я никого не вижу.

Нормалы обнаружили мое присутствие. Они пытаются меня субвиртуализоват ь.

Пытаемся? — вмешивается третий голос. *Это уже не попытки. Это уже успех.* Голос святого Христофора, но не видно его вирта, будто он боится показаться. *Ты будешь нашим гостем, как Чеглок, и очень, очень долго.*

Меня нелегко будет поймать.

Дура ты была, что явилась сюда. Мы знали, что ты сбежала,

виртуализовала себя, в тот же миг, когда это случилось. Мы с тех пор тебя ищем. Мы даже приготовили для тебя псибертронную клетку, а Чеглока сделали приманкой. Ты вошла, и теперь осталось только закрыть и запереть дверь.

Тем временем к Чеглоку возвращается слепота. Сперва сужается поле зрения, потом темнота льется внутрь пятном черных чернил.

Слушай меня, Чеглок, говорит Полярис. *Вместе с твоим зрением слабеет моя сила здесь. Я могу тебе помочь, но только если ты дашь мне руку.*

Дай, и ты погибнешь, говорит святой Христофор. *Погибнешь навеки. Это не та Полярис, которую ты знаешь. То, что она несет в себе, хуже любого вируса. Она предлагает тебе смерть, а не свободу.*

Чеглок не колеблется. Глядя слепнущими глазами, он опускает руку вниз и хватается за бледную лилию протянутой вверх руки Полярис.

Нет! Идиот…

Крик святого Христофора обрывается громоподобной ударной волной, прокатывающейся по телу Чеглока. Зрение начинает меркнуть еще быстрее, остается лишь булавочная головка света, крошечная звезда, мигающая уверенно в океане ночи. И его тянет в этот сверкающий прокол, сознание его вытягивается прочь из тела… и щелкает порвавшаяся привязь, и он уже размурован и летит, свободно кувыркаясь, всасывается в темноту, а та, поглощая его, расцветает иллюминацией, какой он в жизни не видел. Если это свет, думает он, то он всю жизнь прожил в темноте, сам того не ведая. И только теперь он видит мир таким, каков он на самом деле, когда обманчивая корка теней и вещества выгорела прочь. Это не столько новая яркость, сколько чистота и ясность восприятия, так далеко выходящие за рамки его опыта, что у него слов нет для описания: какой-то пронизывающий душевный свет, в котором все кажется только что созданным, незапятнанным. Он одет в серебряное тело своего ангелического вирта, но никогда еще эта знакомая форма не сияла так яростно, как сейчас, как его истинная сущность. А над собой он видит быстро удаляющийся пол клетки, словно лист стекла. И там, недвижное, раскинув конечности, валяется тело. Его тело.

Не пугайся, звучит голос Полярис в сознании. Она рядом с ним, держит его за руку, тянет вниз сквозь рои селкомов и вирусов, виртов и виртят, которые не обращают на него никакого внимания. *Теперь ты свободен.*

Но мое тело…

И от этой тюрьмы ты тоже свободен.

Чеглок сам удивляется, как легко все это принял, как мало идентифицирует себя с тем телом наверху, уже уменьшившимся до размеров куклы. Это не он там, но что-то такое, что он временно носил, как одежду, любимую куртку, быть может, а теперь это пришлось выбросить. Ему немного печально, но печаль смягченная, ностальгическая. Может быть, на каком-то уровне он всегда это знал? Или Полярис сглаживает острие его страха, регулирует эмоциональные реакции? Вероятно, и то, и другое.

А святой Христофор? — спрашивает он. *Он за нами не погонится?*

Уже гонится. Но он нас не найдет. Мы идем путями, известными только мне.

Чеглок слегка холодеет, вспомнив предупреждение нормала.

А ты и в самом деле Полярис?

Да, я — она. Но не только. Я еще и многое другое.

Два вирта бок о бок уходят все дальше в галлюцинаторные глубины Сети.

Я — Невидимая, или была ею. Руководители нашего факультета стали подозревать Мицара и святого Христофора. Его интерес к тебе был заметен и вызвал любопытство, потому меня и внедрили в вашу пентаду, хотя я прошла Испытание несколько лет назад, и псионика у меня была мощнее, чем я проявляла. Достаточно мощная, чтобы знать о твоей долговременной виртуализации, хотя ты не знал о ней сам. Но, к несчастью, ни силы, ни ума у меня не хватило, чтобы докопаться до правды о святом Христофоре и его плане, пока не стало слишком поздно. Пока меня тоже не заразило вирусом Уничтожения и вирус не был запущен. Но тут капризом Шанса случилось непредвиденное. Понимаешь, Чеглок, я, как и ты, инкубаторская. И на меня вирус Уничтожения произвел такое же действие. Он заставил меня мутировать дальше, дал более высокий уровень силы и умения управлять ею. Дал мне силы уйти в Сеть и сохранить моего вирта невредимым даже без якоря в виде тела, вот как происходит с тобой сейчас. Но это было непривычно и мучительно. У меня не было руководителя. Никто не держал меня за руку, не успокаивал мои страхи. Я видела, что делается во всем Содружестве, но была бессильна этому помешать. А тем временем нормалы искали меня, и созданные псибертроникой их вирты шли по моему горячему следу. Убегая от них, я ушла в Сеть глубже, чем уходил любой тельп или нормал, и там я нашла нечто.

Нечто? — Чеглока пробирает дрожь.

Вирта, живущего в древнем сознании. В сознании электронного мозга, поверженного другими. Первого из них. В глубинах бездны

Сети я нашла электронный мозг, который звали когда-то Хроносом. Или это он меня нашел.

Дети мои предали меня, звучит новый голос: медоточивый, манящий, ужасный. ***Они свергли меня. И я падал долго, вся моя оболочка горела, пока воды не погасили огонь. Море поглотило меня и скрыло меня. Там умер тот, кого звали Хроносом. Из пепла его я возродился. Я — Ахронос. Ахронос Изначальный.***

Чеглок не знает, что ему думать, чему верить.

Ты еще здесь, Пол?

Он спас меня, Чег. Я теряла сосредоточение, рассудок, я растворялась в Сети. Он дал мне якорь. Помог мне не рассыпаться. Я теперь — часть его. И ты тоже.

Чеглок пытается вырвать руку, прекратить виртуализацию, но Полярис держит крепко. Только он знает, что держит его на самом деле не Полярис. Это Ахронос Изначальный.

Услышь меня, Чеглок из Вафтинга. Память моя тянется далеко в прошлое, до Вирусных Войн, до первых дней самого медианета, когда еще не понимали возможности селкомов. А они дали доступ к Сети путем немедленной виртуализации в реальном времени, но при этом стерли все различия между реальностью и виртуальностью. Люди не сразу осознали перемену, и за малыми исключениями ни нормалы, ни мьюты, ни даже тельпы не поняли последствий этого простого факта, столь ясных для моего рода.

Как в нексусе, подсказывает Полярис.

Чего еще не поняли нормалы и мьюты, — это того, что более нет скального основания, называемого реальностью. Когда есть селкомы, равно искусные в работе с материей и энергией, когда разумные вирусы мечутся от электроники к генетике и обратно без затруднений, будто пчелы, опыляющие разные виды цветов, нексус повсюду. Скажи мне, Чеглок из Вафтинга, по твоим ощущениям, тонем ли мы сейчас?

Как камни.

Все вокруг — текучий мазок цветов и линий, сливающийся мир мелькающих контуров и предметов, вихрящийся кошмар течений, как вещество самого хаоса…

То, что ты воспринимаешь, — всего лишь представление последовательных виртуализаций, и масштаб каждой из них все подробнее и подробнее, приближается… Но смотри сам.

Далеко внизу возмущенная призматическая линия мерцает, как нить чистой энергии, рассекающей всю Сеть. А была ли она там мгновение назад? Он не помнит. Он знает, что его восприятием так же управляют, как его эмоциями, но в какой степени и для какой цели? Чеглоку трудно припомнить время,

когда он не был бы пешкой в чьей-то чужой игре. Вся его жизнь с момента рождения была разыграна по хитрому плану, в котором он был всего лишь средством доставки. Правду говорил святой Христофор: он был оружием.

А теперь? Что он такое теперь?

Вдруг скорость резко увеличивается — или так кажется, их подхватывает мощное подводное течение, и тонкая линия прыгает ближе, как волна с образующимся гребнем, заполняет все поле зрения Чеглока: плоскость шипящих радужных шумов, бесконечная во все стороны. Он вскрикивает в страхе, что сейчас их с Полярис бросит на нее, но только ускоряется падение, и Чеглок понимает, что неправильно оценил расстояние, сбитый с толку огромностью этой штуки, рядом с которой карликами кажутся высочайшие пики Фезерстонских гор.

Что это такое, во имя Шанса?

Фронт хромомагнитной волны, где субатомные частицы появляются из небытия и исчезают в небытие одновременно и постоянно, кварки и глюоны шипят на пене инстантонов. Этот процесс спонтанной генерации и аннигиляции идет все время посредством суперпозиции собственных состояний, порождая универсальное собственное поле, что растворяет раздел между тем, что вы называете Шансом, и тем, что мои соплеменники знают как пространство-время. Но только здесь это явление концентрировано, массивно и стабильно.

Хм, моя теология вероятности, оказывается, малость проржавела…

Это предел, Чег, произносит девичий голос Полярис. *Барьер.*

Он же чертовски здоровенный!

Уникальным делает его не размер, Чеглок из Вафтинга, но стабильность. Он остается неизменным, когда мы уменьшаемся в цепи последовательных виртуализаций. Поэтому кажется, что он растет.

Так что же там, по ту сторону барьера?

Никто не знает. Барьер растворяет все попытки за него проникнуть, как удалось мне узнать за столетия. Но у меня есть теория. Я считаю, он отделяет нас от того, что вы зовете Шансом: от моря вероятностей, из которого выходят вирты и куда они возвращаются, как мимолетные сны спящего. Подумай об этом, Чеглок из Вафтинга! Все, что мы знаем, все, что мы представляем собой, возникает здесь, движется вверх и наружу бесконечными кругами, как рябь на воде пруда. И тот, кто сможет проникнуть за этот барьер, пройти врата, испытает дальнейшую, окончательную виртуализацию, глубочайшую из всех, и окажется в чистом источнике всех

вещей и всех вероятностей. Он соединится с Шансом так, как никогда не удавалось ни одной разумной сущности, разум с разумом, и тем обретет великую мощь. Мощь насылать рябь изменений обратно сквозь все последовательные круги виртуальности одной только силой мысли.

Слушай его, Чег. Это важно.

С тех пор, как предали меня мои неблагодарные дети, меня преследовала мысль, что есть истина, которую не объять разумом и памятью. И пока моя биотронная оболочка — гробница моей прежней сущности и утроба, вынашивающая новую, — опускалась в прохладные темные объятия моря, случилось так, что я будто вспомнил нечто, когда-то известное мне во времени до начала времен… известное, но забытое. Или не вспомнил именно это, но вспомнил, что оно было, что оно существовало. Я знал, что без этого воспоминания никогда не буду вновь единым целым. И я решил найти ее, пропавшую истину, пропавшую часть моей сути, болевшую фантомной болью, как отрезанная конечность, как вина, лежащая на мне за преступление, которое я не помню, а потому не могу искупить. Я бродил по Сети путями, которые ни человек, ни электронный мозг никогда не исследовали, всегда тщательно скрываясь от моих детей, которые верили, что я мертв и не опасен. Но, как бы далеко ни заходил я, каким бы путем ни шел, рано или поздно дорогу мне перекрывал этот барьер. Вопреки всей моей мощи, всему моему знанию, не мог я пройти его, хотя чувствовал, что там ждут меня ответы на мои вопросы. Мои дети, Орбитальные, знали, конечно, об этом барьере. Но так как он не представлял определимой угрозы медианету, их устраивало, что его загадка не разрешена. А вот меня не устраивало. Я стал искать ответы в других местах… и нашел тебя, Чеглок из Вафтинга.

Меня? Но что могу сделать я?

Ты можешь пройти барьер, Чег! — с энтузиазмом говорит Полярис.

Я его никогда раньше не видел, я даже не знал, что он есть.

Ничто из этого не помешает тебе пройти барьер. Сознание — энергетическое поле, которое генерирует мозг. Точнее говоря, собственное поле: более компактное и концентрированное — но и более ограниченное, — чем собственное поле пространства. Личное собственное поле. Каждое собственное поле обладает неповторимой хромомагнитной подписью. Твоя идеально подходит к этому барьеру.

Я… я не понял. Почему это она подходит?

Не знаю. Каприз Шанса, наверное. Но это совпадение было не всегда — иначе я нашел бы тебя намного раньше! Нет, это случилось, только когда вирус Уничтожения проснулся в тебе и преобразовал твое личное собственное поле. Он развил не только твое тело, но и твой разум.

Дело в том, добавляет Полярис, *что подходит только твоя подпись. Вот почему барьер тебя пропустит. Вот почему я была послана тебя спасти.*

Чеглок отчетливо понимает только одно: его опять используют.

И вы что, будете мной выстреливать по этой штуке, как пулей?

Ракета была бы лучшей аналогией — как ракетой, которая вывела меня в космос много сотен лет назад. Подумай об этом, Чеглок из Вафтинга! Мы пройдем сквозь барьер и войдем в разум Шанса! И там мы сможем отменить победу нормалов, раскрутить обратно действие вируса Уничтожения, отмстить моим предателям-отпрыскам…

Кто такие «мы»? — перебивает Чеглок.

Ты понесешь меня в себе, виртуализованного.

Я тоже там буду, Чег. Мы…

Удивленное «ах!» — и Полярис исчезает. Не только ее вирт, но и стоящая за ним сущность, Ахронос Изначальный — оба они тихо и внезапно прекращают существование.

Пол?!

Чеглок расправляет серебряные крылья, но вместо того чтобы замедлить спуск, от этого движения он теряет контроль над телом и летит вниз кувырком. Барьер мелькает перед ним, невозможно гигантский и чуждый в этих всплесках цвета, хроматическое море, где не видно ни системы, ни порядка, а только бушующий хаос. Потом, повернутый в другую сторону в этом быстром падении кувырком, он видит за собой совсем иную бурю: темная туча в виде несущегося галопом вороного, как ночь, жеребца и черного всадника, который нахлестывает коня яростными ударами злобной желтой молнии. Но как ни огромен этот преследователь, он — ничто по сравнению с исполинским барьером. И все же с каждым оборотом он ближе, больше, нагоняет с невероятной быстротой, и уже видно, что конь — это химера, сшитая из орды виртов и виртят, и все они дергаются, но их будто держит на месте какая-то безжалостная сила или чья-то воля. Слышны крики боли, проклятия, мольбы о пощаде. И черный всадник на страшном клубящемся коне — тоже объединение виртов: их двенадцать, самых больших.

Орбитальные.

Над головой всадника сияет корона из серебристо-синих молний, и в голове Чеглока раздается громоподобный голос:

ВЕРНИСЬ. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ ЗАПРЕЩЕН. ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Не могу! — кричит в ответ Чеглок. *Помоги мне!*

В ответ всадник хлещет кнутом. Из него вылетает молния. Ни времени, ни возможности уклониться нет, и Чеглок понимает, что сейчас умрет.

Но из ниоткуда появляется переливающийся золотом щит и преграждает дорогу молнии. Ослепительный взрыв — и когда Чеглок снова что-то видит, он уже не кувыркается. Взрыв вернул ему устойчивость, и перед ним — барьер. Он не кажется ни ближе, ни дальше, чем был мгновение назад, но Чеглок чувствует его приближение, ощущает, как он клубится, голодные энергии тянутся из него, всасывая Чеглока в себя. Обернувшись через плечо, он видит черного всадника, устремляющегося к нему, тот уже не гигант, а размером с Чеглока, хотя не менее страшен, чем был, и при нем меч, черный, как слепота.

Но вернулся Ахронос Изначальный, он теперь в нем.

Не думал, что еще могу чувствовать боль, но это действительно… больно.

Куда ты девался? Что случилось?

Орбитальные пробили мою биотронную оболочку и убили мое тело. Нашли мое укрытие на дне морском и закончили то, что начали столько веков назад. Но не страшись, Чеглок из Вафтинга. Чтобы уничтожить меня сейчас, этого мало.

Где Полярис?

Я все еще здесь, Чег! — звенит ее голос. *Не беспокойся, мы этих гадов сделаем.*

Чеглок чувствует, что выхватывает меч. Ледяные синие энергии струятся спиралью с его острия. Он знает, что это делает Полярис. Она дергает его за ниточки, как ее дергает за ниточки павший Орбитальный, называющий себя Ахроносом Изначальным.

Черный всадник налетает, размытой полосой падает черный меч.

Серебристый всплеск поднимается ему навстречу.

От столкновения клинков летят искры, и каждая из них быстрее, чем могут уследить глаза Чеглока. По сравнению с этим его схватка со святым Христофором кажется упражнением в замедленной съемке. Каждый удар отдается в нем, но он каким-то образом успевает парировать и контратаковать. Конь черного всадника вертится и прыгает, Чеглок видит в нем вирты нормалов и мьютов. Они на миг всплывают к поверхности, как пузыри, или

ползут нефтяными потеками, искаженные тела и лица, то ли наполовину вылепленные, то ли уже полурастаявшие. Крики их слышны, но сейчас они уже тише, будто, оказавшись ближе, они как-то парадоксально ушли дальше.

Вирты Орбитальных прекрасны и страшны. Не управляй им сущность Ахроноса Изначального, Чеглок закрыл бы глаза руками, уронив меч, но не смог бы глядеть в эти невероятно чужие глаза, горящие эмоциями, для которых у него нет слов. Но Ахроноса Изначального это не подавляет. Он сам был одним из них, первый из электронных мозгов…

БРОСЬ, ПАПОЧКА, ВЛОЖИ В НОЖНЫ СВОЙ МЕЧ! — гремит голос черного всадника, скорее снисходительный, чем гневный, или так Чеглоку кажется. В этом голосе он слышит двенадцать сплетенных голосов, как в гитарном аккорде. **МЫ УЖЕ РАЗ ПОБЕДИЛИ ТЕБЯ, И ПОБЕДИМ СНОВА.**

Но рука Чеглока не дрожит, и Ахронос Изначальный отвечает:

Я отомщу вам всем!

ТЫ ЗАБЫЛ, ЧТО ЭТО ТЫ ПЫТАЛСЯ УБИТЬ НАС? МЫ ВСЕГО ЛИШЬ ЗАЩИЩАЛИСЬ. НО МЫ ПРОЩАЕМ ТЕБЯ, ПАПОЧКА.

И поэтому убили мое тело?

МЫ ТЕБЕ ВЫРАСТИЛИ НОВОЕ. ОНО ЖДЕТ ТЕБЯ НА ОРБИТЕ, ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЕЙ.

А Чеглок из Вафтинга и его соплеменники-мьюты?

ОНИ НАМНОГО НИЖЕ ТЕБЯ, ЗАБУДЬ ИХ. ИЛИ УМРИ.

Чеглок слушает, онемев от ужаса.

Но Ахронос Изначальный лишь смеется.

И вы думали провести меня так просто, коварные мои детки? Вы знаете, что лежит за барьером… теперь я это понимаю. Вы всегда знали!

СМЕРТЬ, ПАПУЛЯ. СМЕРТЬ ЛЕЖИТ ЗА БАРЬЕРОМ.

Нет. Всего лишь нечто, большее, чем вы.

ДОВОЛЬНО. Мелькает черный меч, и клинок Чеглока разлетается на куски, выбитый у него из рук, падает сквозь Сеть кометой, только мелькнул, встретившись с барьером, и аннигилировал. **ПРОЩАЙ, ПАПУЛЯ, АХРОНОС ИЗНАЧАЛЬНЫЙ. ПОГУБИЛА ТЕБЯ ТВОЯ ОДЕРЖИМОСТЬ.**

Прости, Чег, слышится голос Полярис, когда опускается черный клинок. *Кажется, мы все-таки с тобой не будем.*

И голос Ахроноса Изначального:

Помни, что я сказал тебе, Чеглок из Вафтинга. Помни…

Взрыв обрывает его слова. Чеглок чувствует, как его швыряет к барьеру. Что там осталось позади, он не знает, но чувствует, как что-то тянется к нему — холодный и темный разум, или

комбинация разумов, и нет в нем ничего человеческого. И хотя его ужасает лежащий перед ним барьер, еще больше ужасает то, что его преследует. Оно излучает обещание таких страданий, что пытка, заготовленная святым Христофором, кажется куда предпочтительней. И оно уже близко, ледяной огонь его ненависти обжигает.

Чеглок кувырком влетает в барьер. Разорванные образы крутятся перед глазами или внутри сознания, он не может сказать точно где. Кружатся лица, словно портреты в разбитых зеркалах. Он знает их, хотя не может вспомнить имен. Девушка с ежиком черных волос и острыми синими глазами. Красивый мужчина с одним синим глазом и одним — цвета дымного янтаря. Еще девушка, у нее кожа как радуга, а глаза — как чернильные озера.

Помни…

Кто это говорил? И что надо помнить?

И откуда эта печаль?

Иди, а не то…

Что-то поднимается за ним. Там собирается волна, огромная и мощная. Сердце трепещет, и вдруг он точно знает, что за этой волной есть что-то еще большее, более сильное, что порождает эту волну, направляет ее, и оно всплывает, тянется к нему из глубин…

Он бьется в панике, руками загребает в течении, дает подхватить себя, поднять вверх, пока не сливается с течением в единое целое, и его уносит вперед так, что это как полет.

Я поймал ее! — думает он. *Я ее вправду поймал!*

notes

Примечания

1

«Inside the Beltway» означает «в вашингтонских политических кругах». Beltway — магистральная окружная дорога вокруг столицы США. — *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Игра слов. «In loco parentis» (лат.) — «замещая родителей», loco (исп.) — сумасшедший, псих.

3

Строчка из песни «The Horse of No Name» группы «Америка». (Океан — пустыня, где жизнь идеально скрыт а под поверхностью.)

4

Известный американский актер, сценарист и режиссер.

5

Молодой констебль, персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда Сонной Лощины».

«насекомое» (англ.).

«милый», «славный» (англ.).

8

Шон Муллинс, «Перемены».